Новый Журнал

161

THE NEW REVIEW

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Required by 39 U. S. C. 3685)

1. Title of Publication — The New Review. — A. Publication No. 596680

2. Date of Filing — [Oct. 30. 84]

3. Frequency of issue — Quarterly. — A Number. of issues published annually — 4

— B. Annual Subscriptions price $30.

4. Location of known office of publication — 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

5. Location of the headquarters or general business offices of the publishers — 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

6. Names and complete addresses of publisher, editor and managing editor — Publisher. The New Review Incorp. 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025; Editor, Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N. Y. 10025.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given.)

The New Review Inc. — 2700 Broadway, New York, N. Y. 10026; Roman Goul — president, 506 West 113-th Street, New York, N. Y. 10025. Zoya Yurieff — secretary 46-04, 196-th Street, Flushing, N. Y. 11358. Peter Muraviev — treasurer 316 Monroe Ave. Wyckoff, N. J. 07481.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities. — None

9. For completion by nonprofit organizations authorized to mail at special rates (Section 132.122, Postal Manual).

The purpose, function, and nonprofit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purposes. — Have not changed during preceding 12 months.

10. Extent and nature of circulation

	Average No. copies each issue during preceding 12 months	*Actual number copies of single issue published nearest to filing date*
A. Total No. copies printed (Net Press Run)	1250	1110
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	45	0
2. Mail Subscriptions	1085	1073
C. Total paid circulation	1130	1073
D. Free distribution by mail, carrier or other means, samples, complimentary, and other free copies	30	7
E. Total distribution (Sum of C and D)	1160	1080
F. Copies not distributed		
1. Office use, left over, unaccounted, spoiled after printing	90	30
2. Returns from news agents	none	none
G. Total (Sum of E & F and 2 — should equal net press run shown in A)	1250	1110

11. I certify that the statements made by me above are correct and complete. (Signature of editor, publisher, business manager, or owner) — Roman Goul, Ed.

12. For completion by publishers mailing at the regular rates (Section 132.121 Postal Service Manual).

Signature and Title of Editor, Publisher, Business Manager, or owner

Oksana Radysh, Business Manager

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор), Г. Андреев, Л. Ржевский

Сорок четвертый год издания

Кн. 161 НЬЮ ЙОРК 1985

РЕДАКЦИЯ: РОМАН ГУЛЬ (главный редактор),
Ю. Д. КАШКАРОВ и Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ
СЕКРЕТАРИ: О. РАДЫШ и З. ЮРЬЕВА

NEW REVIEW. DECEMBER 1985

NEW REVIEW (ISSN 596680) is published quarterly by New Review Inc., 2700 Broadway, New York, NY 10025. Second Class postage paid at New York, N.Y. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 2700 Broadway, New York, N Y. 10025.

СОДЕРЖАНИЕ

Р. Гуль — Я унес Россию. Том III. "Россия в Америке" 7
И. Чиннов — Стихи 30, 99
А. Шепиевкер — Агафья и Агафон 32
И. Елагин — Стихи 45
А. Кторова — Мелкий жемчуг 47
М. Косталевская — Стихи 66
Ю. Кашкаров — Афон 68
В. Крейд — Восемь восьмистиший 100
Ю. Иваск — Похвала Российской поэзии 103
Т. Фесенко — О.Н. Аистей (Люша) 128

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

А.И. Гучков — Из воспоминаний. Публикация *С. Ляндерса* ... 150
гр. Е.Н. Разумовская — Из Дневника. Публикация *гр. М. Разумовской* 190
Ю. Фельштинский — Из истории Брестского мира 210
кн. В. Вяземский — Первая четверть века существования зарубежного масонства 231

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

В. Бондаренко — Взгляд с исторической вышки 249
А. Иванов — Экология исторических памятников и могил. Н.В. Гоголь 271

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

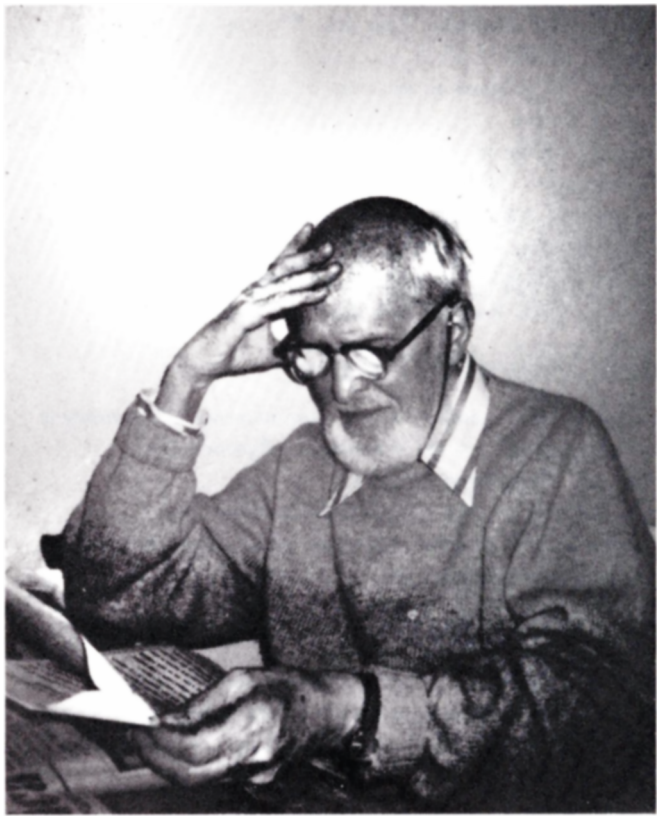
Вяч. Завалишин — Памяти Андрея Худякова 286

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

К. Скворцов — В журнал "Pure Vérité"; *Д. Антонов* — Марксистский национал-социализм и смерть А. Шпрингера; [*Р. Плетнев*] — О "Босанчице" 293

БИБЛИОГРАФИЯ

Н. Ржевский — A. Pushkin, Eugene Onegin. Transl. by Ch. Johnston; *Т. Фесенко* — Игорь Чиннов, "Автограф" 298



Редакция, сотрудники и друзья "Нового Журнала" от всей души поздравляют Романа Борисовича Гуля с девяностолетием и искренне желают здоровья, силы духа и, бодрости и многих лет плодотворного творчества

Г. Аветисян, А. Авторханов, Л. Алексеева, Д. Антонов (Бройде-Треппер), К. и А. Асауленко

кн. Т. Багратион-Мухранский, И. Белоусович, И. Белькова, М.

Бернштам, Д. Бидер, В. Блинов, Д. Бобышев, Б. Бровцын, В. Бухман-Корцел

Pedro Vega, Т. Витни, С. Виштак, Л. Владимирова

М. Гардер, игумен Геннадий Эйкалович, Р. Герра, Г. Глинка, В. Гинзбург, С. Голлербах, М. Гольдштейн, В. Грауберг, М. Грин, М. Гуль, А. Гурвич

У. Джапаридзе, М. Дубинин, М. Дупляк

И. Елагин, Г. Ефремова, др. М. Ефремова-Кендал, Е. Жиглевич

В. Завалишин, А. Звеерс, Ю. Зорин

Ю. Иваск, И. Иловайская, О. Ильинский

Е. Кандыба-Фокскрофт, Ю. Кашкаров, Дж. Кеннан, о. Александр Киселев, Е. Климов, др. М. Ковалев, А. Коджак, В. Крейдт, С. Крыжицкий, А. Кторова, Ю. Кублановский

К. Ленц

В. Максимов, Е. Магеровский, Л. Магеровский, О. Маслей, В. Миклашевский, Н. Моравский

А. Натов, А. Небольсин

И. Одоевцева, А. Опульский

П. Палий, Н. Первушин, В. Перелешин, В. Пирожкова, К. Померанцев, Р. Полчанинов, Б. Прянишников, Н. Пузанов

О. Радыш, гр. М. Разумовская

А. Седых, Н. Струве, А. Сумеркин

Б. Тагилев, Т. Танеева, Е. Таубер, Я. Тельнов

А. Федосеев, Е. Федюкович, Ю. Фельштинский, Т. и А. Фесенко, Б. Филиппов

Н. Харлей

Б. Чайковский, О. Чикаленко, И. Чиннов

Rafik Choudry

Д. Штурман

кн. А. Щербатов

З. Юрьева

Я УНЕС РОССИЮ
III. РОССИЯ В АМЕРИКЕ

Н. В. Вольский

Я довольно часто ездил к Н.В. Вольскому. Он жил под Парижем в Плесси Робенсон. Жил в нужде. М.С. Маргулиес говорил о Вольском: "Это самый блестящий человек в эмиграции". Автор замечательных книг "Встречи с Лениным", "Малознакомый Ленин" был, действительно, человек выдающийся. Талантливый публицист, широко образованный и, если хотите, действительно, — блестящ. Но насчет "самый" — не думаю. В эмиграции было много "блестящих" людей. И отдавать пальму первенства Николаю Владиславовичу Вольскому я бы все-таки не решился.

Н.В. был экономист, публицист, автор философских и социологических работ. И, как выяснилось при первом же нашем разговоре, по России был почти моим земляком. Он родился в 1879 г. в уездном городе Моршанске Тамбовской губернии, в помещичьей семье. Его отец (польского происхождения) был уездным предводителем дворянства, а мать, урожденная Рымарева, — из богатой коннозаводческой помещичьей семьи. Детство и юность Н.В. провел в имении родителей "Подъем", и эту жизнь в имении он всегда вспоминал лирически, с большой теплотой. Но своего отца почему-то не любил. И, став студентом, порвал с ним все отношения.

В Петербурге Н.В. учился в Технологическом Институте. И тут, как он говорил, под влиянием проф. М. Туган-Барановского, стал марксистом. Данный ему от природы страстный темперамент увлек его на самый левый край русского марксизма — он стал большевиком. После тюрьмы и ссылки в Уфу Н.В. работал

---

* См. *"Н.Ж."*, кн. 157-160

в Киеве, в подполье. В 1903 г. он встретил и полюбил Валентину Николаевну, ставшую верным другом всей его жизни. Она тоже происходила из тамбовской помещичьей семьи. В Петербурге стала опереточной певицей. И имела успех.

В 1904 г., чтобы избежать ареста, Н.В. бежал заграницу и там, в Женеве, на некоторое время близко сошелся с Лениным. Духовная независимость Вольского, его потребность мыслить по-своему, а не "по-Ильичу" быстро привела к разрыву с Лениным и большевиками. Очень ярко суть этого разрыва дана Вольским в таком диалоге с Лениным:

"— Из ваших слов вытекает, что ни одна гадость не должна быть порицаема, если ее учиняет полезный партии человек. Так легко можно дойти до "все позволено" Раскольникова.

— Какого Раскольникова?

— Достоевского из "Преступления и наказания".

Ленин остановился и, засунув большие пальцы за отворот жилетки, посмотрел на меня с нескрываемым презрением.

— Все позволено! Вот мы и приехали к сентиментам хлюпкого интеллигента, желающего топить партийные и революционные вопросы в морализирующей блевотине. Да о каком Раскольникове вы говорите? О том, который прихлопнул старую стерву-ростовщицу, или о том, который потом на базаре в покаянном кликушестве лбом хлопал о землю? Вам, посещавшему семинарий Булгакова, может быть, это нравится?" ("Встречи с Лениным", 331 ст.).

Было короткое время — в 1905 г. — когда Н.В. пробовал стать меньшевиком, но и они ему не подошли — "по темпераменту". Он очень скоро от них ушел, оставаясь, как говорил, "беспартийным социалистом".

В те годы Н.В. много и блестяще писал, и кончилось это тем, что владелец самой распространенной в России газеты "Русское Слово", И.Д. Сытин, знавший толк в людях, пригласил Вольского на пост фактического редактора "Русского Слова". Официальный редактор, знаменитый тогда Влас Дорошевич, делами газеты занимался мало, часто уезжал заграницу. Так что фактически Н.В. редактировал всю газету, что давало большое положение и большие деньги. Так он проработал до Первой мировой войны.

Как-то я спросил Н.В.:

— Но ведь Вы тогда у Сытина получали, наверное, громадные деньги, могли стать богатым человеком...

— Ох, не говорите, стыдно вспомнить, — отозвался Н.В. — Получал две тысячи рублей в месяц, тогда как губернаторы получали, кажется, шесть тысяч в год. И знаете, что? Все съедал тотализатор. Это была страсть, и глупая страсть. Бывало, как получу деньги — тут же на бега. Ну, лошадки все и съедали!

Этого от Н.В. я никак не ожидал.

В эмиграции Н.В. много писал — в "Современных Записках", в "Последних Новостях", в "Новой России" (у Керенского), в "Новом Журнале" (у Карповича), в "Народной Правде" (у меня), в "Социалистическом Вестнике", в "Новом Русском Слове", в "Русской Мысли". Статьи обычно подписывал псевдонимами — либо "Н. Валентинов", либо "Е. Юрьевский".

После войны, в Мюнхене, Н.В. выпустил интереснейшую книгу "Доктрина правого коммунизма". Говорят, что в архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке хранятся многие его рукописи. Из них я знаю "Раннего Ленина" и "Символистов". Рукопись "Символистов" я читал. Это очень плохая работа, ибо тут Н.В. взялся не за свое дело. К художественной литературе "уха" у него не было. Он ее не чувствовал. Но многих символистов знал лично, в молодости был дружен с Андреем Белым, Эллисом и др. И как человек, хорошо понимавший Белого, смеясь, говорил: "Белый — что? Белый, как ангел — голова, кудри, плечики, начало туловища, а дальше — ничего".

Насколько хорошо Н.В. относился к Белому и все ему прощал, настолько он ненавидел (действительно, *ненавидел*) Александра Блока. Н.В. сам рассказывал, как в "Русском Слове" он, как редактор, наложил на Блока "табу". Блок часто присылал в газету свои стихи, но все они, как говорил Вольский, "летели в мусорную корзину": "Я лично его не знал, но, по чести скажу, ненавидел".

Ничего не понимая, я пристал к Н.В., чтоб он объяснил мне причину этой ненависти." Можно любить или не любить Блока, я тоже в нем кое-чего не люблю, — говорил я, — например, эту "Жену, облеченную в солнце", но Блок — большой поэт и тут

нет никакого спора, он, конечно, был бы украшением "Русского Слова".

— Дело не в поэте, а в человеке, — сказал Вольский. — Я его презирал!

— Но почему же?! — приставал я.

Наконец, Вольский сдался.

— Хорошо, я скажу, но пусть это останется между нами. Как-то Белый, когда он был в ссоре с Блоком и с ним не встречался, рассказал мне, что у Блока подразумевается под "ночными фиалками". И после этого Блок мне физически опротивел.

— Не представляю себе, что же тут может подразумеваться под "ночными фиалками"? — приставал я.

Вольский никак не хотел говорить, но, наконец: — Хорошо, я вижу, как Вы заинтригованы этими "ночными фиалками", я скажу Вам. Так вот, подразумевается под "ночными фиалками" некая небольшая часть женских гениталий, по медицински это — клитор, а по простонародному — с....ь. И вот этими "ночными фиалками" (конечно, у проституток) он и занимался, их и любил. Как только я услыхал это от Белого — кончено, Блок мне физически опротивел. И я побороть себя уже не мог, да и не хотел. Потому и летели все его стихи в мусорную корзину. За все эти годы только раз я сделал исключение для стихотворения, которое отвечало моим взглядам на предвоенное развитие российской промышленности, что-то такое — "...Разгорается... Америки новой звезда".

В 1964 г. в Плесси Робенсон после невероятно мучительной болезни Н. Вольский скончался. Заместителя такому эмигранту не нашлось.

Б.И. Николаевский

Борис Иванович, наконец, прилетел в Париж. Я снял ему комнату в отеле наискосок от нас. С аэропорта он приехал прямо к нам. За время войны Б.И. не изменился, разве немного пополнел. Встретились мы очень дружески. Олечка приготовила чай. Помню, мой первый вопрос был:

— Ну, Б.И., как же там, в Америке-то, довольны?

На что Б.И. с какой-то застенчивой улыбкой ответил:

— Да, в Америке-то очень хорошо, только где-нибудь в Белебее мне было бы лучше. Я ведь в заграницах нигде не приживаюсь.

Это была правда. Несмотря на все свои "интернационалы" и "социаль-демократии" (он произносил по-старинке, с мягким "л"), Б.И. был страшно русский и, как Тургенев, Вырубов, Мечников, не мог бы добровольно жить в "заграницах".

Родился Б.И. в Белебее Уфимской губернии в 1887 г. В его характерной наружности было что-то от тех краев — славяно-башкирское, даже башкирского — больше. Он как-то показал мне фотографию матери — женщины с типично русским хорошим лицом. Он ее очень любил. Но наружностью Б.И. пошел не в мать. Помню, в Париже, до войны, я был в его комнате, когда он ждал звонка от матери из Москвы. Помню его страшное волнение, когда он, услышав голос матери в трубке, кричал в телефон каким-то надтреснутым, готовым перейти в плач голосом:

— Мама, это я, Боря! Боря!

Разговор не то из-за плохой слышимости, не то из-за "чего-то другого" — оборвался. Думаю — из-за "чего-то другого": НКВД "в личном порядке" мстило своему заядлому врагу, высланному меньшевику Николаевскому.

Отец Б.И. был священником и в его роду, как он говорил, было "премного поколений священников". У Б.И. бережно хранилось самотканное деревенское полотенце с вышивкой синим и красным крестиком: "Отцу Иоанну от верных прихожан" — подарок сельскому священнику, о. Иоанну Николаевскому.

Но Б.И. с юности принял иной "сан" — сан революционера-интеллигента. И в этом сане он был весьма типичен, один из последних могикан этого покроя. Таких уж нет, не та эпоха. Может быть, когда-нибудь, несмотря на их мировоззренческую узость и на их многие государственные прегрешения, в этом типе людей найдут и нечто привлекательное — интегральный идеализм. Недаром такой их антипод, но тонкий психолог и "ловец человеческих душ", как В.В. Розанов, написал об этих людях замечательные строки в "Опавших листьях".

С юности Б.И. стал марксистом — и навеки. Он знавал аресты, тюрьмы, ссылки — это были его "университеты". Не имея законченного образования, Б.И. был широко и разно-

сторонне образованным человеком. В 1917 г. он был избран в ЦК РСДРП. А в 1922 г. вместе со всей головкой меньшевиков (отсидев предварительно в Бутырке) был выслан большевиками заграницу. Тогда-то, в 1922 г., я и познакомился с ним в Берлине, в "Новой Русской Книге", а потом подружились. Б.И. мне много помог в документации моих книг "Азеф", "Дзержинский", "Тухачевский" и др.

Сейчас Б.И. приехал во Францию и Германию на розыски своего уникального архива, захваченного нацистами в первые дни после их вступления в Париж. Приехал с "аршинными" бумагами из Америки к местным американским и союзным властям с просьбой оказывать Б.И. всяческую помощь в деле разыскания его архива или хотя бы его остатков.

Олечка сказала Б.И., чтобы он по утрам непременно приходил к нам пить чай и подкрепляться.

— Ольга Андреевна, вы же не знаете, когда я начинаю свой день — в шесть утра!

— Прекрасно, завтрак будет вас ждать в шесть утра.

И ежедневно, ровно в 6 утра Б.И. стучал в нашу дверь. Во Франции у него была большая удача: чемодан, который он зарыл у знакомых под Парижем в саду, оказался в полной сохранности. Но книги, пачки с вырезками, комплекты газет и журналов, масса документов, всё, что было в помещении архива, бесследно исчезло, захваченное нацистами. Через несколько дней Б.И. отправился на их розыски в Германию.

За то время, что Б.И. был в Париже, мы все, что нужно обсудили, обговорили. Он спросил о Мельгунове. Я сказал, что едва ли останусь у него в редакции: тут и неврастенический характер С.П. и его методы работы, да иногда и направление журнала. Все говорит за то, что я оттуда уйду. Б.И. рассказал о скором основании в Нью-Йорке "Лиги борьбы за народную свободу". Просил быть, пока негласным, представителем ее в Париже. Я согласился. Я рассказал, что ни Ник. Влад. Вольский (Валентинов), ни П.А. Берлин к Мельгунову в журнал не идут, издавна зная его характер. Упомянул, что когда я сказал Ник. Влад. Вольскому, что вступил в редакцию Мельгунова, Вольский с горячностью ответил: "Ну, большей глупости, дорогой мой, вы

сделать не могли. Я же его знаю еще по Москве. С ним нельзя работать. Он патологический тип, невропат".

Действительно, то, с чем я сталкивался на редакционных собраниях, меня нисколько не ободряло, а многое просто поражало, когда, например, на заседании редакции Мельгунов вдруг не своим голосом кричал на секретаря редакции — Якова Константиновича Бычека: — "Идиот!".

Б.И. меня понял и не уговаривал продолжать работать с Мельгуновым. Он понял, что я уйду от Мельгунова и сказал, что инициаторы создания Лиги считают, что я должен переехать в Нью-Йорк. И что Далин насчет виз для нас говорил с секретарем американского посольства в Париже — Чипманом.

— Так что тут препятствий не будет никаких, — сказал Б.И.

"Народная Правда"

Не буду говорить о последних причинах моего ухода из редакции журнала С.П. Мельгунова. Малоинтересно. Ушел и ушел ("по принципиальным соображениям", как говорится), став поэтому у Мельгунова чем-то вроде "врага номер 1". В особенности потому, что я вскоре — с помощью своих американских друзей — стал издавать ежемесячник "Народная Правда". В нем, к раздражению Мельгунова, писала вся наша демократическая элита публицистов: Н.В. Вольский, Б. И. Николаевский, Д.Ю. Далин, П.А. Берлин, М.В. Вишняк, Ю.П. Денике, В.М. Зензинов, Г.П. Федотов; все они ценили журнал Мельгунова, как "свободное слово", но в нем не писали.

Никого сотрудничать в "Народной Правде" особенно уговаривать не приходилось. Только — П.А. Берлина. Но "возражал" он не очень долго. П.А. был видный экономист, публицист на разнообразные темы, автор нескольких книг. Когда, я, прийдя к нему на квартиру на рю де ля Конвансьон, изложил, в чем дело, он слегка "замялся":

— Видите ли что, Р.Б. Я, конечно, очень сочувствую вашему начинанию, но одно обстоятельство меня смущает.

— Какое же, П.А.?

— В "Народной Правде" будет, кажется сотрудничать Х. и меня это шокирует.

Я знал, что за этим последует, но хотел выслушать и спросил:

— А что именно?

— Ведь Х. сочувствовал Гитлеру, и это общеизвестно. Написал о Гитлере какое-то стихотворение. Когда в Париже в самый разгар депортации евреев в Германию, все этим были потрясены и взволнованы, Х. говорил: "Господа, не понимаю, почему вы все так волнуетесь? Ведь мы же не евреи?" И когда кончилась война и открылись почтовые сообщения, я написал об этом в Нью-Йорк в редакцию "Нового Русского Слова". Они мне ответили, что если Х. приедет в Н. Й., они руки ему не подадут. А ведь в "Последних Новостях" Поляков, Седых и Х. все вместе работали в редакции лет 20 и больше.

Тут мне пришлось объяснить П.А. мое отношение к коллабо. Я сказал, что этот вопрос мы обсуждали с Николаевским, Далиным, Вольским и все были согласны, чтоб никакими "преследованиями" коллабо не заниматься, а наоборот — открыть двери некоторой части "для исправления", так сказать.

Вскоре Павел Абрамович дал в "Народную Правду" прекрасную статью "О холодной войне". В ней он писал:

"Если есть возможность избежать войны, то, конечно, надо ее всячески избегать. Но если на буйный и наступательный большевизм нельзя надеть смирительную рубашку, если надо отдать на коммунистическое съедение всю Европу и Азию и нельзя мирными средствами сломить упорство Сталина, если война, как это считали и Ленин и Сталин, неизбежна, то как подавить в себе сознание, что уж лучше воевать, пока Сталин не готов, пока он поэтому и не начинает войну, чем когда он сочтет себя готовым и пошлет атомные бомбы, объявляя ими войну? Все это упирается в один вопрос: на кого работает будущее?"

Цитирую это потому, что все номера "Народной Правды" были посвящены этой главной теме: наступлению тоталитарного большевизма на свободный Запад. И призывали — к сопротивлению Сталину. Как видит читатель, тема эта сейчас особенно злободневна: удастся ли Западу (президенту Рейгану) защитить (теперь уже "звездной войной") демократию?

В "Народной Правде" я делал ставку на привлечение новых советских эмигрантов и объединение с ними. И этого, по-моему,

я достиг. В No. 1 "Народной Правды" я поместил свою статью "Смысл встречи двух эмиграций", где писал:

"На российских эмигрантов история возложила две задачи: быть кадрами борцов с большевизмом за Россию и быть передатчиками этой борьбы в мир, предупредителями мира о грозящей ему опасности.

В течение почти тридцати лет, в меру своих сил, эмиграция эти задачи выполняла. Но с каждым годом они до чрезвычайности осложнялись, ибо большевики все плотнее закрывали Россию железным занавесом. И вскоре закрыли Россию столь плотно, что во внешнем мире даже самая зоркая — российская эмиграция — перестала ее видеть.

Конечно, мы знали факты. Но для дела эмиграции не в них была суть. Мы не могли узнать единственно решающего: отношения народа к власти. Изжито ли народом коммунистическое наваждение, освободился ли он от октябрьского обмана, понял ли, наконец, народ, что его национальную революцию, всю вековечную надежду на землю и волю, для чуждых народу целей украли у него коммунисты?

Зато после этой войны, мы, старая эмиграция, впервые за тридцать лет узнали Советскую Россию. Мы узнали ее, встретившись с нашими братьями, с новой, уже советской, эмиграцией. Вместе с землей российских дорог, которую новая эмиграция принесла в Европу на своих сапогах, она принесла и разрешение единственно нужного вопроса.

Новая эмиграция прорвала для нас железный занавес. От нее мы узнали, что от октябрьского обмана в России не осталось следа, что между народом и властью — полный разъем. Это свидетельство наших братьев, оставшихся тут, вместе с нами, в Европе, и есть основной смысл встречи двух российских эмиграций.

Новая эмиграция показала нам и нового пореволюционного человека. Это не Платон Каратаев, как бы ни хотели этого некоторые старые эмигранты. Пореволюционный человек трезв, реалистичен, силен и целеустремлен. Всякое беспочвенное мечтательство из него вышиблено Сталиным навсегда. Он хочет жить разумно, а не заумно, он стал чем-то похож на американца. И эта его трезвость сулит большую крепость будущему государ-

ству. Не будем его идеализировать. Упомянем только, что провожая освобожденного польского еврея Ежи Гликсмана с края света, из Ухтыжемского концлагеря, где гибнут миллионы российских людей, замученный ленинградский профессор сказал уходящему Гликсману: "Если вы и в самом деле расскажете о том, что вы здесь видели, то не забудьте прибавить, что страдающий русский народ в своей основе хорош".

Статью "Шансы войны и мира" нового советского эмигранта Николая Турова, опубликованную в N 1 "Народной Правды" в 1948 году, автор писал так, будто это был не 1948-ой, а 1986 год. Вот цитаты:

"Резко обострившиеся за последнее время взаимоотношения между Советским Союзом и его бывшими союзниками — явление совершенно закономерное. Оно, по существу своему, не содержит в себе никакой неожиданности. Можно с уверенностью утверждать, что это очередное обострение — далеко не последнее из числа тех, свидетелями которых нам еще предстоит быть. В результате многочисленных наглядных уроков, преподанных ему Советским Союзом, Запад начинает, наконец, немного понимать сущность и цели сталинской агрессии. Перспектива возможного возникновения третьей мировой войны приобретает все более реальные очертания. Весь мир с понятной тревогой следит за ходом событий. Сегодня один основной вопрос волнует все человечество: неизбежно ли военное столкновение сталинского агрессивного тоталитаризма с демократиями?

На этот вопрос не хотелось бы отвечать утвердительно и в то же время вряд ли кто-нибудь рискнет полностью исключить возможность столкновения. Причина тому — природа сталинизма, органически неподверженная, в силу своего существа, никаким положительным эволюционным воздействиям. Ни при какой погоде кремлевские правители неспособны отказаться от проведения в жизнь мировой коммунистической революции. Некоторые возлагают надежды на возможность внутреннего взрыва в Советском Союзе, который повлек бы за собой уничтожение коммунистической диктатуры. Но нам, людям, знакомым с "техникой власти" в СССР, надеяться на это, к сожалению, никак не приходится.

Теория не уничтожения зла, а только ограждения себя от

него, уже достаточно осуждена историей. В назидание можно вспомнить хотя бы историю отношений демократий и Гитлера. Быть сильным, защитить себя от любых возможных неприятных случайностей со стороны Советского Союза, а в идеале, все-таки, несмотря ни на что, найти какую-то формулу для дальнейшего совместного проживания с Коминформом, — такая психология в корне порочна и содержит в себе много благоприятных факторов для дальнейшей разрушительной деятельности коммунистов. Красноречивым доказательством этому служит хотя бы создание так называемой "сферы советского влияния", превратившейся на глазах всего мира в сферу распространения коммунистической диктатуры, в плацдарм для дальнейшей коммунистической агрессии, в грандиозный концлагерь для нескольких, ранее свободных, европейских народов. При такой постановке вопроса все будет сводиться только к одному: на кого будет работать время?

Не останавливаясь ни перед чем, по сталинским директивам коммунисты всячески расшатывают устои западной культуры, пытаясь создать Советскому Союзу новых послушных сателлитов. Вся деятельность Коминформа и его многочисленных 5-х колонн, все подчинено единой воле Кремля и единой цели — ликвидации независимого от коммунистической тирании мира.

Когда-то Сталин писал: "Цель нашей стратегии — выиграть время, разложить противника и накопить силы для перехода в наступление" (том VI, стр. 160).

Нелегко отрешаясь от традиционного понимания международного права, в течение долгого времени ошибочно рассматривая Советский Союз, как государственный организм "нормального", но несколько "особого типа", и строя с ним свои взаимоотношения в обычно принятом правовом порядке, западная демократия в своей политической деятельности допускала и допускает трудно поправимые ошибки. В основе их лежит все то же непонимание, что СССР — это вовсе не "нормальное государство", это вовсе не Россия.

Готовясь "к последнему и решительному бою", Кремль ведет энергичную политическую подготовку как внутри Советского Союза, так и вне его, заграницей, правильно сознавая все колоссальное значение этого участка в грядущем столкновении.

Демократии должны стать сильнее Сталина. В этом и только в этом единственная возможность преградить путь коммунистической агрессии в ее наступлении к захвату мира."

Чтобы показать как широко новые советские эмигранты показали в "Народной Правде" советскую тоталитарную действительность, я приведу хотя бы заглавия их статей.

Темы самые разнообразные: А. Струнский "Страх Кремля перед покушениями", К. Жихарев "ЭКУ против плана Маршалла", В. Яновский "Национальный вопрос и народы России", Н. Бондарь "Рассказ бывшего преподавателя школы Н.К.В.Д.", А. Юрлов "Как строятся 'персональные' дачи", Бек-Булат "Берия — маршал жандармерии", С. Максимов "Цена одной прогулки Сталина", Ю. Елагин "Новогодний вечер в Кремле", В. Орлов "Красная армия и компартия", Вл. Поздняков "Как Ежов принимал НКВД", Н. Бенедиктов "Сексоты", проф. Н. Голубев "Сталинский антисемитизм", А. Волгин "Психиатры МВД", Р. Менский "Как делили колхоз", Я. Тягов "О трудовом крестьянском хозяйстве", доц. Г. Александров "Советская власть и русская интеллигенция", Быв. Зе-ка "Строительство Норильска", ст. лейт. П. Снегирев "Я бежал из СССР", П. Ольховский "Польский коммунизм и Сталин", В. Денисов "Массовые акции КРУ и СПУ НКВД", Е. Андреевич "Сов. радиопропаганда", О.П. "Сто один километр", полк. И. Дмитриев "Как создается немецкая коммунистическая армия", Ив. Медник "Почему я перебежал", И. Курганов "Классы в СССР", В. Малинин "Кусок хлеба и съезд писателей", Р. Менский "Спецпереселенцы", П. Павлов "Разгром Совнаркома Украины", Ю. Матвеев, "О пятых колоннах", Ю. Елагин "Музыкальная политика Кремля", А. Зотов "Пасха в тюрьме" и другие. Кроме русских эмигрантов в "Народной Правде" писали эмигранты поляки: Зигмунд Заремба, Иосиф Чапский, Иосиф Долина, балканские эмигранты: Живко Топалович, К. Шопов, Георгий Димитров, Ценко Барев и др.

Всего я выпустил 18 номеров "Народной Правды" (1948-1951 гг.). Прекратился журнал в Америке из-за моего политического разрыва с Б.И. Николаевским. Разрыв же произошел из-за того, что для меня марксизм-ленинизм-сталинизм были *единым* политическим явлением. А для Николаевского сталинизм был

искажением и того и другого. Меньшевики тогда выдумали "фокус-покус" об "искажении" Сталиным большевицкой революции. Но обо всем этом подробно — ниже.

Лига Борьбы за Народную Свободу

13-го марта 1949 г. в Нью-Йорке организовалась Лига Борьбы за Народную Свободу. В нее вошли новые и старые эмигранты. Инициативная группа составилась из Р. Абрамовича, В. Бутенко, М. Вишняка, Д. Далина, Б. Двинова, Ю. Денике, В. Днепрова, Ю. Елагина, В. Зензинова, Н. Калашникова, В. Касьяна, А. Керенского, проф. Б. Константиновского, проф. И. Миролюбова, Б. Николаевского, проф. А. Спасского, проф. Г. Федотова, А. Чернова и В. Чернова. В этот день Лига устроила в Нью-Йорке первый свой большой митинг под председательством проф. М. Карповича. На митинге выступили старые эмигранты: редактор "Соц. Вест." Р. Абрамович, редактор "Нов. Журн." проф. М. Карпович, редактор "Гряд. России" А. Керенский и председатель бюро Лиги Б. Николаевский. Из новых — секретарь Лиги В. Днепров, проф. Б. Константиновский и недавно бежавший из СССР, улетевший на самолете лейтенант-летчик А. Барсов.

Зал был переполнен настолько, что несколько сот желавших проникнуть туда не были допущены. На следующий день все крупные американские газеты — "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Геральд Трибюн", "Нью-Йорк Пост", "Нью-Йорк Уорд Телеграмм", бостонская "Крисчэн Сайенс Монитор" и др. — писали о рождении Лиги и о ее митинге. Сообщения появились в английских, французских, швейцарских, бельгийских газетах. На разных языках, на 26 волнах, из Америки была передана информация о Лиге. "Голос Америки" передал специальное сообщение на русском языке, предназначенное для Советского Союза. 27-го марта — в противовес созванной в Нью-Йорке, по приказу Москвы, "Конференции Мира", на которую специально из СССР были командированы Фадеев и Шостакович, — Лига Борьбы за Народную Свободу устроила свой второй открытый митинг, прошедший с еще большим успехом. На этом митинге, под председательством А.Ф. Керенского, выступили с речами старые

эмигранты: Б.И. Николаевский, проф. Г.П. Федотов и новые — Оксана Косенкина, второй, бежавший из СССР лейтенант-летчик П.А. Пирогов, инж. И. Тополев, студент Ю. Хабданк, артистка З. Сергеева и инж. И. Некрасов. Вместе с русскими ораторами на этом собрании выступили и друзья Лиги, представители иностранных демократических организаций — знаменитый чешский летчик, генерал Ян Амброш, генсек Крестьянского Интернационала и председатель болгарской крестьянской партии Георгий Димитров, член хорватской крестьянской партии Богдан Радица, представитель армянской партии Дашнакцутюн Вартан Агаронян и представитель польской организации "Свободная Польша" Шумский.

Еще в мае 1948 года, в своем первом воззвании, группа "Народного Движения" призывала к созданию широкого российского демократического фронта. Для борьбы со сталинизмом не на словах, а на деле была необходима широкая демократическая организация с авторитетным представительством, к работе которой прислушивалась бы как российская эмиграция, так и иностранное общественное мнение, а самое главное — наши братья за железным занавесом.

У Лиги были все возможности к тому, чтобы развернуть работу большой политической ответственности перед нашей страной. Международное положение было крайне напряженным. Необходимо было и нам организоваться, создать политический центр борьбы российской демократии. Центр был необходим здесь, в эмиграции, как база нашей борьбы. Но он еще более был необходим и для наших братьев по ту сторону рубежа, за железным занавесом чтобы *там* знали, что заграницей *существует* организованная борьба за их свободу. Чтобы там знали наш *адрес*.

Всякий новый эмигрант хорошо знает настроение подсоветских людей и всегда подтвердит (и подтверждает!), какое громадное значение имеют заграничные радиопередачи, доносящие *туда* сведения о борьбе российских антикоммунистических организаций.

Из бюллетеня Лиги мы узнали, что, параллельно с выступлением Лиги, в Америке организовались общества "Друзей русского народа" и "Друзей русской свободы". Создание таких об-

ществ было необходимо и в других странах, это — наша опора в иностранном общественном мнении, в противовес существующим везде пятоколонным "Обществам друзей Советского Союза".

Одновременно с двумя митинговыми выступлениями Лига начала выпускать и свой бюллетень "Грядущая Россия" под ред. А.Ф. Керенского. В первых трех номерах были напечатаны статьи Днепрова, Спасского, Николаевского, Миролюбова, Карповича, лейт. Пирогова, Абрамовича, Федотова, Бородина, Далина, Зензинова, Елагина. Как эти статьи, так и опубликованные "Основные Положения", ясно определяли программу и задачи Лиги. Кого объединяет Лига? "Основные Положения" говорили: "Мы зовем ВСЮ свободолюбивую эмиграцию поддержать почин Лиги и вместе с ней развить общую деятельность для непримиримой борьбы с коммунистической тоталитарной диктатурой и для создания свободной демократической России". Конечно, "Основные положения" Лиги не являлись исчерпывающей политической программой, да таковой у Лиги и быть не могло, ибо это была не "политическая партия", а широкий союз демократов, куда входили люди разнообразных оттенков политической мысли, единых в своей приверженности народному делу, народной правде, демократизму. "Основные Положения" Лиги были только наметкой общедемократической программы будущего. В своей статье о Лиге я писал:

"Если Лиге дано стать зачинателем широкого объединения демократических сил за рубежом, то для правильного и успешного ведения антикоммунистической борьбы нам кажется необходимым, чтобы в этот центр на совершенно равных правах вошли представители зарубежных демократических организаций всех народов России. В этом случае Лига станет многонациональным центром, правильно представив лицо нашей родины. Не будем закрывать глаза, что национальный вопрос сейчас вызывает самые острые распри в эмиграции, парализуя возможность общей работы и суля в будущем многие осложнения. Судя по "Основным Положениям" и статьям секретаря Лиги В. Днепрова, развивающим эти положения по национальному вопросу, Лига возьмет на себя инициативу широкого сговора демократов всех национальностей нашей страны. Представители старшего

поколения старой эмиграции в этом вопросе должны прислушаться к голосу молодой советской эмиграции. На основании длительного советского опыта эта эмиграция, неожиданно для многих, принесла новое понимание национального вопроса в России и новое национальное самосознание."

В передовой статье 1-го бюллетеня, редактор отмечал: "Новые межнациональные отношения внутри Союза глубоко вошли в сознание всех народов страны, в том числе и в сознание нового поколения русского народа. История вспять не идет!". В "Основных Положениях" мы читаем: "Лига полагает, что строем, наиболее соответствующим сегодняшней современной обстановке, может быть только демократическая республиканская федерация народов России. Только Союз народов, созданный свободным соглашением..."

Вместе с новыми эмигрантами в Лигу вошли старые известные политические деятели российской демократии. Но, поскольку можно было судить и по речам выступавших на митингах и по статьям в бюллетене, ударение и весь пафос Лиги ставился на силы новой, советской эмиграции. В своей прекрасной статье "Две иль одна", в 1-м номере бюллетеня, проф. Г.П. Федотов говорил об этом так: "Смена пришла неожиданно, с той стороны, откуда мы ее не чаяли. Россия двинулась на нас не отдельными беглецами, но сплошной массой: она затопляет нас, оглушает своими криками, будит, зовет к борьбе. Какое счастье! Мы не одни. Россия пришла, мы с ней. Она говорит на наших митингах, издает политические газеты, свидетельствует потрясающим голосом на процессе В. Кравченко. Железный занавес прорван. А поток людей, "выбравших свободу" не иссякает. Бегут по земле, летят по воздуху. Клянутся в ненависти к тиранам, готовятся к борьбе."

Чтобы стать настоящей силой, которая могла бы перебросить борьбу туда, Лига должна превратиться в массовую деятельную организацию, а стать таковой, это значит влить в Лигу все демократические силы новой эмиграции. На втором митинге Лиги, 27 марта, обращаясь к летчику А.П. Барсову, А.Ф. Керенский сказал: "Мы, старики, теперь можем быть спокойны. Программа Лиги — не наша программа. Ее продиктовали нам люди

из России." Эти слова звучат, как передача знамени борьбы от старой эмиграции к новой.

"Мы не знаем, как разрядится сегодняшнее напряжение международного положения. Но независимо от этого, во имя освобождения нашего народа, мы должны готовить борьбу с сталинизмом не на жизнь, а на смерть. А для этого нужно, прежде всего, организационное единение демократических сил. В рождении Лиги Борьбы за Народную Свободу, мы хотим видеть краеугольный камень мощной демократической организации".

Речь сенатора Мак-Магона

Мне хотелось бы теперь привести речь американского сенатора Мак-Магона, произнесенную им 20 марта 1951 г. перед членами американской организации "Друзья Борцов за Свободу России". Его выступление подтверждает, что среди крупных политических деятелей Запада есть люди, прекрасно понимающие советскую действительность и не смешивающие русский народ с кремлевской диктатурой.

"Я глубоко благодарен за возможность выступить перед организацией "Друзья борцов за свободу России". В борьбе, которую американский народ ведет за дело мира, создание такой организации американскими гражданами говорит об их горячей преданности идеалам мира и свободы. Американцы все сильнее убеждаются в той основной истине, что народы Советского Союза и их кремлевские диктаторы разделены глубокой пропастью. И мы понимаем, что самым мощным оружием в наших руках является чувство дружбы, объединяющее американский народ и народы Советского Союза, которых мы отнюдь не смешиваем с подавившей эти народы властью. Мы знаем, что так же, как и мы, народы Советского Союза не хотят войны.

Простые русские люди стремятся к тому же, к чему стремятся и все народы мира. Они хотят обеспечить себе достойный уровень жизни и те свободы, без которых нет достоинства человеческой личности. Русские не хотят ни убивать, ни быть убитыми. Они хотят сами жить и дать жить другим. И не русский народ, а сталинский режим коммунистического империализма препятствует установлению всеобщего и прочного мира.

Если по эту сторону Железного Занавеса есть еще люди, которые сомневаются в том, что подавляющее большинство подвластных коммунизму народов — наши друзья и союзники, то пусть эти люди обратятся к фактам: четырнадцать миллионов мужчин и женщин в лагерях рабского труда Советской Империи являются живыми свидетелями той борьбы за свободу и того духа сопротивления, которые продолжают жить в народных массах Советского Союза даже под железной пятой тоталитарной диктатуры.

Уничтожение свободы слова и свободы печати, лишение русских людей свободы поездок заграницу, — свободы, которая предоставляется только небольшой кучке тщательно проверенных высших чиновников; и, наконец, герметическое закрытие советских границ для иностранцев, — все это служит неопровержимым доказательством вечного страха, который преследует кремлевских диктаторов.

Если бы Сталин знал, что у него есть поддержка народа, он не изолировал бы этот народ от внешнего мира и не лишил бы его возможности соприкосновения с западной цивилизацией. Эта слабость Сталина должна стать источником нашей силы. Мы должны и мы можем найти пути и средства говорить прямо с народами России. Мы должны сказать им, что они не изолированы, что они не одиноки, что мы их не забыли. Как наши предки, основавшие Свободные Соединенные Штаты Америки, мы должны высоко поднять факел свободы, чтобы его свет, через все преграды, проник за пределы Железного Занавеса и дал бы надежду миллионам людей, порабощенных и заточенных под эмблемой серпа и молота.

Соединенные Штаты всегда стояли за свободу и мир. Это сознание мы должны перебросить в Россию, это должны знать русские люди, страдающие в Советском Союзе. Народы Советского Союза страстно желают конца режима, который ссылает миллионы людей в лагеря рабского труда, — режима, который лишает крестьян их собственной земли, преследует религию, не допускает существования свободных профсоюзов, душит науку и искусство, не допускает общения народов СССР со свободными народами мира и сохраняет страшную шпионскую систему и огромную полицейскую армию. Каждый день из-за Железного

Занавеса к нам приходят новые доказательства страстного стремления русского народа к свободе.

За последние годы мы узнали от многих тысяч советских граждан, бежавших на Запад, что это стремление к свободе живо не только среди массы русского народа, среди офицеров и солдат советской армии, но даже и в самой коммунистической партии. Продолжающиеся после войны чистки и яростная пропаганда против западных и, в частности, американских влияний являются лишним доказательством того, как *боятся* советские правители глубоко укоренившегося в русских людях стремления к свободе и дружественному общению с другими народами.

Наша задача, в их интересах и в наших собственных, дать понять русским людям, что их стремление к свободе и наша борьба за мир, — это одно и то же. Русские должны знать, и мы обязаны сделать все для того, чтобы они это знали, что *основным препятствием на пути к всеобщему миру и всеобщему благосостоянию стоят нынешние советские правители, которые угнетают народы СССР и угрожают нам.*

Мы убеждены, что правительство, которое представляло бы подлинные интересы русского народа, заняло бы руководящее место в осуществлении общей задачи построения свободного, процветающего мира. Это правительство приветствовало бы установление международного контроля над атомной энергией, оно согласилось бы на всеобщее разоружение и сотрудничало бы в осуществлении экономических, социальных и гуманитарных задач, стоящих перед Организацией Объединенных Наций. Мы убеждены в том, — и русские люди должны это знать, — что правительство, которое отражало бы свободную волю народов СССР, жило бы в мире со своими соседями и со всеми свободными народами мира.

Русские еще помнят действенную американскую помощь во время голода 1921 года. Они вспоминают американскую помощь продовольствием, одеждой и медикаментами во время Второй мировой войны. Многие тысячи советских офицеров и солдат, которые в последние дни этой войны встретились с американской армией, сохраняют живую память о подлинной дружбе и демократическом духе, которые они встретили в американских союзниках.

Советские правители не могут вести войны без поддержки русского народа. Вот почему настоящее доказательство нашей дружбы к русскому народу является оружием, которого Сталин боится больше всего! Для того, чтобы это оружие служило делу мира, мы должны на деле показать русским, что мы преисполнены решимости помочь им вновь стать на путь, ведущий к обретению подлинной свободы.

Эта помощь русским, ищущим свободы, уже оказывается им различными способами. К этой помощи следует причислить и усилия организации "Друзей Борцов за Свободу России". Конкретная помощь, оказываемая этой организацией советским гражданам, которые, рискуя своей жизнью, бегут на Запад, является не только гуманитарным делом. Она вдохновляет — я уверен — и других русских искать новые пути борьбы за свободу. На Западе живут многочисленные группы бывших советских граждан, которые заботятся о том, чтобы их газеты и журналы попадали в руки советских солдат в Германии и Австрии. Они мужественно содействуют тому, чтобы рухнул железный занавес!

Со своей стороны, наше правительство продолжает стремиться к расширению "Голоса Америки" и к тому, чтобы перед его микрофоном выступали *новые борцы* за русскую свободу!

В огромной задаче изменить ход событий и не допустить катастрофы атомной войны, основное бремя должно пасть на американский народ. Русский народ должен слышать голоса не только своих единомышленников, но и голос американского правительства и также голос американского народа. Вот почему, когда я внес в Сенат резолюцию о декларации американской дружбы к русскому народу, я предложил, чтоб это стало известно в каждом американском городе и в каждом американском местечке. Я надеюсь, что под этим подпишется каждый американец. Мы должны дать возможность тем американцам, которые участвовали в войне, обратиться к их бывшим союзникам. Мы должны дать возможность участникам американского рабочего движения регулярно обращаться к советским рабочим. Мы должны дать возможность американским матерям сказать русским женщинам об их общем желании мира. Мы должны дать знать русским, что ВСЕ слои населения Соединенных Штатов

поддерживают их законные стремления к свободе и социальной справедливости. Мы должны заверить русских в том, что американский народ активно поддерживает из стремление к свободе! Тем самым мы укрепим русских людей в их сопротивлении агрессивной и пагубной политике нынешних правителей России.

История учит, что, в конечном счете, сила бессмертных идеалов побеждает зло, угнетение и войну. Эти бессмертные идеалы — идеал человеческой свободы и христианский идеал всечеловеческого братства. Эти идеалы, за которые борется и русский народ, сильнее всех орудий пыток, созданных для их подавления. Несмотря на 30-летнее владычество, кремлевские диктаторы не смогли подавить в русских людях эти идеалы свободы и христианской веры. Если во имя их американский народ протянет руку дружбы народам России, мы тем самым совместными усилиями поднимем Железный Занавес и обеспечим прочный мир".

"Ольга Андреевна, вы — сильный человек"

Мой окончательный разрыв с Николаевским произошел необычно и для меня совершенно неожиданно. У нас было заседание Лиги. Заседания всегда устраивались на нашей квартире 506 West 113 Street. Как председатель Лиги, Николаевский открыл собрание, но вместо текущих дел начал с личных нападок на меня. Я был у него как бревно в глазу из-за неприятия его марксизма. Нападки могли быть всякие, но то, что начал говорить Николаевский, для меня было просто невероятно. Он начал на меня лгать и клеветать, чего я никогда от него не ожидал. Он стал говорить о том, что куда бы я не вошел, я разлагаю всякую организацию, что я испортил его личные дружеские отношения с Мельгуновым. Я закричал с места:

— Борис Иванович, ведь вы же говорите неправду! Ведь черновик письма об окончательном разрыве с Мельгуновым писали вы! Я только литературно его отредактировал.

На что Борис Иванович чрезвычайно раздраженно бросил:

— Это неправда! Было так, как я говорю!

Я был крайне поражен ложью Бориса Ивановича, как методом борьбы со мной. Но Борис Иванович продолжал:

— Из-за Гуля у меня порвались отношения с Берлиным.

Я опять с места крикнул:

— Борис Иванович, побойтесь Бога, вы сами порвали отношения с Берлиным, потому что в чем-то ему не доверяли.

— Неправда, было так, как я говорю! — ответил Николаевский.

В этот момент из кухни в комнату заседания вошла Олечка, она всегда во время заседаний была в кухне и приносила оттуда чай, печенье, варенье. По лицу Олечки я увидел, что она взволнована до крайности. И вдруг Олечка чрезвычайно энергично проговорила, обращаясь к Борису Ивановичу:

— Борис Иванович, в моем доме вы бесстыдно лжете и клевещете на моего мужа, я этого не допущу! Будьте любезны немедленно покинуть мою квартиру!

Произошло замешательство. Я невольно бросился к Олечке, но она меня отстранила. Одно мгновение Борис Иванович сидел без движенья, как бы не зная, что ему делать. Потом встал, сложил в портфель свои бумаги и, молча, ушел из квартиры. Это и был окончательный разрыв личных и общественных отношений с Николаевским. Вскоре Лига прекратила свое существование. Интересно отметить, что когда Николаевский на улице встречал меня, он мне не кланялся, но когда встречал Олечку — кланялся ей.

В разрыве с Николаевским меня беспокоило одно. Я думал, что это отразится и на наших добрых отношениях с И.Г. Церетели. Но к моему удивлению этого не произошло. Ираклий Георгиевич, как всегда, звонил нам по утрам и отношения продолжали оставаться такими же дружескими.

Когда мы собрались летом ехать в отпуск в Питерсхем, к Е.Л. Хапгуд, И.Г. попросил нас устроить и его в Питерсхеме. Олечка сняла ему комнату прямо напротив того дома Хапгуд, который мы у нее снимали. Дом был в два этажа. Места было много и Олечка стала уговаривать И.Г. переехать к нам. Она говорила ему и о том, что ему некчему самому готовить, стелить постель и прочее. Все это будет делать она без всякого труда. Ираклий Георгиевич долго сопротивлялся, но напор Олечки был так силен, что в конце-концов он согласился и переехал к



Дом Е.Л. Хапгуд в Питерсхеме, где мы жили вместе с И.Г. Церетели. Мы снимали половину дома.

нам на второй этаж. Жили мы очень дружно и ежедневно к 5-ти часам ходили к Е. Л. Хапгуд пить чай.

Я в это время служил на радиостанции "Свобода" и приезжал только в пятницу. Вот приезжаю я в одну из пятниц, Олечка, как всегда, ждет меня у остановки автобуса и по дороге домой рассказывает:

— Ты знаешь, на днях Ираклий Георгиевич за завтраком вдруг говорит мне:

— "Ольга Андреевна, расскажите пожалуйста как у вас произошла эта ссора с Николаевским". Я ему подробно рассказала, он довольно долго молчал, а потом вдруг говорит:

— Ольга Андреевна, вы — сильный человек!

(продолжение следует)

Роман Гуль

*

Здесь тоже и березы, и рябины
И в поле тютчевские паутины.

Пахучее тепло сухого сена
И в палых листьях слабый запах тлена.

И даже клин над лесом журавлиный
И пруд, где выгиб шеи лебединой.

И будто липы дедовской усадьбы.
Мой дед и бабка. Воскресить, сказать бы...

Нет, не они, и нет былой России,
И мы, душа, напрасно попросили.

А все же — дар, "у гробового входа":
Здесь будто новгородская природа.

Как будто мы недалеко от въезда
В Порхалово, Крестецкого уезда.

Игорь Чиннов

*

Царский, имперский "кредитный билет".
Бледно-оливковый, чуть розоватый.
Старый: билету за семьдесят лет.
Он полутысячный. Вот я богатый.
Только — империи более нет.

В рыцарском панцире Петр Великий.
Крест на короне. Двуглавый орел.
Шар: золотая держава... Престол
Кажется прочным... "Коль славен" и клики,
"Царствуй!" И ворог еще не пришел.

Я с пятисотенной сразу бы к Яру.
Пляшут цыганки и льется Клико.
Красное небо — наверно, к пожару.
Пару гнедых! — И огнистую пару
Кучер стегает... костлявой рукой.

Кучер безносый, пустые глазницы,
Мертвенный холод имперской столицы.
Поздно, прощай кутежи!
Прямо на кладбище, мимо больницы,
Finis, тужи не тужи.

Игорь Чиннов

АГАФЬЯ И АГАФОН

День-деньской Агафья хлопочет по хозяйству — с раннего утра и до позднего вечера, пока все в избе не улягутся — дочка, зять, две внучки и внучек. Тогда уже и ей пора.

Устает Агафья, и не диво — кончает девятый десяток, на двадцать пять годов пережила мужа, Агафона. Пора бы и ей, не раз думает Агафья, к нему на свиданьице, да что делать, коли Бог милостив... . Агафья не ропщет: успеется. Гришутка, внучек, сбирается в армию, надо проводить, чтобы все честь по чести, как положено, по людски, с гулянкой. Ксенья, дочь, уже и кабанчика прирезала, зять Василий нагнал самогону, хватит на полсела, ну а за ней — пышки всякие, да шаньги, да деруны. Квашню не забыть поставить — Гришке на дорогу спечь свежего хлебца — когда-то еще ему там поесть дадут. Коли Господь на нее не осердится, дождется Гришутку, — ноне срок короткий — всего два годочка. Гришутка — самый любимый ее внучек, своими руками выходила, вырастила. Ксюше некогда — то в поле, то по другим делам, Василий от зари до зари на тракторе, кому еще за детьми ходить, как не ей. Поутру збудить надо, покормить, чем Бог послал, в школу спровадить, из школы встретить, и чтоб не бегали, а уроки делали. Ей, Агафье, в школу ходить не довелось, а энти, внучатки ее, пусть ходят, ученье — свет, выбьются в люди. Ксюша только курсы и кончила, полеводческие, а спину уже не гнет, как другие, и руки у нее не такие заскорузлые, как у матери, Агафьи. "А ты как понимаешь, Агафон? — обращается она к покойному мужу, — ты головастый, знаю, нешто другое скажешь?"

— Ты чего там, мать, бормочешь? — спрашивает Агафью дочь. Она стоит на крыльце — высокая, костистая, как отец, в

сапогах и ватнике — рань, и хоть лето, а стыло. — Опять с папаней совет держишь? — Улыбается. Ксения любит и уважает мать; пусть она грамоте не обучена, едва буквы разбирает, а умом повыше иных образованных.

Ксения — самая младшая, пятая. Старшие разбежались по свету, кто куда, не видят друг друга годами. Было время, хотела и Ксения завербоваться на Восток, а тут в одночасье отец помер. Так и осталась с матерью, вышла замуж за Василия, пришлого солдата, народила детей, курсишки кончила агротехнические. Дети у нее хорошие, и муж что надо, и мать, дай ей Бог здоровья. Ксения довольно улыбается своим мыслям и тут же испуганно сплевывает: "Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить".

Агафья насыпала корм курам, сменила воду в плошках, собрала яйца по углам сарая, сложила их в подол и вернулась в избу. В печи урчал чайник. Агафья налила в большую эмалированную кружку кипятку, подлила заварки, старым, обтертым до блеска рогачом вытащила из печи казанок с подрумяненной картошкой, вытряхнула ее в миску, поставила на стол глиняную плошку с солеными грибками. От буханки, лежавшей на столе под полотенцем, отрезала большой ломоть хлеба, положила рядом деревянную резную ложку. Посмотрела, прикинула, не забыла ли чего, и кликнула Василия.

Василий занял свое законное место во главе стола, где прежде сиживал Агафон, широко зевнул, и перво-наперво хлебнул из кружки чаю — промыть горло.

— Чё, мать, суетишься все, полежала бы... — произнес он свою обычную фразу. Агафья отмахнулась. Василий воткнул в рот ломоть хлеба и до конца трапезы, пока не встал из-за стола, не сказал ни слова.

Агафья слышала, как Василий выкатил из сарая мотоцикл, долго заводил его, мотоцикл ухал, бахал, будто из пушки стреляли, Василий ругался, наконец, завел и уехал. Потом к столу пришли внучки, Верка и Любка. Лениво жевали, сонно позевывали.

— Девки, не возись — подгоняла их Агафья, — чай, на работу споздаетесь.

Верка уже сговорена, осенью свадьба, гуляет со своим Славкой до первых петухов. Хоть бы не забрюхатила до поры, ду-

мает Агафья, с беспокойством поглядывая на Верку, "Помнишь, Агафон, как мы с тобой миловались... Ахти мне, греховоднице, чё вспомнила, — спохватывается Агафья, и вздыхает: — Только ты не охальный был. Строгость блюли, Бога боялись. Не те девки ноне, не те".

Любка тоже не промах — и губки красит, и щечки мажет, и говорит тоненьким голосочком, а мужик мужиком, как из бревна вытесана — ни в мать, ни в отца. Парней вокруг не так чтобы густо, ей до скончания века не найти в селе пары. Агафье жаль Любку, девка хорошая, придется ей из села уходить, усохнет тут одна...

Гришутка, внучек, пришел к столу, когда солнце уже взбежало высоко.

— Ничё, — нежно смотрит на Григория Агафья, спи, пока можно, в армии спать не дадут, там с позаранья — ать-два. "Аль не так, Агафон? — мысленно вопрошает Агафья — ты вить в калегардах ходил". И смотрит на выцветшую пожелтевшую фотографию в общей раме: выпучив глаза, на нее глядит кавалергард с лихо закрученными вверх усами.

Вот и Гришутка подался со двора. Теперь можно присесть и Агафье. Из казанка она выскребла остатки картошки; Верка оставила яйцо, Гришутка картофельных дерунов не съел, а зря — Агафья для Гришутки постаралась — на коровьем маслице деруны. "Не хрюшке ж отдавать? Верно, Агафон? Бывало, хлебушком не разживешься, а тут деруны скусные на маслице жрать не хотят".

Куском хлеба Агафья вытирает жирное донце миски, долго жует беззубым ртом, раздумывая: то ли прилечь — притомилась малость, то ли замешать пойло хрюшке, а может, натаскать воды в казан, да распалить кизяков, в аккурат к вечеру вода взогреется, Василию будет чем помыться, приходит грязный, как чертяка. Голова ее клонится, веки смыкаются; привалившись к столу, Агафья засыпает. Ей снится Агафон, он неторопко разглаживает обкуренные рыжые усы, смотрит на Агафью с хитринкой в глазах и добро улыбается: "Чё, мать, приустала? Замучила Ксюшка-то со детьми?"

— Так, вить, и Ксюше-то нелегко, — возражает во сне Агафья, — вон какое семейство, и хозяйство тоже не малое, да еще

работа, как ей одной управиться?

Агафон согласно кивает головой:

— И то правда, кто еще помогёт, коли не родная мать... И тут же жмурит брови. — Только ты Гришутку не балуй, фулиганистый он, а Любку из села не пущай, Мокея внук возвернулся с вербовки, в самый раз Любке жених, и не жди, а то уведут. Пусть Ксения к Марье сходит, потолкует.

— Верно говоришь, отец, верно, — благоговейно лепечет Агафья.

Головастый у нее мужик, Агафон, все в округе знают, уж коли скажет что — мимо не прошибет. Агафья размышляет, что неспроста Агафон говорил про Любку, знает, что грызет Агафью. А Гришутка причем? Не фулиганистый он вовсе, смирнехонький, как курочка... Чой-то Агафону ведомо? Не быть бы худу. В армию идет Гришутка, а там всяко бывает. Агафья беспокойно вздыхает, надо Ксюше сказать, может, надумает чего.

Ушел служить Гришутка. На проводах два дня треть села не просыхала — пили до одури, а внук Мокеев, Степка, спьяна въехал Василию, зятю, кулачищем; глаз у Василия совсем заплыл, скула стала черная. Как же его, басурмана, с Любкой сводить, коли батьку ее побил? Эх, Агафон, напророчил с три короба, а она, Агафья, уж было понадеялась.

Ближе к зиме, когда землю обильно покрыло снегом, а речку накрепко сковало льдом, сыграли Веркину свадьбу. Потом приезжал Славка, Веркин муж, кинул в сани Веркины одежки, привязал к саням телку и двух барашков, уложил завернутого в рядно поросенка — все, что дали Верке в приданое, и уехал на другой край села.

Перед новым годом пришел Степан, Мокеев внук, просил у Василия прощения за драку, пригласил на свадьбу. Агафья ахнула — кто ж увел жениха из-под носа среди бела дня, басурманы, разбойники! Невеста, сказал Степан, Казаковых Сонька, с лица не ахти и малость рябовата. Казаков обещал избу новую поставить, мотоцикл с коляской купить к свадьбе. А ему, Степану, чего — с лица не пить, обойдется.

Любка не стала дожидаться Степановой свадьбы, уехала в город, устроилась бетонщицей в стройуправлении. Работа не

женская — тяжелая, грязная, платят мало, но среди товарок по работе как-то веселее чувствует она себя, увереннее — сама себе хозяйка, а дома, в селе, все на виду. По субботам в общежитие приходят солдаты из саперного батальона, вместе ходят на танцы. У Любки пары нет — все одна мелкота, но она надежды не теряет, может, и ей улыбнется счастье. А пока на танцах в клубе она или подпирает стены или танцует с Людкой, девахой ей ростом подстать.

Любка нисколечко не скучает по дому, только бабку Агафью вспоминает чуть не каждый вечер. Дома бабка была ей ближе матери. Все-то она знала, понимала. Утешит, подскажет. Как-то она там?

Опустел дом, разъехались внуки, как когда-то дети, Агафье стало не о ком заботиться. Она все еще суетилась, что-то делала, выбегала то в сарай — к курам, то в опустевший хлев — и сама не знала, зачем. Будить некого, кормить некого. Даже хрюшки не стало — отдали Верке. Председатель колхоза обещал премировать Ксению поросенком за хорошую работу на снегозадержании, да когда это еще будет и будет ли? Ему, председателю, что трепака плясать, что языком трепать — все едино. Сиротливо Агафье в родном доме — одна с утра и до ночи.

Василий купил новый мотоцикл и гоняет на радостях — домой не спешит. Ксюша на целый месяц укатила в область, на агрокурсы.

От Гришутки приходили письма. В начале он писал часто, письма были длинные и слезливые, потом они начали становиться короче, приходить реже. Попал Гришутка в танковую часть и все потому, что умел водить трактор и в машине разбирался — в батьку пошел, в Василия. Агафья вглядывается в фотографию, подслеповато щурит глаза. Гришутка стоит, выкатив грудь и вытаращив глаза точь в точь, как Агафон, калегард ее. Похож как, удивляется Агафья, только ростом не вышел, мелковат. Девки версты похватали, а этому аршин достался. Агафье он и таким нравится — хорош! Она засовывает фотокарточку под раму — еще один солдат в доме — солдатами были ее Агафон, сыновья Петр и Роман, солдатом был Василий, зять, а теперь вот и внук. Агафья смотрит на солдатские карточки, думает, что

мужику надо делом заниматься — вон, земли сколько, так нет, им ать-два подавай. Сеять-жать в колхозе некому, а Гришка в танке катается — нешто это дело?

Василий уже неделю не появляется в доме, и спросить некого — Ксюша все еще в городе. Агафья пошла бы в правление, да не накого бросить дом, и ноги у нее стали слабые — боится, не дойдет.

Верка, как ушла к свекору в дом, так носа и не кажет. Любка письмецо прислала. Приедет Ксения — прочтёт. Агафья не шибко сильна в грамоте и в глазах чой-то, как сквозь решеточку, рябит.

Ксения приехала вечером, в субботний день, бросила у порога чемодан и не раздеваясь уткнулась в угол, заголосила.

— Ты чё, Бог с тобой, кого хоронишь, дура? — спросила Агафья.

— Жизню свою хороню, маманя. Васька — при трех взрослых детях, двадцать пять годов вместе — уше-е-ел... — Ксения затряслась, завыла.

— Ах, окаянный, — закричала Агафья, — бес его возьми, как же в глаза он людям то посмотрит?

— Смотрит, маманя, смо-о-отрит, — выла Ксения. — Мне, говорит, не агрономша в доме нужна, а жена. — Она вдруг перестала причитать.

— Дышло ему в печенку, — зло скрипнула зубами Ксения, — я еще председательшей буду, а его, Ваську, прижму, как клопа, чтоб от него кровь брызнула, он еще на коленках приползет сюды, увидите, маманя.

Два дня не ходила Ксения в поле, сказалась больной, а по правде, перед людьми было стыдно, но перемогла себя. Что ж, если не сумела сберечь семью — сама и виновата... Думала, всё уже, отвоевалась по бабьему делу, и никуда он, Васька, от нее не денется, ан нет... Видать, во все годы надо быть на чеку, и хранить счастье, как зеницу ока...

В бригаде, в поле Ксению встретили как всегда — шумно, обо всем расспрашивали: что носят женщины в городе, что в магазинах есть, а мужики — красивые? А о муже её, Василии, будто ничего и не знали — никто не ахал, не клял. Ксения отошла, даже легче стало на людях.

Агафья, глядя на дочь, извелась вся — такая семья была, всем на зависть. А свадьбу какую отгуляли, а Гришутку как проводили! Сколько добрых слов сказали люди Агафье, и Ксюше, и Василию, надо же такому случиться — ах, басурманово племя — пришлые они и есть пришлые, нет у них совести... "Разве в наше время такое было, Агафон? Вить не было?! — Как же не было, — отзывается тот, — а Настьку забыла? Сбежала Настька с полицейским урядником от мужа. Детей кинула, дом... То-то, не ново...". "А ить верно, — припомнила Агафья, — баба дитёв родных кинула. Тьфу, грех-то какой. Слава тебе Господи, за Ксюшей такое не водилось..." И вдруг увидела Любкино письмецо... "Батюшки-светы, забыла дать его Ксюше, — разволновалась Агафья, — может, что важное в нём, денег Любка просит или чего другого, а может на свадьбу приглашает? Ей-Богу, не грех и хорошей весточке придти".

Под вечер у калитки Агафьиной избы остановился самосвал и вздыбил пыль с дороги на версту вверх. Когда пыль немного улеглась, открылась дверь машины и вышла Любка собственной персоной. Шофер снес ей чемодан, махнул рукой и укатил, снова задрав до неба хвост желтой пыли.

Шла Любка в избу, как утка, переваливаясь с боку на бок, волоча чемодан за собой...

Глянула Агафья с порога, кого это Бог послал под вечер, и засеменила Любке навстречу:

— Ах, ты внученька, ах, Любушка, приехала, милая, бабку порадовать схотелось... — И вдруг остановилась: — Чего у тебя живот-то вздулся, чай, болеет? Любка не ответила, глянула по сторонам, не смотрят ли соседи в окна, обняла за плечи Агафью и потащила её в дом. Уже за порогом бросила чемодан, вошла в горницу и тяжело опустилась на широкую скамью:

— Не вздулось, не болеет брюхо, малой там, понимаешь, баб, рожать буду... — Любка отвернулась, чтобы не смотреть в испуганные, совсем растерявшиеся глаза Агафьи:

— Любушка, дитятко, — наконец смогла выговорить, Агафья, — а отец-то кто ж?

— Кобель... Двуногий кобель, баб... Их завсегда хватает на нашу разнесчастную бабью голову. — У Любки на глаза набежали слезы, и бегут в два ручья, а Любка еще лыбится, дуреха.

Агафье стало невыразимо жаль Любку, она обняла её голову, прижала к своей тощей старушечьей груди и заплакала вместе с ней. Потом легонько оттолкнула её от себя, краем фартука утерла Любке слезы и глянула в угол, где висела икона с темным ликом:

— Господи! Не карай, а милуй. Пусть родится дитя, безвинное оно, нет на нем греха... — И истово перекрестилась. Потом глянула на Любку, чуть улыбнулась впалыми губами: — Чё сидишь? Чай, домой приехала, раздевайсь. А я тебя чайком попою, водички взогрею — ножки попаришь, а то вон как их раздуло , и в постельку — тебе отдых нужон, вить мамкой будешь...

Ксения иначе отнеслась к тому, что узнала:

— Курва! — кричала она из горенки, где лежала Любка, — разве я затем пустила тебя в город, чтобы ты мальца приблудила, на всё село меня охаяла, Васькино отродье...

Агафья всё хотела войти в горенку и не решалась — нешто можно так поносить девку? Не первая она и не последняя, она и сама уже себя казнит, пошто ж её терзать, сердечную?.. Аль не так, Агафон? Вить сестра твоя, Мина, сынка принесла в подоле. Принесла? — Ну и принесла, — отозвался Агафон, — свет не рухнул, и замуж вышла Мина и детёв нарожала дюжину, а только Колька, байстрючина, самый лучший был. — Это верно, — соглашается Агафья, — хороший был Колька, жаль, что в войну погиб...

Позже Ксения подсела к Агафье. Та уже легла, они обе долго молчали:

Чё сказать-то хочешь? — наконец спросила Агафья.

— Да ничего... Душа болит, маманя, отвернулся от нас Бог...

Агафья беспокойно завозилась на своем топчане:

— Цыть ты, окаянная, — вскрикнула она, — не гневи Бога, не трожь его... Ты то и вспомнила его тольки, когда тяжко стало...

— Да, маманя, — вздохнула Ксения, — неспроста говорят: пришла беда — отворяй ворота... Чтой-то еще будет.

Осенью повстречала Ксения Верку, дочь, в сельмаге. Обрадовалась, обняла, поцеловала, а Верка как-то жмется, сторонит-

ся, на людей поглядывает:

— Ты чего? — не поняла Ксения, — за мать стыдно, что ли?

— Да нет, маманя, — Верка поджала губы, точь в точь как её свекруха, — а только я женщина замужняя, порядочная, а от тебя папаня сбёг, да и Любка ублюдка нагуляла.

Ксения отшатнулась от дочери, как от удара, хотела было схватить её за волосы, надавать по мордасам, да только криво усмехнулась:

— А ты, Верка, дура. Не знала я этого. Поди прочь... Попятилась Верка под колючим взглядом матери и вышла в дверь.

В дождливый день, в начале ноября, Любка родила девочку — беленькую, пухлую, чистенькую, как ангелочек... Агафья снова ожила, и вроде ноги не болят, и глаза не так уж плохи, снова есть ей о ком заботиться. Пусть Ксюша и Любка тоже бабы, а только неуки они. Она, Агафья, выпестовала внуков своих, ходить-говорить учила. — И первое слово они сказали не мама-папа, а баба. Во как... "Чё, Агафон, молчишь? Прибыль у нас — девка!" — обрадованно сообщала Агафья, но Агафон не отзывался и Агафья решила, что недоволен он этим. "Ничего, — подумала она, — свыкнется, никуды не денется".

От Гришутки давно не было вестей. Совсем парень от рук отбился в армии. Просила дочь разузнать, что с ним.

— Да где ж мне узнать, маманя? Напишет, чего там, — отговаривалась Ксения.

— А ты в эту военкомату съезди. Они мальчонку взяли, пусть ответют, где он, — настаивала Агафья. И Ксения поехала в районный военный комиссариат. Ей пообещали связаться с воинской частью, где служил сын и сообщить о нем. С тем она и уехала восвояси.

Перед новым годом отправилась Ксения в областной город, накупила всякой всячины — еды разной, какой в деревне не сыщешь, гостинцев праздничных: матери — шаль, сапоги — дочери Любке, внучке платьиц всяких, набила две полные авоськи, села в автобус и укатила на вокзал. До отхода её поезда было еще не скоро и Ксения, расстегнув пальто, отдыхала в зале на скамье. Кто-то присаживался рядом, уходил, приходили другие, Ксении было не до них — думала о доме, о внучке — ладная такая девчонка получилась, Верка такой же была — колобочек.

Тут же вспомнила её в сельмаге, и больно сжалось сердце. Родная дочь и такое сказать...

Ксения почувствовала на себе долгий пристальный взгляд и повернула голову: рядом сидел Василий и неотрывно смотрел на неё:

— Здравствуй, Ксюша, — сказал он, когда она повернулась к нему. Это было так неожиданно, — её будто столбняк хватил... Наконец, стряхнув оцепенение, она ответила:

— Здравствуй, Вася.

Какое-то время они разглядывали друг друга, пытаясь обнаружить один в другом нечто отличительное от того, что они видели, когда были вместе. "Исхудал, постарел", — думала Ксения.

— Глаза усталые и морщинки у рта, прежде их не было, — думал Василий...

— Как ты, как мать, что дети?... — первый заговорил Василий.

Ксения вдруг поняла, что не чувствует ни злости к Василию, ни досады, будто встретился ей давний хороший знакомый — и только. Она еще раз окинула его взглядом и чуть улыбнулась:

— А я уже бабка, да... Девчонку, Светку, Любка родила... Прямо как солнышко — беленькая вся, волосочки русенькие, глазки голубенькие...

Василий живо слушал:

— Так коли ты бабка, значит, я дед.. — вставил он.

— Ты? — удивилась Ксения, и вдруг звонко рассмеялась, — ах, да, понятное дело. Ну а сам-то как, с молодой-то женой?..

Василий не отвел взгляд, не спрятал глаз:

— Да всё в порядке, Ксюша, всё, как надо, только ведь мы с тобой не разведены, потому она не жена мне...

— Что так? Имеешь право... — спокойно ответила Ксения, — я не против, Вася... Хочешь — подавай на развод. Чему быть, тому не миновать, авось, и я еще какого мужика залыгаю в свой коровник. Так что, Вася, и мне свободной быть не мешает... — Она глянула на часы и заторопилась: — Пора, поезд скоро придет, уже люди очередь на посадку занимают. — Так ты, того, наведывайся, дед...

Неожиданно Василий вскочил и схватил Ксеньины

авоськи:

— Посажу тебя в поезд, — пояснил он, — мой еще не скоро... — Ксения довольно улыбнулась, но промолчала и пошла вперед...

Василий вошел в вагон, нашел Ксении удобное место у окна, поставил под полку авоськи, помог ей снять пальто, повесил его, и чуть тронув Ксению за плечо, пошел к выходу.

Всю дорогу Ксения вспоминала разговор с Василием, каждую его интонацию, лицо, глаза, и её не покидало щемящее чувство — она всё еще любит Василия и всё бы ему простила, пожелай он вернуться.

Ксения осторожно спускалась по ступеням вагона на заснеженный перрон, а когда ступила на площадку, увидела рядом Василия — и не удивилась, протянула ему одну авоську, другую они подхватили вместе и так пошли по дороге в село.

Ксения вошла в дом, как в былое время — счастливой хозяйкой, каждая кровиночка в ней радостно клокотала. Она бросила на скамью шаль, пальто — на крюк, авоськи поставила на стол:

— Сейчас разложу все по порядку... — улыбнулась она Василию, — а ты что, как гость? — Тот стоял у порога, нерешительно переминаясь. — Раздевайся, сейчас чаю попьем, Светку посмотришь... Люб, а, Люб, где ты там? Маманя! — звала домочадцев Ксения, но никто не откликнулся, и она пошла в Любкину горенку. Светка спала в кроватке, а Любки не было. — Куда это её понесло? Дитя оставила, а если проснется? — Ксения неодобрительно покачала головой и пошла в Агафьину комнатенку. Мать лежала на постели, а лицо, как на иконе, темное и суровое... — Че, маманя, захворали? А у нас гость — Василий пришел...

— Вот и слава Богу, — едва прошептала Агафья, — и слава Богу... А то как вас оставить одних, без мужика?.. Теперь можно, коли Василий вернулся...

Ксения встревоженно присела на материн топчан:

— Чой-то вы, маманя, уж не к папане ли собрались? Так я сей момент за доктором съезжу... Ни — ни — ни, никуды мы вас не отпустим. Я гостинцев привезла, рыбки копченой, орехов, конфет. Новый год встречать будем, маманя... — Агафья не

ответила. Жизнь из неё уходила — сочилась по капельке, и всё вокруг становилось уже чужим. Ей уже виделся вдали, за озером, где стоял вековой лес, Агафон — высоченный, седой, он махал ей руками, мол, здесь я, сюда иди, давно жду...

Ксения вышла в горницу, где сидел Василий и тихо притворила за собой дверь:

— Боюсь, не померла бы, — и на глаза у неё накатились слёзы, — совсем плоха...

У крыльца кто-то топтался, очищая с сапог снег. Ксения глянула в окошко и увидела Любку с каким-то военным. "Не Светкин ли папаня, — подумала Ксения, — во всем подстать Любке — и ростом, и симпатичный".

Любка мельком глянула на мать, на отца и пробежала к себе в горенку, а лейтенант остановился в дверях, хмуро посмотрел на хозяев:

— Вы уж простите меня за недобрую весть. Я был Гришиным командиром. Хороший был парень Гриша, и солдат хороший... — И вдруг повысил голос: — Его убила подлая пуля... — И осекся.

Глаза у Ксении остеклянели, сердце почти остановилось, охватил озноб, будто нагишом на мороз вышла:

— Что это вы, мил-человек, говорите такое? — тихо проговорила она, — пришли в чужой дом и отца-мать — обухом по голове...

— Но это так!.. — едва не плача, прокричал лейтенант. — Убили Гришу, гроб вон на станции, к вечеру привезут сюда...

Не выдержала Ксения — завыла, как волчица — страшно, утробно, забилась об стену кулаками, головой — ни успокоить её не мог Василий, ни остановить...

— Я вам сыночка своего народила, вырастила, выпестовала, восемнадцать годочков лелеяла — нарадоваться не могла, а вы что с ним сделали? Я же вам доверила его, думала, в надежные руки отдаю, а вы его убили-и-и...

— Да не мы... — взмолился лейтенант, — в Анголе, бандиты...

Ксения широко открыла глаза, даже причитать перестала:

В Анголе? Да где же это она, Ангола такая?..

— В Африке... Он инструктором был, механик хороший...

способный... — лепетал лейтенант. — Нельзя мне говорить такое... Вы уж никому об этом... Секретно это...

— Се-крет-но-о?.. — закричала Ксения. — А мне та Ангола зачем, на кой хрен мне Африка и Гришутке тоже, или мало места тут, так всё заграбастать хотите? Весь мир вам мал, а мальчонку ухлопали не за понюх табаку... — Она готова была разорвать лейтенанта в клочья, и если бы не Василий, плохо пришлось бы ему.

— Поди, парень, со двора, — прижав к себе разъяренную Ксению, проговорил Василий, — сам видишь, каково ей... — И лейтенант ушел.

Нежданно в дверях своей комнатки появилась Агафья. Ксения и Василий замерли:

— Чё причитаешь, как по покойнику? С Гришуткой чтой-то? спросила она.

Василий хотел было упредить, но Ксения остановила его:

— Раненый он, маманя... Тяжко... — И закрыла лицо руками, чтобы не видела мать её слез.

— Значит, живой, — сказала Агафья, — а ты голосишь. Не гоже... — и закрыла дверь за собой.

Агафья легла на топчан, укрылась одеялом до подбородка, смежила веки и глубоко вздохнула:

— Вот и всё: Васька вернулся в дом, Гришутка живой, Любка с дитятей, Верка с мужиком, всё слава Богу, обошлось, Агафон. Теперь и я к тебе иду...

Анатолий Шепиевкер

*

В различных проявленьях бытия
Усматривал философ связь прямую.
Так, например, я мыслю, значит, я,
По мнению Декарта — существую.

Пусть логика — несокрушимый вал,
Я верить ей не стану раболепно.
Я плохо мыслил, а существовал,
Осмелюсь утверждать — великолепно!

Как знать, на небе пятом иль седьмом,
Иль где-нибудь на небе двадцать третьем,
Мы будем обладать иным умом,
И логику совсем иную встретим.

И, может быть, за этим звездным рвом
Столкнемся мы с совсем иным порядком,
И мозг, что был природы торжеством,
Слепой кишки окажется придатком.

Опять я убеждаюсь и опять,
Что жалок ум, что интеллект заносчив,
Что мир куда верней воспринимать
На глаз, на вкус, на слух, на нюх, на ощупь.

Иван Елагин

*

"В самом сердце мира — человек
Печенег, ацтек иль древний грек,
Иль другой какой-то имярек,
Кто угодно — хоть Тулуз-Лотрек!

Как ты ни прикидывай, а факта
Не объедешь никаким конем!
Безотрадны выверты абстракта,
Оттого, что даже днем с огнем
Не отыщешь человека в нем".

Это я твердил кому-то в споре,
Больше ради красного словца,
В самом отвлеченнейшем узоре
Мне порой сквозят черты лица.

Даже в хаотическом сумбуре
Красок, линий, взрывов звуковых,
Узнаю я правду о натуре
Странных современников моих.

Не мои лирические вздохи,
И не мой приглаженный язык,
А расскажут людям об эпохе
Визг, и вопль, и вой, и рев, и крик!

Может быть и мне учиться надо
Языку взлохмаченных кликуш,
Чтоб в стихах дымился век распада
Атома и человечьих душ.

Иван Елагин

МЕЛКИЙ ЖЕМЧУГ

КРОВЬ НЕ ВОДА

"Господи, избавь ... меня от
всякого забвения... и окамененного нечуствия..."
Иоанн Златоуст

Как нельзя представить себе романы Жоржа Сименона без дождя, так и литопусы Аллы Кторовой не обходятся без кладбищ.

Да, но не забывайте, что Алла родилась под знаком Козерога, а им управляет холодный, суровый Сатурн, планета Печали. Как же без кладбищ? Без кладбищ невозможно, если выкарабкалась эта писательница на свет Божий под планетой Концов.

"...По государеву и великого князя Михаила Федоровича
всея Руси и отца ево, государева, великого государя
святейшего патриарха
Филарета Никитича Московского и всея Руси...
За Яузой-рекою слободка Ямщицкая,
а в слободке церковь святая
Параскева Пятница, а в церкви Божие милосердие,
Образ местной Параскевы на празелени, да в тое же
слободке
двор пуст боярской, вдовы Саламанидки Овчинниковой
двор пуст Неустройко Чепурнова, извощика
двор пуст попа Патапья, Афанасьева сына Хромушина
двор пуст дьячка Куземки Ашукина
двор пуст пономаря Микифорко Шкарина
двор пуст просвирницы Федосьицы

Главы из повести.

да пусты дворы двадцать мест, что были кельи нищих, питались от церкви Божией. Посацких людей и их детей и братью, племянников и внучат и сосед и подсоседников и дворников и захребетников, старожильцев тое слободки в прошлом, в 121 году польские и литовские люди побили и пожгли".

Да. Вот так.
... О чем я?
А-а-а...

Как-то знакомая литераторша вздохнула:
— Не знаю, о чем писать. Все уже описано.

Как все? Господи, да хватит дрыхнуть-то! Если вы люди искусства, если вы секретари своего времени, ведите протоколы людских судеб!

Давно хотелось мне рассказать вам о своих, да все никак не случалось. Утром не можется, вечером спится, то посуда не мыта, то у меня сопли под носом.

Я в своей родне, как в мягком антикварном кресле. Как сяду, так с каждой выемкой, с каждой выпрыгнутой пружинкой склеюсь. Но описать? Показать, что не только голубая кровь не безродная? Да у извозчиков с Рогожской сам Александр Николаевич Островский речь для своих героев записывал.

Уж и где же это видано,
Уж и где же это слыхано,
Чтобы курочка бычка родила,
Поросеночек яичко снес,

откалывали скороговорочкой, выплясывая на честном пиру, на свадьбе моей матери и отца Агафья Яковлевна, тетка деда и дочь ее, Полюшка Северьянова. И только недавно мне стало известно, что эту уникальную московскую попевку Островский перенял на Рогожской от жены столичного ямщика и поместил ее в уста свахи Устиньи Наумовны в пьесе "Свои люди — сочтемся". Во всей русской литературе и в фольклорных записях вы нигде больше не встретите этой стихотворной прибаутки. Да-с. Так что в речи героев моего любимого драматурга взвивается, стреляет фейерверком цветистая, узорчатая речь и моих родных.

Наших-то родителей тоже ведь не аист в клюве принес. Посмотрите на лицо дедушки Тимофея Васильевича — царь порфи-

городный, а не крестьянский сын. Да легче язык проглотить, чем вымолвить, что его на задах в капусте нашли.

Но я все медлила. Все думала, будет час — все распишу, времени впереди навалом. Ан не тут-то было. Как-то утром, еще не вставала, лежу, думаю о разном, синички за окном клювиками стучат, зернышки подбирают, а мне в голову вдруг и стукни, что бабуся, тети Варина старшая сестра, самая древненькая в нашей семье, которая семейные архивы по елеграмотности в уме вела, возьми да и умри. И так и не вспомнила перед кончиной, была ли моя прабабушка по бабкиной линии с подтанцовывающим именем Лукерья Аникеевна и драгоценной для меня фамилией Китайгородцева просвирницыной дочерью, пономарихой, или вдовой дьяконицей. Так кто ж она такая будет?

И сердце остановилось. И стало мне моркотно. И подумала я, вот так люди скоропостижно кончаются. Вот придет Супченко,нежно пропоет внизу: "Шерри! Дарлинг! Хани!" Глядь туда, глядь сюда — а я мертва.

И реанимации не под-ле-жу.

Спрашиваю мужа Супчика: как звали давно умершего отца нашего шурина Джорджа.

— Дэд Бойер.

— То есть как это? Дэд? Папаша? Папаша Бойер? Но это же не имя! Звали-то его как?

— Не знаю. Для всех он был дэд Бойер. Спроси у Мэри или Бонни, может быть, они помнят, — меланхолически заявил этот попиратель памяти предков. Изумилась я, недавно прочитав, что даже сын художника Аполлинария Васнецова, восстановившего на своих картинах старинную Москву и почтившего этим родную историю, сын его по имени Всеволод не знал имени своей любимой няни. Няня и няня. Все.

Все? Да что с нами, люди?

Ну вот хотя бы вы. Да, да, вы. В блондовом чепчике с цветами напереди и янтарной брошью. Пожалуйста, не прячьтесь. Я задаю вопрос, а вы что ж? Бочком, бочком, да под корягу? Отвечайте, милочка. Вот вы, одна из тех моих землячек, кто добровольно ездит на Крутицкое подворье и помогает в реставрационных работах. Вот вы, одна из многих, кто везде колоколит о том, что надо немедленно восстановить столичные строения,

так бездумно разрушенные за последние семьдесят лет и отдать дань святой памяти прошлого. Коронный девиз подобных вам — учитесь любить Русь! Прекрасно. А вы знаете, как звали вашу прабабушку?

— Да что с вами, женщина? Вы здоровы? — слышу я в ответ. — Бабушку, и то только одну, знаю, а пра? бабушку? Нет. Никогда и не интересовалась даже. Ну прабабушка и прабабушка.

То есть надо б хуже, да нельзя. Словно прабабка ее овцой беспрозванной весь свой век проблеяла, как будто папаша Бойер беглым каторжником был и под чужим паспортом всю свою жизнь от полиции скрывался.

А мы с мальчиком Джекуней, соседским детенышем, в парке, на зооплощадке старенького джентльмена познакомились с петушком и курочкой, так и тем имена выбрали, петушка Шантеклерчиком зовем, а пеструшку Филис, Фелицатушкой.

Я хочу вам сейчас кусочек из своей американской жизни подкинуть, а то все последующие эпизоды не будут строиться.

В шестьдесят третьем году поехали мы с мужем Супчиком по своему делу в Венгрию, в ту славянскую ее часть, откуда восемнадцатилетними, только что поженившимися ребятами укатили в Америку его родители, Лайош и Магда. После того, как мы нашли в красивом селе Буксен Керест (Буковый Крест) приветливую Марию, троюродную сестру Супа, к нашему фольксвагену примчалась вся деревенская босота. Мужики гордо стояли в стороне в гуцульских шапках, покуривая трубки, а женщины, старухи и детвора взяли нас в блокаду.

— Пустите меня к нему, я Барнабаша девка! Барнабаша девка я, пустите меня к нему! — голосила на хорошем русском языке какая-то молодка, расталкивая всех локтями.

Потом оказалось, что Барнабаш — один из очень дальних родственников Супченко.

— Сын Магды, Янош! Янош, старший сын Магды и Лайоша приехал! — время от времени покрикивали старухи.

Суппи, не понимая ни единого словечка, стоял ни жив ни мертв, помаргивая коротенькими ресничками. Он промолчал все время нашего визита. Переводчицей и организатором всех встреч была я.

После двух дней пребывания в Буксен Кересте мы уехали, остановившись на ночь в гостинице близлежащего города Мишкольца. И вдруг, ночью, я проснулась от необычных, страшных звуков. Вскочила — это муж стонал. За всю войну, поднимаясь летчиком-истребителем с авианосца "Тулаги" на одноместном самолоте "Хэллкэт" ("Адская кошка") с грузом бомб (прощайте все человеку, взлетевшему хоть один раз с грузом бомб!), сидя двадцать четыре часа в сутки с наушниками и слушая позывные на возможный вылет, готовый каждую секунду вскочить в свою "Адскую кошку" и мчаться поджигать и сбивать немецкие "Юнкерсы", сам два раза падая в горящем самолете, он не произнес ни одного слова жалобы, никогда не сетовал на судьбу. А тут — страшный стон во сне (если бы он знал, что я тут про него пишу, мне конец). "Янош, Янош! — вдруг ясно различила я. "Янош!" — громко выкрикнул Джон свое венгерское имя, которым его в первый раз назвали только здесь, в деревне его предков, и сел на кровати. Сел и закачался, как лунатик, не открывая глаз. Днем, вернувшись откуда-то, я увидела, как мой Супченко-Янош, герой последней войны, водитель свирепой "Адской кошки", сидит на кровати и перебирает подаренные ему буксенкерестовскими старушками собственноручно ими связанные носки. Он складывал их по парам, рисунок к рисунку, эти носочки, огромный, весь в бороде, похожий на добрую деревенскую бабушку, ходившую спозаранку на смиренную охоту и теперь сортирующую грибы.

— Да, кровь не вода, — задумчиво пробормотала Магдалена, мать Супчика, которая была для меня не свекровью, а самой дорогой и любимой подругой в первые годы моей жизни в Америке, когда я рассказала ей о ночном эпизоде в гостинице города Мишкольц, куда она в детстве шлепала босиком на базар.

А я подумала, что не отправься в десятом году Лайош и Магда в Новый Свет, быть бы моему Джону Шандору мужиком-гуцулом в Буксен Кересте, стоять в порхарях и войлочной шляпе с трубкой в зубах и возить на словенские поля для удобрения куриное гуано.

И я, как свекруха моя Магдалена-Мария: родилась в Москве, а теперь вот живу в Америке. Живу я в прекрасных Соеди-

ненных Штатах за спиной супруга Супского. За мужа завалюсь, ничего не боюсь. И все у меня есть. Но все это сон. Бесконечный, беспокойный сон.

Что я вам, верба, что ли? Куда ткни, там и растет?

НЕ ПО ХОРОШУ МИЛ, А ПО МИЛУ ХОРОШ

Отец говорил мне: никогда не забывай, и детям с внуками передай, что мы — коренные москвичи из Рогожской слободы, четвертой ее части, у Таганских ворот, за Лыщиковой горой...

Медленно, медленно выхаживаю я около московских древних домов, оглаживаю вековые камни, карабкаюсь по выкрошившимся лестницам старых адресов, навещаю на Лыщиковой горе девятнадцатое столетие. Вижу Василия Яковлевича и его старшего брата Михаила, моих прадедов. Тонкобровые, со спокойными лицами, стоят они с кнутами за поясом, держат под уздцы своих Варваров, Ярыков, Сметанок да Атаманок. Ясны передо мною видения прошлого, льются прямо в душу мои Яковлевичи, плавают там, как астронавты в открытом космосе, а я прошу у них прощения за то, что так надолго их забросила.

Рогожская, тихий вечер, облитый луной, голубая тень на февральском морозе — все тут мое.

Полпивная Коровина, на ней надпись "Метать промеж себя, коли длинный конец". Боженька мой, какая непонятная надпись, глупая даже. Но она моя.

Церковь Никиты-мученика, одинокий крик вороны, скрип валенок, кудрявый мальчик Ванечка, мой отец, провожает дедушку на работу, идет за санями, рядом собаки, Полкан и Салтан, а навстречу — поджарый, пузатенький меринок Шкариных.

Не уходят, никак не уходят от меня мои драгоценные сродники. И что за память такая моя адская, ведь никак не отпускает она меня, ведь за горло держит.

Горький считал, что каждый человек должен сохранить семейное прошлое от забвения и написать свою биографию.

Но этот завет задолго до рождения Алексея Максимовича исполнили мои простолюдные московские пращуры. Не сбрили они фамильного существования, передавали из поколения в по-

коление, из рода в род рассказы о жизни нашей семьи. Рассказы эти я и за миллион не продам, и моя святая душевная обязанность восставить всех моих дедов с бабками из небытия, повернуть их лицом к вам и вспомнить так, чтобы они и для вас стали близкими.

Клавдия Бурмистрова еще три года назад заполняла свои ко мне письма в Америку так:

"У Якова Чепурнова было детей: Михаил, Агафья, Василий, Елизавета, Константин".

"У его старшего сына Михаила было детей: Петр, Мария, Николай, Степан, Варвара, еще Николай..."

Помню, в Иерусалиме, у ворот Старого города я познакомилась с бедной на вид старушкой, продававшей открытки. Старушку звали Маланьей Ивановной. Позже я узнала, что она вполне состоятельна, а занимается мелким бизнесом не из-за денежного интереса, а для препровождения времени и бесед с разными людьми. Маланья Ивановна легко вступила со мною в контакт, объяснила, что все христиане должны молиться об Израиле и просить Господа хранить его коренное население, ибо без иудеев не может быть Воскресения Христа. Но когда я соскользнула на свое хобби и заикнулась вопросом, как кого звали в ее семье, то чуть жизненных сил не лишилась, когда старушка с неизбывным наслаждением вдруг деловито поплыла:

— А батюшку-то звали Иоанн, а дедушку-то звали Симеон, прадеда величали Сергиян, а пращур наречен был Феодор...

Я тоже начну сейчас повествовать о своих родных подобно Мелании Ивановне и, как падре, начинающий католическую литургию под Рождество, затяну:

На пять тысяч сто девяносто девятый год от сотворения мира,
На три тысячи девятьсот пятьдесят седьмой год после потопа,
На две тысячи пятнадцатый год от рождения Авра-а-а-ммм-
аааа...

Как разведчик-пластун поползу по московской теплой земле, прислушиваясь к гулу веков.

Осторожно вызову на диалог генную память.

Робко попытаюсь выстроить судьбу предков по старинной семейной хлебальной ложке, по отцовым дневникам, рассказам

тети Вари и хранимым Клавкой расшитому шелком извозчичьему поясу деда Тимофея Васильевича, который носили все лучшие и почитаемые лихачи Москвы и старинному колокольчику-шаркунцу...

Тютчев писал Жуковскому из Италии, что больше всего в жизни любит свое отечество и поэзию. Запомни навек, читатель: моя главная привязанность в сем мире — это Москва и проза. Я думаю, что любить родную сторонушку — не самый страшный грех.

Москва некрасива? Она шумна, заполошна и вавилониста? Ваша правда. Да не по хорошу она мне мила, а по милу хороша. Нет красоты в пустыне, красота — в душе араба. Таков расклад.

С ЧЕРНОГО ХОДА
(Клавка Бурмистрова)

В мае сорок первого, школьницей, возвращаюсь откуда-то домой, а в дверях дедушка смеется. На столе мешок, а на тахте, пузом вниз, как подводная лодка на мели, промяв жидкие пружины до полу, храпит светловолосая дева. Я уставилась на нее. Она кончила разглядывать сны, села, и, прищурив запухшие от сна бельмочки, приветливо окая сказала волжским говорком:

— Привет от родни из Ульяннска.

Это была Клавка Бурмистрова, наша родственница, с которой я ходила смотреть Венец, когда мама привезла меня, семилетнюю, в Ульяновск, показать папиной родне. Привалила к нам Клавдия после семилетки, заявилась в Москву наниматься в домработницы, а потом поступать в техникум. На внешность нельзя назвать ее ни красавицей, ни дурной, а вот Капа, младшая сестра ее, так та, можно сказать, чуть-чуть и некрасива.

Поскольку вломилась она к нам за три недели до начала войны, судьба ее приняла несколько другой оборот, нежели тот, о котором она мечтала. Сначала мать, всю жизнь текстильщица, устроила ее на Первую Ситценабивную, откуда ездила Клава на окопы. В панику шестнадцатого октября легко прописалась в нашей квартире, подделав какую-то справку. Потом работала по призыву милиционершей. Мы стали жить одной семьей.

Мама говорила:

— Без Клавди не пережили бы мы ни голода ни холода сорок первого и второго, и давно уже лежали бы на Пятницком рядом со всей Ваниной родней.

Кланька притащила железную печечку и сама вывела трубу в окно. Колола на дрова чурки диаметром в полтора метра, что не под силу и гренадеру. Воровала на Ситценабивной шпули. Дед и мать строго-настрого запретили ей делать это, лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой. Клавдия складывала губки, мигала своими прекрасными чепурновскими глазами, а назавтра, ощупывая ее солдатскую, еще с империалистической, дедушкину шинель, которую она протаскала всю войну, мы опять находили в конце полы, почти у земли, две-три катушки. С этими шпулями она ездила по Подмосковью, продавая и меняя их на картошку. Стирала Бурмистрова наши убогие тряпки золой, и полы скребла, и дедушку с обеими бабками мыла. И хохотать время находила. И с военными встречаться. В конце войны поступила в библиотечный техникум, а недавно ушла на заслуженный отдых солидной партийной дамой, персональной пенсионеркой одного из московских элитных мест. Под присягой показываю: Клавдия Бурмистрова — одна из тех женщин, которые могли бы управлять государством.

Много лет не могли мы с папой вычислить — почему? Знали только по семейным сагам, что наши прямые родственники-москвичи очутились два века назад в Симбирской губернии. Но вот по какой причине одни из них носят нашу природную фамилию Чепурновы, другие, как Клавдина семья, Бурмистровы, третьи пишутся Стройщиковыми, а четвертые — Кочуровыми или Кочкуровыми, нам было непонятно. Но вот однажды, явившись в Москву в очередной наезд из Америки, я намекнула Клаве, что хотела бы, наконец, узнать историю переселения в Симбирск из Москвы той ветви нашей семьи, из которой была и она. И поскольку, как вся наша родня, Клавдия очень любознательна, то, ничего мне не сообщив о своем намерении, секретно, в один из летних отпусков, она подговорила тетю Варечку, женщину уже преклонного возраста и с верикозными венами, и покатила с

нею в Ульяновск, чтоб вызнать мне кой-чего из архивов большого, когда-то очень богатого села Т.

Одна моя пожилая знакомая в Нью Йорке не может забыть того, что она с дочерью-косметичкой жили в Москве, "как Бог в Одессе, даже Ротшильд здесь так не живет. И задняя баранья ножка, и крабы, и красная икра"...

— Но вы же понимаете? Все это, конечно, с заднего хода.

Мы с отцом никаких задних ходов никогда не знали. Только с парадного. Только со служебного. Толкались да толкались, бились да бились мы с ним официально, в открытую, чтоб документы о своей семье в архивах разыскать — глухая стена была перед нами. И тогда я решила — к черту. К дьяволу. А ну-ка с черного! Со двора! Приехала я в столицу американской туристочкой-миллионершей. Покатила моя Бурмистриха в Ульяновск. Зарядила Раису, подружку бывшую, с которой вместе первоклассницами в Свияге тонули, а теперь одну из деловых дам этого города, джинсиками для сына Олежки да калькулятором для мужа Витюшки. Так и появилось *все.*

Как на скатерти-самобранке развернулась передо мною родословная наша панорама и стало, как под лупой, выпукло, укрупненно и ясно.

У КОГО ЗА ПЕРЧАТКОЙ НЕ ХВАТИТ ТЕПЛА, ЧТОБ ОБЪЕХАТЬ ВСЮ КУРВУ — МОСКВУ?

"Стоит Слободка Ямщицкая подле деревни Кожухово, за Яузой за рекою. А впадает в Яузу малых десять речек, водятся в тех местах лисы, зайцы и горностаи, знатных высоких гор не имеется и сеется всякой разной хлеб, А ямщики гоняют на Макарьевскую ярмарку первая — двадцать девятого, а вторая от него, оного числа, через неделю, а купечество там небогатое и строение нехорошее, соломой крытое".

В старой тетрадке "по военной подготовке" Барышева Олега, Раисиного сына, на неиспользованных последних страницах, кривоватым, как у беспризорницы, но старательным Клавдиным почерком было списано из исторических документов:

"...а в слободке той Ямщицкой конюшенных припасов за

1791 год не сбиралося,
а неокладных денег всяких экономических, яко то с садов, огородов, да за проданный скот не имелося,
а из нетяглых, лучших людей имелася из подговоренных девок одна Чепурнова Лебовь.
и да не брести девке Лебови розно; с нею смежно и сручно идти Чепурнову Панкрату, родителю ее, ямскому стройщику, с сыном Евдокимом осьмнадцати лет, да с сыном Александрою шестнадцати лет — расписывать дорогу в село Прислониха Симбирской губернии".

Клавка Бурмистрова — прямой потомок той девки Лебови, нашей общей с нею прапращурки, которая побрела в Симбирскую губернию замуж за молодого бурмистра или парня с такой красочной фамилией. Стройщиковы пошли от младшего брата Лебови, Александра, пришедшего с нею в те же края для прокладки московского ямского тракта и надзора за ним. По этому тракту из России в Нижнее Поволжье маршрутом Сельдь-Тетюшское-Сиуг-Уржумское-Прислониха ехал спустя годы Пушкин собирать материалы о Пугачеве. Пушкин ездил по Симбирскому тракту, проложенному моими родными и — но это уже совершенно случайно — упомянул наших родственников в своих сочинениях. Полистайте труды поэта, найдете строчку: "Утром пришли пьяные казаки Кочуровы, Иван да Кузьма". Это — сподвижники Пугачева. О них в местных газетах писали в тридцатые годы. Я тоже Кочурова — отец взял себе эту фамилию во время революции по причинам особым. Фамилия эта не близких, но любимых наших родственников, из которых вышел и Николай Иванович Кочкуров, писатель Артем Веселый, с которым отец очень дружил.

Обобщаю и закругляю свою информацию так: Панкрат, отец моей пра — Лебови и два его сына, Евдоким и Александра, были стройщиками, как называли в те времена планировщиков и строителей ямов, то есть постоялых дворов. Неизвестно, что сталось с отцом Лебови, Панкратом, моим пра-пра-прадедом, но его младший сын Александра прижился на новом месте и от него пошли там Чепурновы и Стройщиковы. Евдоким же, старший, вернулся обратно в Москву, где родился уже совсем ясный для меня не по древним актам, а по рассказам родных его сын,

мой прапрадед Яков Чепурнов.

С далекого моего прапрадеда Якова Чепурнова, пятилетним мальчиком бывшего свидетелем пожара Москвы Двенадцатого года, начинается живая история нашей семьи. Об этом Якове подробно рассказывается в дневнике отца, который он вел в войну в Саратове, а воспоминания его записаны со слов его деда Василия Яковлевича и братьев последнего, сыновей Якова, отцом которого был Евдоким, стройщик из Москвы.

Самое красочное в этих воспоминаниях — описание сцены того, как Евдоким с сыном своим Яковом и дочкой Агашкой слушал где-то на Тверской-Ямской отзвуки пушечных раскатов Бородинского боя, где ни дезертиров, ни взятых знамен не было ни с той ни с другой стороны.

Из тех же мест глядели они на великий пожар Москвы, когда от пламени окрестных строений занялся и дом родителей мальчика Якова, да не от огня, а от дыму. Но избу тут же всем миром раскидали, переволокли в Соломенную сторожку, а потом путешествовала та изба по всей Москве; и на Извозной Первой и на Извозной Второй побывала, пока не осела окончательно у родственников за спокойной Яузой, за Лыщиковой горой, где с давних пор жили в Рогожской слободе ямщики и извозчики, где родились мои деды, отец и я, и где кипел и толпился боевой, неуемный, столичный народ.

Первая Рогожская теперь называется Школьная. Это единственная улица в Москве, не измененная годами, где как стояло все, так и стоит, где старые дома не раздавлены новыми. Там, если сподобятся, хотят в будущем устроить музей быта ямщиков. Наше жилище в перестроенном и окирпиченном виде стоит до сих пор, и лет десять тому назад Клавка мне сообщила, что в обследование заповедных построек Москвы включен дом ямщиков и извозчиков Чепурновых, так как там, в нашем доме, в проемах старинных окон, химическим анализом *нашли сажу!* Ту неоценимую, драгоценную сажу пожара Двенадцатого года.

Вот когда я порыдала, не экономя ни грана темперамента. Вот когда я встала во фрунт, отдала честь своей дорогой родне и торжественно произнесла:

— Благодарю Тебя, Господи, что ты привел меня дожить до этого часу!

Умиляться не хочу, а правду выложу. Две удивительные вещи водились в семействе Чепурновых. Первая — все они были на одно лицо, кроме моего прадеда Василия Яковлевича, и даже у Клавдюни, как и у моего деда, красавца Тимофея извозчика, такие же серо-синие хватающие глаза. Вторая необычная по теперешним временам черта это то, что, начиная с глубоких веков, вся чепурновская родня была необыкновенно спаянной. Хоть я и согласна с вами, что с родственниками хорошо только на кладбище лежать, но и сам Евдоким, а потом сын его Яков, дети и внуки последнего, проявляли братский интерес друг к другу и навещали своих близких и дальних родичей, потомков Лебовь Панкратьевны и Александра Панкратьевича, стройщика из Москвы.

Дениска, Кланькин внук, только заведите его, с одного оборота затрещит, как телетайп застукает, о нашей далекой прабабке Варваре, отважной женщине, которая в Двенадцатом году французов в Москве "козой" напугала. Там же, в Симбирской губернии, молодой ямщик Яков, мой прапрадед, гнавший обоз товара из Москвы на Верхотурье в первой четверти девятнадцатого века, остановился на отдых у родных в селе Ясашное-Помряськино. И там, распивая чаи в трактире (это уж я сама, именно таким, а не иным образом леплю его био) встретил молоденькую, прехорошенькую Авдотью Федотовну Новопольцеву, дочь богатого вольного крестьянина, свою будущую жену. Откуда я знаю, что Авдотья была хорошенькой? Да потому что сын ее, мой прадед Василий Яковлевич, единственный из всех детей огромной семьи Чепурновых был ее вылитым портретом, а фотография прадедушки, старичка из сказки на вид и ядовитого змея по характеру, как свидетельствуют данные опроса тети Вари — передо мной. От прапрабабушки Авдотьи Федотовны пошла в нашей семье волжская лексика, своеобычные словечки, поговорки и даже мелкие ругательства, а дед Тимофей с братьями Романом и Андреем и сестрами Рюней и Марусей, когда были бэби, акцентировали волжское "о", так как их няньчила и учила говорить симбирская их бабушка. Мой отец тоже прекрасно имитировал речь симбирцев.

Ну так как? Неплохо я излагаю? Читабельно? Или летопи-

сец из меня, как из суповой тарелки — летающая?

Кроме того, я в сомнении. Как рассредоточить сказания? На сколько циклов раскручивать самые яркие варианты? Работать маслом или акварелью? Углем или карандашом? Давать эскизы или тематические картины? Как смоделировать нежелательные персонажи, как ими управлять? Николайку возьмем. Только хотела было изгнать его совсем из семейной хроники, выпадай в осадок, рвань бахромчатая, разъедайся временем. А он — нет. Атакует меня, в голову ломится. Без моего приказа возникает Николайка, в летящую скорым поездом мысль ломится, прыгает на подножку, грудь колесом, в поручни вцепился, умоляет простить и вонзить и его в ткань сказаний о жизни моей смелоокой, синеглазой родни.

Не помню ни обстоятельств, ни лиц, только слова чьи-то в памяти остались:

"...а псаломщик и начни подглядывать, кто выходит из комнат игуменьи".

"...воспитывала маму бабушка Оксинья, вместе пряли, вместе ткали".

"...Василий Яковлевич сел угощать, подает Игнату рюмку, а Игнат пить не стал, почему дядя Василий налил ему наотмачь. — "Я не антихрист" — и стал собираться домой, хвать-похвать, а лошадь Атаманка возьми да убреди со двора неведомо куды".

"...Тимофей Васильевич им и говорит: "Какие-такие головные уборы? Девица ль я, што-ля, чтобы в уборы рядиться, да пропади они, нам вашего ничего не надобно, у нас свои шапки есть".

Словно дозорный сквозь щель-бойницу, вглядываюсь я в прошедшее. Но обо всем и всех не перекалякаешь.

Вот лежу я в своей шикарной спальне в Америке, глаза, как гнетом, придавлены. И вдруг... кто-то тихими стопами подходит к памяти, медленно, со слабым скрипом открывает дверь. Стук, стук. Стук-постук.

И слышу:

— Барин дома? Гармонь готова? Можно поиграть?

А ты чей такой?

Я-то? Я дядечка твой. Сказывальщик из Помряськина.

СКАЗЫВАЛЬЩИК ИЗ ПОМРЯСЬКИНА
(Дядека)

Кем приходился Абрам Кузьмич Новопольцев моей прапрабабушке Авдотье Федотовне Новопольцевой в точности, Клавке выколопнуть из архивов пока не удалось. Как будто племянником от младшего брата. Хотела я отругать Клавдию, что не с полной отдачей работает, а потом передумала.

Мой прадедушка Василий Яковлевич с братьями, мой дед, красавец Тимофей-извозчик и все племянники называли Абрама Кузьмича "Дядека". Такого образования от слова "дядя" ни в одной семье, ни в одной родне никогда и нигде я не слышала, у Даля не нашла и поэтому отношу эту форму родственного обращения полностью за счет лингвистически талантливого уха нашей семьи.

Мой дедушка лично мне рассказывал:

— Дядека Абрам нас с Петькой да Евсюткой стадо пасти заставлял, а сам в кабаке сидел, бочки караулил, да сказки сказывал. Лучше всех придумывал он всякие небылицы. Его баре возили к себе в усадьбы, когда пиры устраивали, он и смешил их там.

А ты, дедунь, любил на Волгу ездить?

Да как те сказать? И любил и не так штоб.

А почему?

Ребятишки дразнились, и все через дядеку Абрама. Как идем с Петькой по селу первый день в приезд, так уж и слышим:

На болоте кочки
А у вас дочки
А в лесу пеньки
А у нас сынки.
Ой, бей в доску,
Поминай Москву,
Москва-народ

Толповою стеною прет
Чепурновы, Шкарины,
Ашукины, Марины.
С Яузы прибегали, лапти истоптали,
С кочки на кочку скакали,
А Волга-река их не принимает, ко бережку прижимает.
Дядека Абрам рад, тетка Мотря рада, а ребятки те
с Ма-а-а-сквы, с па-а-а-да, с ава-щнова ряда...

Дед тихо смеялся:

— Так москвичей всегда по всей России дразнили — С М*а*сквы, с п*а*сада, с *ава*щнова ряда, — за голос наш мягкий, за "а", за открытую нашу московскую повадку. И песню эту Дядека всегда пел, как нас встречал.

Абрам Кузьмич Новопольцев или, как он сам себя называл, "Сказывальщик из Помряськина", родился в первой четверти девятнадцатого века в деревне Ясошное-Помряськино Симбирской губернии, когда моя прапрабабка Авдотья Афанасьевна была уже взрослой. Среди крестьян Поволжья о нем ходили легенды, но в широкую литературу он вошел только после тридцатых годов нашего века, когда профессор Азадовский печатно присвоил ему бесспорное первое место среди мастеров русской сказки по количеству и разнообразию записанных от него текстов.

Мой дедушка Тимофей Васильевич и его двоюродный брат Петр Михайлович описывали дядеку Абрама мужчиной высокого росту, широкого в плечах, всегда в домотканном кафтане, прекрасно играющего на пастушьей жалейке. Больше всего любил дядека по гостям ходить да сказки сказывать. Также обожал выпить вина, не брезговал дружбою господ и, подогретый их вниманием, начинал свои сказки, полные блеска словесной отделки, остроумия, веселости и насмешек над людьми.

Дедушка говорил:

— Стрелы по кому хошь пускал, в кого какая попадет, а самого себя и родных первых, ровно кипятком, шпарил. Мать его еще жива была, старушка вроде бы смирная, в кого только такого сына уродила. Вот он хвать ее, маленькую, да качать, а она кричать:

— Борода с ворота, а ума с прикалиток!

Абрам Кузьмич Новопольцев, для нашей семьи дядека Абрам, Сказывальщик из Помряськина, придумал (не знаю, грамотный он был или нет) семьдесят две сказки. Он мог рассказывать их по нескольку часов подряд и точно таким же талантом отличался мой дед. Дядека Новопольцев был не дилетантом, а настоящим природным артистом с сильным и ясным умом. Он не только рассказывал, а показывал и играл сказку и был самым желанным гостем на свадьбах и пирах у окрестных крестьян и помещиков.

Ни о каких горьких долях крестьянских дядека Абрам не сказывал, о черных участях русских землепашцев ни стихов ни поэм не складывал, ничью судьбинушку горькую не оплакивал, матушку-Русь не обвывал, батюшку-царя ни добром ни злом не поминал, барам-кровопивцам голов рубить не призывал. Не сочинял ни старин, ни былин, ни новин; Стенек Разиных и Емелек Пугачевых не воспевал.

Дядека Абрам, Сказывальщик из Помряськина, был Насмешником. Насмешником-Иронистом-Сатириком-Юмористом. Лукавым весельчаком.

Стервец Николайка, дедушкин воспитанник, вообще обожавший женский пол, всякий раз блудливо щурил свои котовские глазки, когда слушал дядекины волшебные сказки о спящих девицах.

Вспоминают старожилы нашего двора на Кировской, как много лет назад вились они вокруг меня, трехлетней, лопоухонькой, приговаривая: "Вить, а Вить, расскажи сказочку!". Я садилась на доски и, счастливо посапывая, с упоением начинала всегда одно и то же:

— Вот жил-был один старух. Вот старух умерла, ноги в стенку уперла. Ее хотят хоронить, она лезет на колокольню звонить. Они на это не взирали, ее в землю зарывали, она из земли вылезала, опять на колокольню залезала.

Только после смерти отца я прочла в его интереснейшем дневнике, который он вел всю войну в Саратове, что сказку эту, "Ванюшка и Аннушка", слышанную от Новопольцева, привез подростком в Москву из Ясашного-Помряськина мой дед, которого дядека Абрам заставлял с братьями Петькой да Евсюткой стадо пасти, а сам сидел в кабаке, бочки караулил да сказывал сказки.

В дневнике папа оставил дословную запись, со слов дедушки Тимофея, мальчиком слушавшего сценку, игранную Сказывальщиком из Помряськина на деревенском празднике:

— Вот восходит молодец и говорит: мир вам, гостям, на вашу беседу.

— Просим милости, добрый молодец. Мир и тебе, славному соседу.

— Что ж вы сидите, брагу пьете, пряники едите, а ничего не говорите? Должно, вы спать хотите. Поднесете бражки стакан, шуточку пошучу, всех вас словечком озолочу. Бражки хлебнешь — упадешь. Вскочишь, опять захочешь. Поднесете пряник печатый, всех невест созову, кому какая пригожее, тот ту и сватай. А чего сидите, да молчите? Ишь-глядишь расселись, ровно дворяне. Дворяне, жарены таракане. Барская бровь, да собачья кровь.

— Ну вот тебе браги, пей, кафтан не залей. Вот те пряника, ешь, пока посинешь. А чей же ты такой?

— А я вот из Помряськина. Сказывальщик.

Есть ли у меня еще что-нибудь о легендарных моих предках до Евдокима и отца его, Панкрата-стройщика?

А как же!

Восстановление истории семейных актов — нескончаемый археологический раскоп. Туда, в эту пахнущую веками и грибами яму, надо прыгать бесстрашно. Перекапывать белыми ручками культурные слои сырой, липкой земли, перетаскивать на собственном горбу тяжелые пуды калорийной истории, а потом пальцами разминать мокрые глыбы глины, рассматривать в лупу тонны микрокусочков и отделять их кисточкой от гор трухи.

Хотите пройти со мной, посмотреть на один из таких раскопов?

...Ой, какие старинные задворные сады! Конюшни, дом, прируб. Какая красота этот прируб! Там жили папины дядья, братья деда, Роман да Андрей Васильевичи с женами Ксеней да Олей и внучками Валюшкой, Томушкой да Лелюшкой. И полпивная Коровина рядом, а над ней мистическая надпись "Метать промеж себя, коли длинный конец". Легенду об этой вывеске — потом. Интересно? Еще бы.

Вот еще одно, уходящее в густую тьму времен предание.

Ларион Чепурнов, по прозвищу Ларка Почта, служилый человек почтарского двора со Сретенки при царе Алексее Михайловиче, призывал участников Медного бунта разбираться по домам. А на него бабища с колодой. Еле ноги уплел.

А вот повествование о том, как прадед с молодым дедом были обязаны полицией расчищать Ходынское поле. И возили они, скорбя, трупы с Ходынки и помогали складывать их крест накрест в могилы на Ваганьковом.

А потом опять восемнадцатый век. Серое, опаловое утро. Родная Рогожская. Будочник с колотушкой:

— Эй, кто идет?

— Свои.

А на небушке-то хма-а-арь... Скоро ночь меркнет.

Какая бесконечная, какая длинная, длинная улица....

Алла Кторова

ПОЛЬША

Досада русского двора.
Та, что за Малой и за Белой.
Непокоренная сестра
от Радзивилла до раздела.
И вот опять бельмо в короне.
Варшава память ворошит —
кому сидеть на царском троне,
княгиня Лович порешит.
Нет, у неё не те повадки,
и панна Мнишек ей не мнится.
Но слишком узкие перчатки
и слишком нежные ресницы.
Уже недолго ждать до срока,
когда мятежная волна
сметет в гостиные Европы
опальной Польши имена.
Уже недолго... Но сегодня
спокоен в Аничковом бал.
И ловко чей-то веер поднят,
который с ловкостью упал.
И чей-то взор улыбку дарит,
и все привычно ждут, пока
увидят в зале Государя.
И польский грянет свысока.

Марина Косталевская

Пете С.

Я боюсь за тебя. Боюсь
не случилось бы вдруг чего.
Словно вор за тобой крадусь,
чтоб украсть тебя самого
у богатых шуршащих шин
и у нищенского ножа,
чтоб укрыть тебя от причин
выпрямляющимся лежать.
Я боюсь за тебя. Боюсь
не обидел бы кто-нибудь.
Мною выучен наизусть
от пощечин до пули путь.
Слишком косо глядит один.
Слишком прямо идет другой.
Для любителей середин
возмутителен твой покой.
Что могу я? Простором рук
замыкается мастерство.
Звук — границу проводит слух.
Свет — у глаза предел его.
Ум — слабеющий поводырь.
Но беспомощностью клянусь
не случится с тобой беды.
Я молюсь за тебя. Молюсь.

Марина Косталевская

АФОН

Путь на Афон начинается в Салониках, на выщербленной улице Каракасси. Чахлые молодые тополя. "Эфемерикос" — газетный киоск. "Эллиники питта". Красные пиявки серпа и молота на стенах домов — в прошлый раз их не было. К автостанции, спотыкаясь на ухабах, лениво подползают запыленные автобусы. В кофейне напротив греки неустанно читают газеты, громко спорят о политике.

Еще одна осень. Я опять жду автобуса — часы перевели назад — зимнее время, опять пью кофе с ароматной метаксой, опять не понимаю ни слова по-гречески. И перебираю в памяти места, виденные в последние дни.

Шелест эвкалиптов в Милете. И шопот старых богов в чуткой тишине Дельф. Стреноженные лошади, бродящие по праху прошлого, среди колючек и битого мрамора Эфеса. Гастрономическая во́сточная музыка. Крепкий чай внакладку в маленьких стаканчиках. Кафе "Пьер Лоти". Вянущие цинии. Вой истамбульских муэдзинов на киноварном закате: тебя охватывает тревога, ты должен убежать из щербетно-павильонного, пахнущего трупами плена...

Никея — сады, бахчи, кривые электростолбы, пирамидальные тополя. Терновник и ежевика, цепко сплетшиеся над могилой императора Федора Ласкариса... Старая актриса Зоя Александровна Лашкарева, в Столешниковом переулке в Москве, в бывших меблированных комнатах. На диване спит актер-алкоголик "Царь Федор". "Мерси́те вам, — говорит Зоя, выпрастывая тонкие пальцы из рукава шелкового кимоно. — Тише, царь Федор спит... Да, здесь умер Скобелев... Да, мы от Ласкарисов...".

Белобрысые турецкие мальчишки радостно кричат "Хелло!". Под стеной столицы Никейской империи валяется дохлая

коза. Душераздирающе визжит электропила. Долговязая американка осторожно загребает совком старую черную землю — археологические раскопки. Над ее головой, на колокольне Никейской Св. Софии стоит на одной ноге аист. Изникские турки пьют пиво, водка уже неделю как запрещена полицией. Здесь собирались Вселенские соборы, здесь приняли Символ Веры, здесь осудили Ария...

На головокружительной высоте, в Метеоре — монастырь св. Троицы. Фреска: преподобный Сиопис в ужасе всплескивает руками над открытыми им костями Александра Македонского. Чего стоит вся слава мира! Кости Филиппа, отца Александра — в археологическом музее в Салониках. Чего стоят все царства мира! По дороге в Фивы цыгане раскинули свои шатры — там, где Эдип встретил своего отца и убил. Голос американки за моей спиной: "Помнишь, Джон, Эдипов комплекс?! Кто бы подумал, что мы будем здесь, в Фивах!".

Посередине улицы Каракасси в Салониках танцует на одной ноге беззубый дурак.

— Хочешь, угощу коньяком? — спрашивает дурака официант. Тот радостно гогочет. Официант выносит полный бокал метаксы. Греки откладывают газеты. По радио передают репортаж с футбольного матча. Греция выигрывает. Представление начинается.

А я его не увижу — подошел мой автобус. На моем пути будет Арнея — там продают домотканные шерстяные коврики и свитера. Я проеду Стагиру с ржавыми тракторами на базарной площади и статуей Аристотеля, потому что Аристотель, сын Никомаха, был родом из Стагиры. Я проеду Иерисос, где среди жителей — потомки сорока грузинских семейств, переселенных сюда в XII веке для помощи Иверскому монастырю, и где епископом был Игнатий, Московский патриарх при Лжедмитрии Первом — его потом таскали за косицу на Кремлевской площади. Автобус остановится в Уранополисе, у берега моря, у знакомой мне башни-пирга Просфориу. Отсюда наутро я отплыву на Афон.

Быстрые осенние сумерки. Несколько городских улиц — асфальтом залита только главная, да кусочек набережной. Перевернутые рыбачьи лодки. Желтые акации. Сохнущие на шестах

сети. Сувенирные лавки пахнут керосином, как в закавказских городах. Там торгуют женщины в черном, никогда не ступавшие на Афон. Ресторан "Лемониадис и сын". Прилежный немецкий студент Мартин ест сувлаки и греческий салат, отрывается, чтобы снова взглянуть на карту Афона, беззвучно шевелит губами, деля афонские километры на дни, отпущенные ему барышней из министерства по делам Северной Греции в Салониках. За другим столом двое французов, типичные завсегдатаи кафе "Флора" с бульвара Сен-Жермен, пьют "Кава Бутари", морщатся: "Merde!".

Я выхожу на лунный берег. Мигает маяк на острове Амолиани напротив. Сегодня море тихо, зеленая вода прозрачна. Слева в легком тумане темнеют скалы, холмы, леса Афона — тысячелетней монашеской республики, Земного Удела Богородицы. Мир цепко держит меня в своих объятиях, не хочет отпускать. И опять, как жена Лота, я оглядываюсь назад.

Дед с бельгийским тяжелым ружьем сидит в камышах в лодке на русской реке с чухонским названием Хотча, ждет вальдшнепов. Ветер доносит запах цветущей гречи. В избе он смешивается с запахом дедовского табака и легким, горчащим запахом красной герани на окнах. За окнами, далеко под горой, блестит река. Я не могу решить арифметическую задачу. Дед, раздражаясь, говорит: "Дура!". Я окончательно тупею... Панихида по деду в Лефортове, в Солдатской слободе. Все нетерпеливы, то и дело выходят покурить, поговорить. По ногам гуляет сквозняк. В хоре тоненькие сопрано. Кто-то плачет у свечного ящика. К сопрано присоединяется бас. "Со святыми упокой" — такое примиряющее — уходит ввысь, вширь, туда, куда всем нам придет черед уйти...

Московский дворик, Козихинский переулок, весь белый от свежего снега, в птичьих следах. Прозрачная тоска подмосковных весенних сумерек. Сырой, тонкий запах мокрой жимолости, осыпавшаяся на пол желтая пыльца. Красные тюльпаны на столе, а за окном сугробы и, вся в инее, береза...

Плен тяжелой листвы на Пер Лашез, рассыпающиеся монументы над могилами наполеоновских маршалов. Мадридские гитары на Пуэрта дель Соль. Душная, похотливая, сиюминутная, разбойная ньюйоркская ночь. Пустой холодный венский

трамвай, инвалид на заднем сиденьи играет на губной гармошке "Их хатт' камараден"...

Я вспоминаю слова одного из оптинских старцев: "Если твой ум свободен от надежды на вещи видимые — грех в тебе умер". Что такое "грех", как не пленение души памятью, упованием, страстями? И мне страшно уходить — хотя бы на время — из этого Нового Египта, чье сознание погружено в глухую животную жизненность, из этого нагромождения бесконечных отдельностей — в *свет* и *тишину* Афона. Позже, на монастырском огороде, молдаванский монах говорил: "Первый год таксяк, ничего. А потом это приходит, воспоминания, как оно там было, в мире. Не уходят, не отстают — год, другой".

Утром, во время завтрака в пустой гостиничной столовой хозяин подкладывает хлеб: "Ешь, ешь, на Афоне не очень-то накормят". На набережной у пирга Просфориу, башни времен Андроника Палеолога, собираются отъезжающие. Впереди мирян шествуют вальяжные греческие монахи. Жирные церковные мальчики несут епископские чемоданы. Иностранцы ревниво поглядывают друг на друга: как, еще кто-то открыл Афон? — знакомая демократическая жажда быть особенным. Рыбаки бьют о скалы только что выловленных осьминогов. На маленький кораблик, занимая почти всю корму, вползает грузовик. У сходней полицейский собирает паспорта. Опять охватывает тревога — не зря ли покидаешь этот почти удобный, населенный мимолетностями мир.

В Дафни, афонском порту, корабль ожидает толпа. В основном, греки, несколько иностранцев. Они уже прошли таможню (нет ли старых книг, икон) и, небритые, изможденные, будто вырвавшиеся из какого-то неудобьносимого чистилища, жаждут скорее вернуться в мир самодовлеющей, сытой плоти. Что ж, к радости — ко всякой радости — человек должен быть подготовлен подвигом.

Сходящую на берег толпу ощупывают тренированным глазом монах и полицейский — нет ли кинокамер. Женщин — им доступ на Афон возбранен — определяют не по очертаниям, а по запаху. Новоприбывшие тотчас забивают автобус и он, пофыркивая, ползет в гору, в сторону афонской столицы Кареи.

Те, кто не попал на первый рейс, слоняются по набережной,

заходят в лавочки под гнилыми деревянными навесами. Интеллектуалы из кафе "Флора" пьют пиво в единственной харчевне, за покрытым грязной клеенкой, в хлебных крошках и пивных лужицах, столом. Отбиваются от злых, назойливых мух — Merde! Слоняются тощие молодые псы, кобели: домашним животным женского пола доступ на Афон тоже запрещен. В лавочках торгуют ладаном, саванами, консервами, пивом, четками, иконами — на Афоне много иконописцев.

Болгарин с японским фотоаппаратом русских по-немецки, с сильным славянским акцентом, двум австрийцам-художникам из Граца. Ко мне подходит похожий на Хемингуэя англичанин из Зимбабве, просит закурить. Он здесь уже второй раз — навещает друга, постригшегося в монастыре Симонопетра. Он и сам подумывает продать ферму и остаться на Афоне.

На Афоне не только иностранцы, но и приезжие греки — как пассажиры в пути — делаются словоохотливыми, тяготеют к общению, предпочитают ходить от монастыря до монастыря группами. Эта человеческая боязнь остаться одному. "Да ведь и опасно в одиночку, — сказал мне русский парижанин в Пантелеймоновом монастыре, — нога подвернется, змея укусит". Он на Афоне уже не в первый раз. И каждый вечер ходит по кельям — разговаривать. Или едет с оказией на лодке в другой монастырь — разговаривать.

В мой первый приезд на Афон, убоясь одиночества и первобытной природы, я попросился в Карее в товарищи к двум грекам. Мы делали частые привалы, пили афонское вино, рассуждали о Каине и Авеле, о коммунизме, о Папандреу, потом, заблудившись, слышали волчий вой, боялись. И тот монастырь, Филофеу, к наглухо закрытым воротам которого с образом и мерцающей лампадой над ними мы, наконец, пришли, показался мне декорацией к опере "Иван Сусанин" — "Бедный конь в поле пал, я пешком прибежал, отворите!" — и только.

"Сколько часов, дней и ночей провел я в бесконечных разговорах, — пишет в своем эссе "Из садов Пресвятой Богородицы" серб Павле Рак, — когда мы уставали, не замечая, что повторяемся и блуждаем, не замечая времени, которое не стоит, а мчится к завтрашнему похмелью. Сколько бы истинных слов, нуж-

ных и драгоценных, мог я услышать, если б умел больше молчать!".

Никос Казандакис в своей книге "Сообщение для Греко" вспоминает, как он, молодым человеком, шел по афонской дороге со своим другом-поэтом, обычно разговорчивым, даже болтливым: "Нам казалось, что мы были в огромном храме, воздвигнутом из моря, гор, каштановых лесов, чьим куполом служили небеса. Я взглянул на моего друга, мне хотелось прервать начавшее меня тяготить молчание. — Почему бы нам не поговорить? — Мы разговариваем, — ответил мой друг. — Мы разговариваем молча, это язык ангелов!"

"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог" — так открывается Евангелие от Иоанна. Слову, Логосу должно предшествовать Молчание, в котором он укоренен. "Помолимся духом, помолимся и умом", — сказал некий старец из южных Фиваид. А вот слова апостола Павла: "Хочу рещи лучше пять слов умом, нежели тысячу языком".

В самом греческом названии Афона — Athos — соединены два слова — Свет и Молчание. Не зная христианства, древние знали или интуитивно чувствовали тайны космоса и места. Недаром для Аполлона — бога очищения, поэзии, музыки, они выбрали Дельфы — его святилище и Афон — его главное жилище. И в Дельфах и на Афоне, если хоть на минуту перестать слушать себя, со всех сторон обступает особая, незнаемая доселе тишина.

В первой главе от Иоанна: "И свет во тьме светит, и тьма не объяла его... Был Свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир". Неоплатоник Филон Александрийский считал, что "душа в высшей степени светоподобна". Согласно Григорию Паламе, до своего грехопадения Адам был облечен в одежды света и сияния.

Афон, особенно к вечеру, напоен мягким, непохожим ни на какие другие места, светом. Недаром концепция Фаворского Света, Света Преображения, была выдвинута афонским насельником св. Григорием Паламой (1296-1359). Видимый свет доступен глазу, духовный — восприятию умом; с помощью Божественной благодати видят "и чувством и умом то, что превосходит всякое чувство и всякий ум", Свет Фаворский — "первооб-

разную и неизменную красоту". Согласно Григорию Паламе, "Бог есть Дух, обладающий энергиями, совершенствами и действиями, которые, светясь, как лучи, исходящие от одного солнца, вместе с тем различны между собой и также отличны от Духа, от которого исходят".

Великий подвижник XV века Нил Сорский, вышедший из Кирилло-Белозерского монастыря, живший на Афоне и впоследствии основавший обитель среди болот, лесов и дебрей под тусклым небом северной России, писал: "Зрю *свет* посреди келии на одре сидя. Внутрь ся зрю Творца мира, и беседую, и люблю. Где же тогда тело — не вем".

Афон — место молчания и света. И ты это узнаешь, если пойдешь *один* по афонским дорогам, а потом, остановившись перед закатом еще в одном монастыре, встанешь к заутрене, по нашему времени вскоре после полуночи, и найдешь в себе крепость отстоять долгую, до рассвета, монастырскую службу.

80 километров в длину, 11-20 в ширину. Двадцать монастырей и множество скитов, келий, калив разбросано на этом пространстве. Бесчисленные дороги и тропинки. Они круты, каменисты, часто ведут в никуда, в давно оставленную келью, теряются в густых зарослях. Начинаешь плутать, возвращаешься. Докучают назойливые мухи. В три ручья льет пот. Свистнет птица, проверещит цикада, зашуршит ящерица или осыпавшийся камень. Но все эти звуки мгновенно замирают, тонут в особой, нигде дотоле не слышанной, всепоглощающей тишине. Сначала эта тишина пугает. Ведь ты не святой, к которому идут звери, потому что они чувствуют в нем "ту воню", которая исходила от Адама до грехопадения. Ты ведь грешен, потлив, пуглив. Слышишь фырканье в кустах. Вепрь? Волк? Ищешь палку в глупой надежде отогнать зверя. Идешь, стучишь палкой по камням, чтобы звери услышали, тоже испугались, не подошли. Но этот страх скоро проходит, чтобы потом, после общения с людьми, вернуться опять. А пока, в долгой дороге, воздух, свет, тишина Афона незаметно, ненасильственно входят в тебя, жгут в твоей душе закоснелое, суетное, случайное.

"От Господа стопы человеку исправляются", — говорит царь Давид. И вдруг вспоминаешь, что ведь Афон — земной удел Божьей Матери, ее владение и сад. А раз так — тебе здесь

ничто не угрожает, кроме самого себя. По преданию, Божья Матерь, вышедшая на Афонский берег, была так покорена его красотой, что попросила Сына дать ей Афон в земное владение. Сын ответил: "Да будет это место Твоим владением, и садом, и местом спасения для тех, кто хочет быть спасен".

Как-то на афонской дороге я припомнил лесхоз в глухом углу Владимирской области, горбатенького старовера-федосеевца Арсения, умевшего находить дорогу по звездам, Каменку, деревню без электричества, бесконечные грибные леса вокруг. Он позвал меня в свою избу, зажег свечу перед древней иконой. Старец в козьей шкуре, изможденный, с белой бородой до голых коричневых колен, держал палец у губ. "Благое Молчание", — сказал Арсений. — Древлее благословение Святой Горы. Только ныне там делать нечего. Богородица охраняла Афон до Никона-еретика, а теперь от него отказалась, зане там живут люди-еретицы".

Арсений был неправ. Всякие люди живут и приходят на Афон, и ты сам приходишь со всяким. Но если у тебя есть потребность хоть ненадолго побыть в мире с самим собой, нет для этого лучшего места на земле, чем Святая Гора Афон. И Божья Матерь не оставила это место своим попечением.

На Афоне хорошо плакать. И когда много плачешь на афонских дорогах, они становятся легки. Ведь слезы очищают мрак ума. Старец Клеопа, ученик Паисия Величковского, сам живший на Афоне, говорил: "Одну мысль надо иметь, что на земле я только один да Бог. Никого больше не воображать. А с кем тогда ссориться, когда я один на земле?" Афонские слезы — не слезы обиды, гнева, уныния, а слезы благодарности.

К вечеру из-за гряды бесконечных холмов выступает в голубизне сиреневая гора Афон. Там пустынники бегают людей, живут в пещерах над кручами, утоляют жажду дождевой водой, питаются сухариками. А тебе здесь, внизу, становится прохладно и голодно. На невысоком деревце с глянцевитыми листьями — оранжевый плод. "Нерамжа — овощь горы Афонской, подобна она яблоку, а вкусом вельми кисла".

"Человек не должен оставаться таким, каков он непосредственно, — утверждал "старик" Гегель. — Он должен выйти за пределы своей непосредственности — это и есть *понятие духа*".



Там, где Богородица вступила на Афон



Св. Георгий Фанурьский. Икона из Зографского монастыря

А тебе пока трудно выйти из своей непосредственности, ты опять боишься этой афонской тишины, боишься забыться в ней, потонуть, не всплыть.

Никос Казандакис в своем "Сообщении для Греко" рассказывает о посещении афонского пещерника. "Знаешь, когда Люцифер был низвергнут с небес? — спросил отшельник. — Когда, обратившись к Богу, он сказал *Я*. И человек, только когда он осознал себя, свою самость, только тогда он разлучился с Богом. В начале все было в Боге. Не было — Ты, Я, Он, Мое, Твое. Душа это помнит, в это она мечтает вернуться... Благословенна смерть! Как ты думаешь, что такое смерть? Смерть — это мул, мы садимся на него и уезжаем".

Казандакис заключает: "Я карабкался по скалам в пещеру, желая вручить мою судьбу этому аскету. Но понял, что поспешил. Жизнь не хотела улетучиваться. Я все еще любил видимый мир, Люцифер во мне не хотел уступать Богу. Позже, сказал я себе, позже, когда я постарею и больше ни на что не буду способен, тогда и Люцифер мало на что будет способен во мне".

— Скорее возвращайся сюда, а то будет поздно! — сказали послушник Андрей и о. Панарет из болгарского монастыря Зограф, прощаясь со мной на каменном мосту через сухой ручей, за которым, поднимаясь круто в гору, начиналась дорога на Хиландар. "Позже", — ответил я про себя. Люцифер еще не ослабел во мне, и я опять шел, и боялся, и надеялся, потому что это трудно, так взять и "преложить ум с земли на небеса".

На полпути к Хиландару, на небольшом плато с там и сям разбросанными среди вечнозеленых кустарников кудрявыми, прямо-таки райского вида соснами, я услышал человеческий голос. Пение. В стороне от тропинки под сосенкой сидел молодой грек с Библией в руках и распевал, очевидно, псалмы. Лицо круглое, голубые глаза, русая курчавая бородка. Он улыбнулся и, показав на райские кущи дерев, сказав: "Ясу! Кало!". Я присел, мы попробовали поговорить. Ничего из этого не вышло. Я не знал греческого, а он русского или английского. Уяснив, наконец, что я русский, хотя и из Америки, парень, помолчав, вдруг сказал: "Родион Раскольников! Мишкин! Настасья Филипповна!". Я взглянул на него и мне показалось, что этот голубоглазый русо-

бородый грек, студент-дровокол, подрабатывающий на жизнь в афонской "wilderness", похож на князя Мышкина.

Он опять пригласил меня жестом насладиться окрестным пейзажем: "Кало! Орео!". А потом сказал: "Старец Силуян (он так и сказал русское слово "старец") — кало, мегалос (великий)". И, помолчав, будто думая, кому отдать предпочтение: "Старец Серафим — мегалитос!". И я удивился, как старец Серафим Саровский из далеких мордовских лесов нашел путь к сердцу этого молодого грека, как и к сердцу греческих монахов в древнем монастыре Кутлумусиу, у ворот которого, возвращаясь в Карею, я сложил свою сумку, чтобы напиться воды.

Вышел монах-гостиничник и пригласил на традиционное афонское угощение — рюмку ракии, чашечку крепкого кофе, рахат-лукум и стакан студеной воды. Мы опять ничего не могли сказать друг другу, кроме "кало!". Я поднял глаза и увидел на стене большую потускневшую олеографию — житие преподобного Серафима. Лицо гостиничника озарилось ярчайшей улыбкой и он сказал: "Старец Серафим — кало!". А мне захотелось заплакать, да я и проронил слезу. Далеко не в каждом афонском монастыре к путнику выходят за ворота, а там, где выходят, обязательно найдешь образ великого старца Серафима, того, который в пасмурный серенький день в глухом, запорошенном первым снегом саровском лесу, сидя на корточках против помещика Мотовилова, открывал ему цель христианской жизни. И, как оказалось, — не только ему.

Часто, о том не подозревая, мы носим в себе память прошлых поколений и тысячелетней истории той страны, где мы родились. Я пришел в болгарский монастырь Зограф к вечеру. Я был здесь во второй раз и, как и в первый, огромный монастырь выглядел пустым, необитаемым. Полунемой-полуюродивый служка-грек указал, куда сложить сумку. Стены монастырской гостиницы были выкрашены в голубое — на Востоке, в Турции, в Палестине в этот цвет красят дома, чтобы предохранить от сатаны, от дурного глаза. Я вышел за ворота и долго сидел на каменной скамье под старым буком.

Позвякивали бубенчики невидимых мулов. Ущелье быстро темнело, холодели краски уже тронутых желтизной лесов и только верхушки гор и церковь св. Георгия напротив, на скале,

были еще освещены теплым осенним солнцем. За спиной я услышал голос:

— Кругом Антихрист! — Я обернулся.

Высоко, на монастырском балконе стоял монах.

— Что ж ты, господине, не идешь к вечерне? — прокричал он мне со своей высоты.

— Не видел нигде ни души, — ответил я ему по-русски.

— Душ немного, и все в церкви. — Даже снизу я разглядел, какие у него большие, темные, испуганные глаза. — Царство сатаны кругом! Антихрист!

И мне почудилось, что устами этого схимника говорит богомил, древний болгарин XI века, веривший, что земля была сотворена сатаной, который в ту пору был правой рукой Бога. Отец Арсений и болгарские монахи, вероятно, ничего не знали о богомильстве, но в суровости, замкнутости, нерадостности их монастыря было что-то, что заставило меня вспомнить о богомилах, признававших одинаковую силу за добром и злом.

В огромном новом соборе было прохладнее, чем снаружи. Пели и служили по-славянски, так, как во всех славянских монастырях. Только распев был другой, непохожий на русский. По обеим сторонам от царских врат, в особых киотах-проскинетариях — две чудотворные иконы Георгия Победоносца. С одной из них связано и название монастыря: Зограф — Изограф — Живописец.

В X веке три брата-монаха из Охрида, основавшие монастырь, никак не могли решить, кому его посвятить. Тогда они положились на Божью волю и оставили в алтаре чистую доску. После многих часов молитвенного бдения, взглянув на доску, они увидели лик св. Георгия. Так монастырь был посвящен Георгию Победоносцу и назван Зографом. А в то же самое время в Лиде, в местном палестинском монастыре св. Георгий явился к настоятелю и сказал, что его чудотворная икона уходит на Север.

Некий маловер-епископ пожелал проверить, нет ли на иконе свежей краски, и тронул ее пальцем. Он не смог отнять своего пальца, пришлось палец отрубать. Под левым глазом иконы хорошо заметен след епископского пальца.

Вторую икону св. Георгия утром после грозы увидели в мо-

ре ватопедские монахи. Спустили лодки, долго и безуспешно пытались ее выловить, икона, будто нарочно, не давалась в руки. Вместе с другими любопытными к берегу подошли монахи из Зографа. И тогда икона сама подплыла к ним. Начался спор ватопедцев с зографцами, кому принадлежит икона. Спор разрешил старец-грузин из Иверского монастыря. Он предложил навьючить икону на молодого мула, не знавшего афонских троп, с тем, что икона будет принадлежать тому монастырю, к чьим воротам мул подойдет. Через три дня мула нашли мертвым у ворот Зографа.

Афон полон рассказами о чудесах. И тут я еще раз не откажу себе в удовольствии процитировать Гегеля: "Чудеса вообще суть следствие власти духа над природной связью, вторжение в ход и вечные законы природы. Однако, таким чудом, таким абсолютным вторжением является дух вообще... Страх может повлечь за собой смерть, горе — болезнь, и точно также во все времена бесконечная вера и доверие делали калеку ходящим, глухого — слышащим. В основе современного неверия во власть духа над природой лежит суеверие, *ложная вера в так называемую силу природы*".

В сербском Хиландарском монастыре нет игумена, но — проигумен. Игуменья Хиландара — Божья Матерь Троеручица, чья икона стоит на епископской кафедре. Эту икону св. Савва Сербский получил как благословение в монастыре Саввы Освященного в Палестине. Во времена иконоборчества в Сербии монахи, желая спасти икону от уничтожения, положили на осла и отправили осла гулять по воле Божьей. После долгих скитаний осел встал у ворот Хиландара. Вышедшие монахи с благоговением приняли образ и поставили в алтаре. Но наутро икона оказалась на епископской кафедре. Икону несколько раз относили обратно в алтарь, но на другой день она опять оказывалась на епископской кафедре. С тех пор ее там и оставили, и Божья Матерь Троеручица стала Хиландарской Игуменьей.

В гостеприимном хиландарском фондарике с портретами Кара-Георгия, сербских королей, русских генералов и императоров, ко мне с распростертыми объятиями подходят сербы, журналисты Александр и Мичо.

— Я был прав! Это Юрий! — радуется Александр. — Я говорю Мичо: Смотри, вон идет Юрий. Он не верил!

Мы познакомились здесь, в Хиландаре, не виделись два года и точно в тот же день и час пришли в монастырь. Так что Хиландарская Игуменья еще и соединительница людей.

Мне приятно, что Александр рад нашей встрече. В прошлый раз он был насторожен и подозрителен.

— Ты все еще думаешь, что я советский агент? — спрашиваю я Александра.

Он смеется: — Нет, что ты!

— А я никогда не думал, — говорит Мичо.

Мичо и Александр не так, чтобы очень верующие. В прошлый раз они собирались написать книгу или статью об Афоне, но так и не собрались. Для них Хиландар, прежде всего, — сокровищница сербской культуры. Но Афон притянул их, и теперь они бывают тут каждый год, а то и чаще. Чтобы "очиститься" — как говорит Мичо.

— У вас новый премьер, Рыжков, — сообщает Александр. На Афоне странно это слышать — Рыжков? Тито? Угон самолетов? Захват заложников? Из какой-то ненастоящей, потонувшей жизни.

Два года назад, идя из Хиландара, мы расстались на каменном мосту, за которым на холме стоял болгарский монастырь Зограф.

— Ну, теперь иди к своим друзьям-болгарам, — полушутя-полусерьезно сказал мне Александр. — Да здравствует советско-болгарская дружба!

Болгары действительно оказались друзьями и братьями - во Христе. Если бы Александр тогда знал, как одиноко живется им, лишенным связи с родиной, в своем монастыре, где нет ни школы террористов, ни пресловутых болгарских зонтиков, а обитает несколько чающих Второго Пришествия старых монахов. Каждый день утром они посылают на пристань к пароходу молодого послушника Андрея — нет ли писем с родины. Письма им пишут старые женщины, которым уже нечего бояться, на плохой серой бумаге. И вести в письмах всегда печальные. В Болгарии

церковь преследуется даже строже, чем в Советском Союзе, запрещено крестить, отпевать.

А в Хиландаре в этот раз я не застал ласкового старика, проигумена о. Никанора: он поехал в Белград получать обратно принадлежавшие Хиландару в Сербии земли. И стены монастырского фондарика в Хиландаре дрожат от гула молодых голосов — только что закончился праздник Лозы, студенты приехали из Сербии помочь убирать монастырский виноград.

За стеной древнего собора, прямо из гробницы св. Симеона Милостивого, в миру сербского князя Стефана I Немани, растет 700 летняя лоза, Лоза Неманичей. Ее виноград излечивает женщин от бесплодия. В прошлом месяце в Хиландаре побывали благодарные сыновья этой Лозы, обязанные ей своим появлением на свет. Хиландар рассылает виноград от Лозы Неманичей во все концы света, тем, кто верит в ее чудодейственную силу.

Стефан I Неманя и его сын Растко — основатели Хиландара. Первым на Афон, переодевшись простолюдином, явился наследник престола Растко и принял постриг в русском монастырьке Ксилургу с именем Саввы. Посланцам отца, звавшим его вернуться в мир, он сбросил с башни свои княжеские одежды. Вскоре в сербском монастыре Студеница постригся и его отец, Стефан I, отрекшись от престола в пользу младшего сына. Позже Савва вернулся в Сербию, а Симеон остался на Афоне и умер в Хиландаре, пожалованном в вечный дар сербам византийским императором.

Елена, жена Стефана IV Душана, величавшего себя "царем и императором сербов и греков" (Афон тогда был частью его владений) была единственной женщиной, чья нога за последнюю тысячу лет ступала на землю Афона. В 1347 г. в Сербии свирепствовала чума и царь Душан с царицей Еленой спаслись от нее на Афоне.

Я иду с Александром и Мичо по пыльной дороге, усаженной по обеим сторонам кипарисами и оливками, мимо древней башни Милутина, мимо часовни XV века, к винограднику.

Студенты не все собрали, там и сям висят черные, пыльные, горячие, сладкие гроздья. Наевшись, мы сидим за столом под старым платаном у сторожки и жалеем, что нет молодого вина, потому что в таком месте оно было бы в самый раз. Журчит

проточная вода. В воздухе — послеполуденная истома. Мичо вспоминает отцовский виноградник и ладное крестьянское хозяйство в деревне своего детства, Александр — кооперативную квартиру в Новом Белграде, а я — Гелати, Зедазени, Шио-Мгвме, грузинские пиры под такими же старыми платанами. Потом Александр и Мичо идут на пляж у стен маленького монастыря-крепости св. Василия, а я сижу под старым платаном и вижу стол в солнечных пятнах, золотистых цыплят — табака, тяжелые кисти дамских пальчиков, свисающие над столом, молодящуюся хозяйку-блондинку и ее ухоженного, пахнущего хорошими духами мужа — моих старших друзей из Гори.

Теперь они уже умерли, у них не было детей, и куда девался их маленький уютный мир — горка с мейсенским фарфором в столовой, позолоченные часы с пастухом и пастушкой, дорогие меха в шкафу, "Купальщица" с розовыми бедрами над текинским ковром в спальне? Ее косметический кабинет, где она помогала носатым грузинкам выглядеть красивее? Его кадетские воспоминания?.. Их фотографии на пляже — в Ницце, в Крыму, в Сочи? Я почему-то чувствую себя виноватым перед ними, особенно теперь, когда они умерли: их мир был мне никогда не интересен. По рождению и воспитанию они были западные люди, привязанные, как Александр и Мичо, к земному граду, к земным благам.

В голове у меня вертится цитата, не помню, откуда: "Русский человек привязан к суетности и бренности земли не своими добродетелями, а своими грехами. Западный человек дорожит социальным положением, своей собственностью и жизненными удобствами не в силу своих слабостей и пороков, а в силу своих социальных добродетелей". Увы, я всегда мало верил в социальные добродетели.

К вечеру мы возвращаемся в Хиландар той же дорогой. Стало как-будто еще тише. Верхушки кипарисов освещены солнцем, а по земле и кустам уже расползся ранний осенний сыроватый сумрак. Потемнели серебристые на солнце ветви оливков, потухла огненная листва тронутых желтизной кустов, посерел лиловый вереск. В бледноголубом небе — белый, как пар, полный диск луны.

Александр и Мичо опять говорят о политике, спорят о лите-

ратуре. У часовни сидят два немца, молодой и постарше. Мы здороваемся, заговариваем. Молодой, Михель, только что кончил школу и не знает, что с собой делать. Дито, порядком состарившийся хиппи, после скольких-то лет в Гималаях, только что побывал на родине, в Германии, и теперь возвращается в Индию, пригласив с собой Михеля.

— Я всегда хотел побывать на Афоне, — говорит Дито. — Какой интересный вариант буддизма!

— Хотите посмотреть, как здесь хоронят? — спрашивает Александр. Он открывает дверь часовни, пропуская немцев вперед. На полках лежат в ряд черепа. На желтых лбах некоторых из них можно разобрать написанное славянским полууставом имя. В углу — сложенные поленницей кости.

После минутного шока к Дито, хиппи, возвращается дар речи. — Теперь я понимаю, почему никогда не буду православным! — восклицает он. Конечность живых натур, как говорил наш Гегель, состоит в том, что у них тело и душа отделимы друг от друга. Но зачем об этом беспрестанно напоминать?

Выйдя на воздух, Дито облегченно вздыхает.

— Я родился и умру лютеранином, — говорит старый хиппи, ищущий премудрости в Гималаях.

Довольный собой, Александр улыбается за спинами спешащих к монастырю немцев. А я думаю о мудрой афонской философии жизни и смерти. На Афоне хоронят в землю без гроба, через три года тело отрывают и смотрят: если остались одни кости, значит, покойный был праведной жизни. Кости омывают в воде, разбавленной вином и медом, и относят в общую гробницу-часовню. У болгар для такой часовни есть славянское слово — "костница". Если же тело за три года не успело истлеть, его снова зарывают на год-два. За такого покойника полагается всеобщий канон, потому что земля не хочет его принимать.

..."Схимонах о. Афанасий был на послушании на метохе (монастырское подсобное хозяйство). Раз стоял ночью на молитве, вдруг видит подле себя сатану в виде ангела. Он его ударил четками, тогда сатана о. Афанасия заушил. И о. Афанасий оставался глух до кончины. Косточки его откопаны чистые и желтые".

..."Схимонах о. Тимофей двенадцать лет хранил молчание.

Келья его была наверху, над отхожими местами, и полна клопов. У него не был постели, вместо постели — кресло, а под головой держал Псалтырь. Бывало, приду, скажу: — Отец Тимофей, благослови обмести стены от клопов. А он мне в ответ: — Нет, отче, клопы мне полезны. У меня пухнут ноги, а они вытягивают из них дурную кровь.

Откопаны косточки его желтые, как воск. И у меня была его кость в сундуке и как я, бывало, открою сундук, так и пойдет благоухание".

..."Отец Синесий говорил: — Всех надо любить и за всех молиться. И прибавлял: — Кто не имеет самоукорения, не может достигнуть до совершенства. Косточки его откопаны желтые и благоуханные".

Во главе обеденного стола вместо о. Никанора сидит о. Хризостом, аскетичный на вид, но вполне светский человек. На длинных столах в супниках — вкуснейший фасолевый суп, на больших плоских блюдах — тушеные перцы с картошкой. Расставлены граненые графины с красным монастырским вином. Крупными ломтями нарезан собственный, трехдневной выпечки, хлеб.

Обед начинается молитвой и в молчании. Но уже после первого стакана вина молодые сербы не выдерживают, заводят разговоры. Становится шумновато. О. Хризостом несколько раз встает, обводя залу укоризненным взором. Гул смолкает, чтобы возобновиться через минуту-другую. В конце-концов о. Хризостому надоедает, он и сам увлечен разговором с сидящим по его правую руку именитым гостем.

Напротив меня за столом — миниатюрные молодые европейцы, блондин и брюнет. Они ничего не едят, в нетерпении ерзают на стульях, отпускают по-французски остроумные замечания в адрес окружающей их сербской деревенщины. От них исходят суматошные, суетливые, свербящие волны.

— What is wrong? — спрашиваю я брюнета, очевидно, раздраженно.

— Ах, ничего... — он делает маленькой ручкой изящное движение в воздухе. — Мы просто сыты...

— И к тому же через день будем в Софии на приеме у Тодора Живкова, — добавляет, не без вызова, блондин. — Там по-



Стена Хиландарского монастыря



Хиландар. Божья Матерь Троеручица.

дают исключительно шампанское и черную икру.

Я вспомнил холодные, голубые, в разводах сырости, стены Зографа и о. Поликарпа, аккуратно собирающего крошки хлеба с некрашеного стола.

Зачем вы приехали на Афон? — спрашиваю я.

— Духовные поиски, — живо откликается брюнет. Из-за стекол очков в модной оправе на меня смотрят картезианские глаза-маслины. — Поиски. Никогда не знаешь, где можно найти друзей. Еще один шанс. Все так избито, неинтересно...

Ночью я просыпаюсь от доносящегося из монастырского двора сухого треска. Он то приближается, то удаляется. Это, обходя двор, дежурный монах колотит в семантрон — деревянное било, созывая к заутрене. Пора вставать. Я умываюсь из серебряного кувшина. В окно светит холодная, полная луна. Я нахожу в темноте дверь, выхожу на лестницу, средневековыми переходами спускаюсь вниз, ощупывая ногой ступеньки. Через весь монастырский двор легли две огромные тени пятисотлетних кипарисов. В окнах собора слабо мерцают лампады.

Опершись локтями о высокие подлокотники стасидия — кресла с маленьким, в треть обычного сидением, я стою в темном соборе подле гробницы Симеона Милостивого. На меня глядит лик Божьей Матери Троеручицы — Хиландарской Игуменьи. Рядом, в другом стасидии, вздыхает кто-то невидимый. Красноватым, зеленым, голубым светом мерцают лампады. На правом клиросе, у аналоя, освещенного свечой под низким абажуром, монах читает шестипсалмие.

Полунощница. Часы. Утренняя литургия. "Блюди, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будешь. Блюди, убо, душе моя, да не воздремлеши". Вначале я слежу за службой, но потом ослабеваю, отвлекаюсь, начинаю думать о своем, дремать... Ночь. Я иду по средневековому восточному иерусалимскому базару с матерью Февронией из Касимова и матерью Натальей из Москвы. В церкви Гроба Господня только что кончилась служба. Монашки пели знакомые распевы, совсем как в подмосковном Середникове, а я, сидя в темноте на лавке поотдаль за колонной — плакал и благодарил. Иерусалимский базар пахнет сыростью, зеленью, гнилыми овощами, специями, кошками.

— Вот ведь какую тебе Господь свободу дает! — говорит, налегая на "о", мать Феврония.

"Величит душе Моя Господа и возрадовася дух Мой о Бозе, Спасе Моем". Очнувшись, я вижу перед собой темные глаза Хиландарской Игуменьи. "Яко призре на смирение рабы Своея, се бо отныне ублажат Мя вси роды". Мне становится неловко за мое давешнее раздражение за обедом. Ведь в том, что миниатюрные европейские плейбои поехали на Афон есть высшая цель, которой они, со всей их суетностью, возможно, и сами не осознают.

Продолжается бесконечная монастырская служба. Но усталость и дремота проходят. Светает. В теле и голове — радостная ясность, житейское попечение на время отлетело. Я поворачиваю голову и вижу стоящих в соседних стасидиях Александра и Мичо, Дито и Михеля, маленьких европейских плейбоев. Монах на правом клиросе читает покаянный канон: "Божьим светом Твоим, Блаже, утренюющие души, от мрака греховного взывающие, любовию озари".

На подходе к Вознесенскому монастырю Эсфигмену пахнет навозом, свежим хлебом, укропом и петрушкой с монастырского огорода. У святых ворот болтают, греясь на неярком солнце, два монаха. Приветствуют:

— Христос Анестис!

Так на Афоне встречают круглый год, а не только на Пасху. Может быть, потому, что дело жизни афонцев, грешных и праведных, — совлечение с себя ветхого человека ради светлых риз Нового Адама, ради Нового Неба и Новой Земли, путь к которым указал распятый на кресте и тридневне воскресший Христос.

Я прохожу залитый солнцем монастырский двор с развешанным на веревках бельем. Темные, прохладные, пахнущие свежим цементом водяные ворота. Выхожу на пристань. Под монастырской стеной на берегу сидит старик-грек, чистит рыбу. Я присаживаюсь рядом с ним, показываю на часовню над обрывом, на верху врезающейся вглубь бухты горы:

— Антоний?

— Ты — русский? — по-русски спрашивает старик и перестает чистить рыбу. Он блаженно зажмуривает глаза: — Одесса, Балаклава... Его зовут Парфений, он родился в Крыму. Уже на-

чинает забывать русский язык. Давно это было, он уехал из Крыма мальчиком. — Балаклава! — Старик открывает глаза. Машет рукой в сторону часовни: — Преподобный Антоний... Ты туда не ходи, высоко!

Он пододвигает ко мне алюминиевую гнутую миску с плавающими в ней красными кусками вареного спрута. Достает из-под лавки, на которой сидит, литровую бутылку почти молочного цвета ракии и разливает — себе и мне — в неведомо откуда взявшиеся граненые русские стаканчики.

— За Россию! — Выпив, он обтирает рукавом толстые губы, опять жмурится: — Одесса, Балаклава, Антоний...

Я смотрю на часовню на краю обрыва и думаю о том, какими многими узами связана Россия с Афоном. Вчера, в Хилендаре, я видел покров, вышитый царицей Анастасией Романовой в 1556 г., за год до ее смерти, и присланный на Афон Иваном Грозным или царем Федором Иоанновичем. Во времена царя Алексея Михайловича монахам из Эфсигмена было разрешено каждые пять лет собирать милостыню по московским градам и весям. Из соседнего Ватопедского монастыря уехал в Россию в 1517 г. чтобы стать невольным участником русских тяжеб знаменитый Максим Грек. И здесь, в Эфсигмене, в X веке постригся в монахи молодой Антипа из Любеча. Отсюда, взяв благословение Святой Афонской Горы и эфсигменского игумена Феоктиста молодой монах Антоний отправился в Киев, чтобы основать Киево-Печерскую Лавру. Позже, во времена княжеских междоусобиц, он опять возвращался сюда и жил там, где теперь стоит эта, обращенная к северу, часовня.

О чем он думал, глядя на север, где, за морями и горами, была его родина? Я поймал себя на том, что напеваю старинную песню "Вечерний звон". Певшие ее горьковские и чеховские студенты, наверное, не подозревали, что она пришла с Афона, сочиненная другим странником, другого века, монахом-грузином Иверского монастыря Иоаннэ Мтацминдели. Какой-то ученый немец перевел ее с грузинского и уже из этого немецкого перевода поэт-слепец Иван Козлов сделал свой знаменитый "Вечерний звон".

Мне надо спешить, чтобы до захода солнца добраться до Ватопедского монастыря. Путь далекий, несколько часов ходь-

бы. За воротами меня останавливают давеча виденные монахи:

— Выпей из источника св. Григория.

Я пью холодную, вкусную воду и поднимаю голову, чтобы еще раз увидеть окно кельи Григория Паламы, здешнего игумена, а потом архиепископа Фессалоникийского. Там он сидел, повторяя Иисусову молитву, опершись подбородком на грудь и сосредоточив взгляд на середине живота. Там он увидел Фаворский Свет.

Я опять иду один по взлетающей вверх дороге, прыгаю с камня на камень, стараюсь не заблудиться, сижу под знакомой старой шумливой сосной, слушаю прерывистый стрекот цикад, шорох и фырканье в полуобгоревших в недавнем пожаре кустах. И все меньше боюсь одиночества на Афоне — да и в целом мире.

Ватопед, и сам как город, стоит на месте античного города Диона. Окруженный массивными стенами монастырь, а вокруг — россыпь домов, служб, часовен, складов. Брусчатка ведущих к пристани дорог. Ровные аллеи старых деревьев.

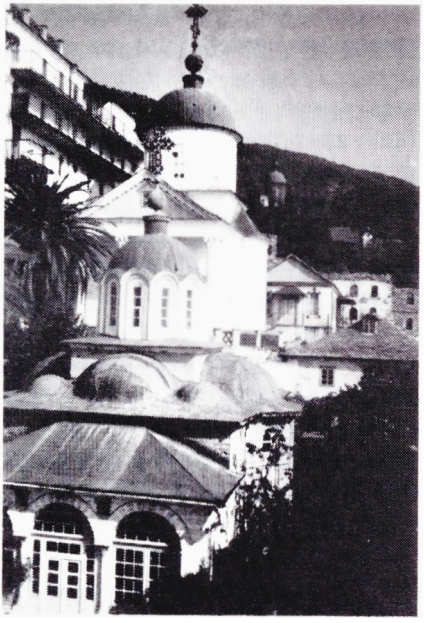
Молодой монах-вратарь, скучая, смотрится в свое отражение в маленьком пруду.

— Фондарик направо за воротами, вверх по лестнице, ужин в семь, — говорит он мне по-английски.

Я оставляю свою сумку в безлюдной, холодной зале фондарика и возвращаюсь посидеть за ворота. От пристани к монастырю неспешно плетутся старые и молодые греки-миряне, монастырские работники, "детеныши", как их звали в старину в русских монастырях. Вратарь, отец Евстратий, вздыхает:

— Живу здесь год, а мечтаю об Нью-Йорке. Не могу забыть! Он оказывается моим соседом, работавшим в греческом кофе-шопе "Донат Плейс" на 14-ой улице. Я туда часто захожу выпить кофе. У отца Евстратия нет разрешения на работу в Америке и нет образования. Он обошел все афонские монастыри и остановил свой выбор на Ватопеде. Устав здесь идиоритмический, особножительный, он устраивает отца Евстратия больше киновийного, общежительного.

К монастырским воротам подходят двое американцев. С удовольствием пользуясь своим английским, отец Евстратий



Пантелеймонов монастырь



Монастырь Ксенофонт

отсылает их в фондарик. Последний "детеныш", ковыляя, втягивается в темноту святых ворот. Садится солнце. Пора закрывать.

Нью-Йорк! — вздыхает отец Евстратий, замыкая огромной деревянной щеколдой средневековые ворота.

Ватопед славится на Афоне своим гостеприимством, его называют здесь "маленьким Парижем". Но сегодня с ужином почему-то не спешат. Грек-повар, в прошлом — кук на нефтеналивных судах Аристотеля Онасиса, утешает меня и американцев, отца и сына, крепчайшим кофе. Отец сидит рядом со мной на скамье на балконе ватопедского фондарика, а сын, Эндрью, похожий на героев Гордона Меррика, — на цементном полу. Американцы устраивают мне подробный, но вежливый допрос, немногословно говорят о себе. Отец — епископальный министр в отставке и писатель. Сын — скульптор. Узнав, что я хочу писать об Афоне, экс-министр, не без ревности, замечает: — И я тоже. Они оба голубоглазые, сдержанные. Мне показалось, что между ними пролегло что-то, какая-то драма, и теперь сын, взяв с собой отца на Афон, хотел сделать ему что-то приятное, помочь забыть какое-то общее прошлое.

Я рассказываю им об истории Ватопеда, о переводчике Максиме Греке, о Галле Плацидии, римской императрице, которая по пути в Константинополь остановилась здесь в IV веке и на пороге собора услышала голос Божьей Матери, сказавшей ей: "Остановись, жена, зачем ты пришла сюда смущать покой моих избранных".

— Так вот почему на Афон не пускают женщин! — откликается Эндрью.

— Но ведь это было так давно! Я видел в Равенне гробницу Галлы Плацидии. Она глубоко ушла в землю. Великолепные мозаики! Но это было так давно!

Поздно вечером мы сидим на другом балконе, над морем. Отсюда море кажется выпуклым, как на миниатюре из старинной Космографии. Над морем повисли мириады никогда прежде не виденных звезд. Где-то внизу позвякивают бубенчиками мулы. Наверное, на таком же балконе сидел в XV веке с ватопедскими монахами ренессансный итальянец, вспоминавший, как "эти наследники Пифагора и Платона" смотрели вместе с ним на

звезды, "поучаясь ненарушимой стройности их движения".

— Скажи, пожалуйста, твоей подруге не было обидно, что ты можешь поехать на Афон, а она нет? — спрашивает Эндрью молодого грека-туриста. Грек хрустит оберткой, доставая печенье, чтобы угостить Эндрью.

— Ей и в голову не пришло, — отвечает он. — Греческие женщины знают, что Афон только для мужчин. Традиция.

— Ну, не все традиции хороши, — говорит Эндрью.

Я узнаю знакомую американскую жажду равноправия и демократии. Увы, мои милые американцы, триста лет тому назад Старый Свет уже давным-давно был старым и недемократичным. И во многом таким и остался.

Утром мы ждем на пристани кораблик из Иерисоса. Ветер гонит по ясному небу мелкие, низко летящие облака. Подоткнув рясу, молодой монах с сигаретой в зубах взвешивает лес, который "детеныши" затем грузят на большую красную шлюпку. Экс-министр, сидя на вывороченной бурей каряге, пишет путевые заметки. Он выстоял службу до самого утра, но не выглядит усталым. Только покраснели веки вокруг голубых, спокойных глаз. Эндрью, проспавший всю ночь, но выглядящий очень усталым, бродит по берегу. Найдя плоскую гальку, он запускает ее плашмя вдоль волн. А я отыскиваю сердолики и халцедончики в россыпи камней на берегу, похожем на коктебельский, и считаю, сколько раз галька Эндрью подпрыгнет на волнах, прежде чем сгинуть в пучине.

Под ослепительным солнцем во всю штормит. Далеко впереди, в голубоватой дымке, будто на воздухе, висит Святая Гора Афон. Кораблик то взмывает высоко вверх из темносиних волн и пены, то падает в глубокую водяную пропасть. Держась за поручни, Эндрью стоит на носу, подставив лицо солнцу и морским брызгам. Его куртка и джинсы насквозь мокры.

— Он у вас простудится, — говорю я экс-министру.

Высоколобый отец улыбается:

— Ничего, это ему полезно. Один из ваших святых отцов сказал: "Душа, сознавая свою свободу, знает, что может употребить свое тело во зло и во благо"... Знаете, я так благодарен Эндрью, что он взял меня с собой на Афон. It is a really new insight! Мне бы хотелось увидеть здесь всё!

Мимо проплывает высокий афонский берег — скалы в дымке и пене, а за ними леса, дороги, скиты, монастыри.

Глухой лес. Ксилургу, монастырь древодельцев, а теперь скит. Я долго стучу, уже отчаиваюсь. За высокими воротами заливается отчаянным молодым лаем пес. Мне открывает огромный, белый как лунь старик, отец Евфимий.

— Добро пожаловать, господине!

На застекленной террасе с давно немытыми стеклами покоробившиеся от сырости портреты царей — Фердинанда, Бориса, Николая II, олеографии "Гибель Варяга", "Винокур". Кровать, накрытая цветастым крестьянским одеялом с болгарским ковриком над ней. О. Евфимий угощает меня собственной выделки вином. У него большие крестьянские руки, ему много лет и он сильно глух.

— Руки меня всю жизнь кормили, господине, а теперь не могу работать, как прежде, ослаб.

Я даю ему драхмы.

— Сколько хлеба можно на это купить, господине! — радуется о. Евфимий. Он достает из большой старинной книги чистый бланк благодарственного письма: "Боголюбивейший Благодетель! Честь имеем сообщить Вам, что св. жертва Ваша ... руб. получена нами при письме Вашем... Остаемся навсегда Ваши смиренные молитвенники. Настоятель Успенско-Богородичного Общежительного скита. Св. Гора Афон. 189. год".

О. Евфимий и пес, коричневый в яблоках, истекающий слюной сеттер, провожают меня до ворот.

— Будете в Пантелеймоне, скажите, чтобы кого-нибудь прислали в помощь. Стало трудно одному. Руки меня прежде кормили, господине, а теперь стал стар, не могу...

Царская, широкая русская дорога, ведущая в Ильинский, основанный старцем Паисием Величковским, скит. О. Серафим выносит на подносе рахат-лукум, ракию, стакан воды. Показывает скит. Огромный собор, воздвигнутый империей в 1914 г., в зените ее славы и могущества. Трапезная с чугунной доской на стене: "Здесь останавливался и изволил закусывать вел. кн. Алексей Николаевич в 1867 г." Несколько невидимых монахов. Тишина.

Ставроникита. Росписи Феофана-критянина. Мозаичный

Никола, выловленный из пучины морской, со следом устрицы на лбу, брызнувшей кровью, когда ее стали отдирать. Моя комната-келья, повисшая над пропастью, с иконами Одигитрии и Пантократора. Керосиновая лампа с хорошим фитилем. Спички.

Всю ночь — успокаивающий шум прибоя, волн, лижущих светлые скалы. Внизу, в расселине скалы — тень монаха. Он смотрит вдаль, в море, где далеко пролегла лунная дорожка, вздыхает, кается, бьет поклоны.

К утру на небе висит всего одна, величиной с маленькую луну, звезда. Монаха на скале нет. Просто легкие духи летали.

У Иверона, у Климентовой пристани, там, где в бурю вступила на афонский берег Божья Матерь, я прощаюсь с американцами. Отец обещает прислать, когда напишет, свою статью или книгу об Афоне, а сын — позвонить. Через месяц я нахожу в своем почтовом ящике открытку с Патмоса, написанную острыми, высокими, нервными буквами: "Я гуляю по нескольку часов в день — от гавани к монастырю. Размышляю об Апокалипсисе. Мой отец так и не увидел всего на Афоне. Он поспешил из Симонопетра сесть на корабль, идущий в Дафни. Не знаю, что он напишет об этом путешествии, если вообще напишет что-либо. Как бы то ни было, я рад, что теперь остался один и меняю свои планы чуть не каждый день. Отсюда дом кажется таким далеким. Мне не достает только одного — лепить. Эндрью".

В Иверone, Успенском монастыре, я останавливаюсь выпить воды и приложиться к иконе Иверской Божьей Матери — Вратарницы. В Иверone не выходят за ворота, приветствуя путника, встречают, скорее, прохладно. Я приписываю это тому, что новые хозяева-греки еще не чувствуют себя уютно в новом доме, в этом, еще недавно грузинском монастыре. Последний грузинский монах умер в 1955 г.

Иверский монастырь основал Торнике Эристави, полководец грузинских царей Багратa и Давида Куропалатов. Он был духовным сыном основателя Великой Лавры св. Афанасия, тоже, по матери, грузина. Император Василий II Болгаробойца вызвал Торнике в Константинополь помочь подавить угрожавший целостности империи мятеж Варды Склироса. На время сняв рясу, Торнике Эристави, в монашестве Иоанн, вместе с сы-

ном Ефимэ и племянником Георгием возглавили императорские полки и помогли Василию разбить мятежников. Если память мне не изменяет, а нужной книги под рукой нет, император Василий отплатил Торнике неблагодарностью.

На мраморном полу собора надпись: "Я воздвиг эти столпы, да не поколеблет их время. Георгий Ивер, мних и созидатель". Я поднимаю голову вверх. Круглые колонны увенчаны акантами и бараньими головами. И я вспоминаю барашков на вертелах в Мцхете, закланных на ступенях собора в престольный праздник Мариобу — Успенье. В нартексе, среди святых — Софокл, Фукидид, Плутарх, Аристотель и Платон, Александр Македонский. Здесь, на Афоне, в XI-XII веках процветала грузинская литературная школа, здесь изучали Платона и неоплатоников, писали к ним комментарии. Здесь был написан "Вечерний звон".

Скит Петра и Онуфрия. С XIV века. Отец Дамаскин, монах-грек из Торонто, выносит показать книгу о Серафиме Саровском.

— Great elder! — вздыхает о. Дамаскин.

Он поит меня сладкой наливкой, присланной матерью из Пелопонеса.

— Извини, отец, новое вино только что забродило.

В рюмку лезут упрямые осы. Мы сидим на деревянном русском, сизом от старости, крылечке. Наверху вырезана дата — "1872 годъ".

Висят подвялые, клеванные птицами кисти муската. Высокая поленница дров в углу. Русские полуосыпавшиеся цветы — георгины. Бродит стреноженный мул с доверчивыми глазами.

— Близко, отец, не подходи, эй, он у меня брыкливый, — предупреждает о. Дамаскин.

Слева, в голубой дымке гора Афон, справа, далеко внизу — море. Солнце то выбегает из облаков, то прячется. Наверху, на крыше, работник Георгий гремит листовым железом, латает купол.

— Течет, отец, — говорит о. Дамаскин. — Красивая церковь погибает, эй!

Он показывает мне свои владения, лишь полгода назад купленные у Иверского монастыря. Впрочем, "купленные" не то

слово — вернее, взятые в аренду "по живот" о. Дамаскина. После его смерти келья опять отойдет монастырю. Их много на Афоне, таких вот полузаброшенных келий или хижин-калив. Стоят они дешевле, чем молодой мул, необходимый в афонском хозяйстве.

У о. Дамаскина — оливковая рощица, виноградник, огород. В огороде, за алтарем, он открывает заложенный старой доской продух:

— Вот, отцы святые лежат, эй, за меня молятся.

В полумраке подпола белеют русские черепа прежних насельников кельи св. Петра и Онуфрия.

— Вдоль коридора — ряды пустых комнат-келий. Пахнет сыростью, старой бумагой, гнилым деревом.

— Много работы, эй, много! Смотри, сколько места, отец, приезжай, живи, пока не поздно.

"Пока не поздно". На Афоне все повторяют эти слова. И веселые жизнелюбцы, как о. Дамаскин, и строгие постники, как о. Арсений.

В нижней, теплой церкви с русскими образами св. Серафима, Тихона Задонского, Митрофания Воронежского — русская, до боли знакомая кафельная печка со сложенными рядом поленьями.

Я собираюсь уходить.

— Подожди, отец, пообедаем вместе. Я хороший повар, — просит о. Дамаскин. С крыши неспешно слезает работник Георгий, загорелый крепкий старик с большим греческим носом. О. Дамаскин выносит пиво, еду. Благословляет трапезу.

После наливки и пива по телу разливается блаженная теплота. Синеет гора Афон, белеют кости в подполе, светит солнце, я опять откладываю житейское попечение и плохо слышу, как работник Георгий рассказывает о своем сыне, который едет в Нью-Йорк и спрашивает меня, много ли в Нью-Йорке греков и легко ли найти работу.

На прощанье о. Дамаскин дает мне коробочку с ладаном и посох, просит:

— Приезжай в следующем году и живи. Места много.

— Позже, — говорю я себе, отправляясь в путь.

— Фуй, ты опять куришь! Все настроение испортил, — гово-



рит на пристани Пантелеймонова монастыря отец Гавриил, протягивая мне гостинец — полиэтиленовый мешочек с грецкими орехами. — Приезжай насовсем!

— Приезжай насовсем, отец! — прощаются отцы Филарет и Мартемьян.

— Позже! — говорю я себе и им. Люцифер во мне еще не ослабел, и я еду в Салоники, а потом в Нью-Йорк, в пустыню и пустоту современной жизни, туда, где миллионы людей без памяти, без прошлого и будущего, живут настоящим, занятые ожесточенным самоутверждением. В Нью-Йорк, где целлюлоидные прометеи внедряют на экране с помощью кулаков справедливость, где живут "неудачники" и те, кто "сделал", "достиг".

Что такое — "сделать"? Спросите у колючек и битого мрамора Милета. Спросите у терновника над могилой императора Федора Ласкариса. Спросите у костей царя Филиппа Македонского в витрине археологического музея.

Я еду в Нью-Йорк, чтоб опять вернуться на Афон, чтобы когда-то, наконец, понять, что иго Христово легко, чтобы ждать — там или здесь — перехода истории в метаисторию, когда Добро и Зло дадут друг-другу окончательный бой.

А пока, как говорил Нил Сорский, "считай себя хуже демонов — ибо демоны нас побеждают". Я опять в Нью-Йорке. Я опять поглощен настоящим.

Юрий Кашкаров

*

— Полно, русский, пей вино!
Эх, чайку бы! прямо с блюдца!
Нам советуют давно
Закруглиться и загнуться.

Политические страсти
Не улягнутся никак.
Дай-ка, друг, сюда на счастье
Ту селедочку. Вот так.

Да, "черна неправдой черной"!
Я "с меча сдуваю пыль".
Политической платформой
Разбужу степной ковыль.

Очень родину люблю!
И сейчас, напившись чаю,
Я к родному ковылю
Молодцом проковыляю.

А совсем перед концом,
Перед тем, как возродиться,
Не мешает подкрепиться
Малосольным оугрцом.

("Сказка ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок.")

Игорь Чиннов

ВОСЕМЬ ВОСЬМИСТИШИЙ

По временам ломается
Времен верченье,
И будто бы — вселяются
В квартиру приключенья.

И будто бы и в шум и лад
И в дребедень корысти
Вперяется веселый взгляд
Еще нездешних истин.

II

Когда сметает Чистота
Старинной пыли слой,
Нисходит мир и простота
В прозрачных мыслей строй.

И точно что-то шепчет мне,
Не слыша шум колес,
И вот уже плывет в окне
Доверие берез.

III

Линованное проводами резко,
Как будто небо — нотная тетрадь,
Там в оттепели синевы небесной
Ворон тяжелых прочудила рать.

Желтки огней по этажам напротив,
Квадрат небес еще синей, синей.
И голуби взлетают, колоброд я,
Лишь входит дух — из царствия теней.

IV

Так одинок и чист отшельник-лама,
Он, в небе возвышаясь, ясный диск,
Вдруг на фронтон заброшенного храма
Бросает блеск — победный обелиск.

Вторая четверть после новолунья,
И как невесел, Месяц, этот труд.
Ночная мышь, летучая ведунья,
Все выбирала правильный маршрут.

V

Дорога мысли — обольщений всех
Не перескажет ни слеза, ни смех.
Пути ее кто вычислит итог
Не могут люди и не хочет Бог.

И прежде, чем Адам творил слова,
Предчувствий мысли полна голова.
Но только пламень, пламень сердца прост,
Светлеет сердце — значит смысл возрос.

VI

Случается — ты не отвергни
Судьбы неожиданный дар —
Схожденье высоких энергий
И сердца холодный пожар.

Весь мир как дрейфующий айсберг,
Но кажется родина здесь —
Откуда пылающий ангел
Послал свою строгую весть.

VII

Гречиха тихо летняя цветет,
Пчела копить свой мед не устает,
И небосвод лучистый — вместе с ней,
Поверх томленья медленных полей.

Кружит пчела и мед свой достает,
И всласть гречиха на холме цветет,
И глубь небес легка и высока,
А тишина — как будто на века.

VIII

Какая прозрачная выдалась осень,
Как светлы и славны ее небеса,
И точно безмерная щедрость вселенной
И жесткая астра и эта оса.

Сосновой смолы нагретые капли
На досках заброшенных — мох и янтарь.
Оса над завалинкой мерные петли
Напишет по воздуху — чей-то букварь.

Вадим Крейд

ПОХВАЛА РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Николай Гумилев (*1886-1921*). В начале 10-х годов молодой честолюбивый поэт составил манифест акмеизма. Из различных значений греческого слова *"акме"* он выбрал следующее: высшая степень чего-либо, зрелость. Это звучало амбициозно. Зрелых размышлений в его литературной программе нет. Но был тот подкупающий юный задор, который одушевлял и футуристов, выступавших одновременно с ним и тоже "преодолевавших" символизм. Подобно футуристам, но менее резко, Гумилев осуждал "вещания" и "чаяния" символистов. Будем ближе к земле. Обыкновенную розу мы предпочитаем символической. Будем помнить и о вечном, о непознаваемом, "не оскорбляя своей мысли о нем более или менее вероятными догадками". Вот несложная азбука акмеизма.

Поэты не жрецы, а ремесленники, и Гумилев создает первый "Цех Поэтов" (второй был основан в годы гражданской войны). В сущности, Гумилев продолжал Брюсова, который, в противоположность жречеству символистов (теургии, как тогда говорили), утверждал ремесленную эстетику и открыл забытую Каролину Павлову, культивируя "святое ремесло" поэзии. Оба они в критических статьях уже предвосхищали формальный подход к искусству с той существенной разницей, что "формализм" Брюсова и Гумилева не аналитический, а педагогический: они оба прежде всего не исследовали, а поучали, и с большим успехом.

См. *"Н.Ж."* кн. 150, 154, 156, 158, 159.

См. эссе об *И. Северянине* в кн. 91 (1968 г.) *"Н.Ж."*; о *Б. Пастернаке* и *В.и. Маяковском* в кн. 95 *"Н.Ж."* (1969 г.)

Гумилев в своих "*Письмах о русской поэзии*" насаждал тот *хороший вкус*, которого не было у проницательного, но грубоватого Брюсова.

Гумилев поклонялся парнассцу Теофилю Готье и перевел его литературный манифест "Искусство":

Созданье тем прекрасней,
Чем взятый материал
Бесстрастней —
Стих мрамор иль металл.

Акмеисты иногда называли себя адамистами. Адамизм — это мужественность, грубость ("мы немного лесные звери"). В список близких по духу поэтов Гумилев включил Шекспира, Рабле, Вийона, которых превозносил тот же Готье.

Заметим, русские поклонники этого парнассца-эстета не упоминали о его замечательных записках: Россию Готье увидел не критическим глазам маркиза де Кюстина, а восхищенными глазами Константина Леонтьева (хотя его, конечно, не знал). Ему нравились мужики в красных рубахах, великолепное византийское водосвятие на Неве, рослый красавец Александр II, диковинный храм Василия Блаженного, похожий на звездчатый коралл.

Гумилев знал: можно обучать стихотворству, но нельзя делать поэтов — поэтами рождаются. Ему, опытному мастеру, многие поэты многим обязаны — прежде всего т.н. "младшие акмеисты": Адамович, Георгий Иванов, Одоевцева, Оцуп. Все они эмигрировали. Первые два пошли в поэзии другим путем, не гумилевским, а скорее блоковским и отчасти "анненским" (*Парижская нота* 30-х годов). А гумилевский идеал ладно скроенных и крепко сшитых стихов, его каноны ясности, точности, сжатости были восприняты очень разными поэтами (включая советских).

Легенда о Гумилеве: он сам ее "творил". Легендарный Гумилев — мужественный герой, "капитан", "конквистадор", охотник на львов, дэнди, парнассец, георгиевский кавалер, русский вандеец. Им восхищались юные читатели Купера, Майн-Рида, Стивенсона, Жюля Верна. А позднее они умирали в Мазурских болотах или в рядах армий Корнилова, Колчака....

Расстрелянный большевиками Гумилев стал певцом *белой России*. Гумилевскую романтику лучше всего выразила Ирина Одоевцева:

Потом поставили к стенке
И расстреляли его,
И нет на его могиле
Ни креста, ни холма, ничего.
Но любимые им серафимы
За его прилетели душой,
И звезды в небе пели:
Слава тебе, герой!

Талант свой Гумилев не зарывал, а начистил до блеска. Кто, хотя бы в молодости, не восхищался этой отчеканенной строфой:

Или бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.

Та же эффектная красивость и в его африканском "*Шатре*", но в этой книге больше лирики, больше силы, особенно в дольниках ("Сердце билось, смертно тоскуя...").

Гумилев великолепно прославил *слово*: оно "осиянно", им останавливали солнце, разрушали города. Но неведомо было ему мандельштамовское "блаженное бессмысленное слово".

Романтика Гумилева — упрощенная. Все объяснено, разжевано, и это вредит поэтической магии. Он слишком логичен для XX века, который, вопреки всеобщей рационализации жизни, влечется к искусству эллиптическому, иррациональному. Вот гумилевские "триады", которые часто привлекали поэтов: Землетрясенья, громы, водопады... Победа, слава, подвиг. Это только красивые слова. Мандельштам вносил в свои "триады" заклинания из разных семантических и стилистических планов: Янтарь, пожары и пиры... Россия, Лета, Лорелея.

Гумилев, один из первых, оценил Анненского. "*Памяти Анненского*" — одно из лучших портретных стихотворений в русской лирике:

И этот голос, нежный и зловещий,
Уже читающий стихи.

Ничтожное словечко *уже* (созвучное ужу), но какая здесь интонация... Слушатели выходят из времени, и не помнят, когда поэт начал читать стихи. Наконец, сопоставление исключающих друг друга — нежного и зловещего.

По мнению многих поэтов, да и читателей, *акме* Гумилева — "*Заблудившийся трамвай*". Ненавистная ему революция вознесла Гумилева на поэтические высоты. Вздох о Машеньке долетает до каких-то седьмых небес поэзии:

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла.

В своем лирическом расцвете Гумилев мучительно, но и блаженно задыхался в "хромающих" дольниках, родственных тютчевским: "Блаженство ты, и безнадежность.." и фетовским: "Измучен жизнью, коварством надежды...".

Не суждено ли было Гумилеву лучше всего выразить себя в лирическом эпосе "*Гондла*". В этой поэме есть риторика, есть красивость, но она захватывает; поэма написана одним дыханием. Здесь Гумилев явно отожествляет себя с горбатым ирландским королевичем Гондлой. Он и его сестра-жена, исландская Лера — зыбкие романтические герои, напоминающие оссиановских (В.М. Сечкарев). В этой сказке увлекает порыв, размах Гумилева и его предчувствие неведомой вольной воли и веры:

Ты улыбка Господня. Мы оба
Из великой семьи лебедей.
Для тебя я восстал бы из гроба,
Для тебя я прощаю людей.

Марина Цветаева (*1892-1941*). Она сказала о себе в юности: Я — живейшая из жен. Была уверена, что проживет долго и будет бабушкой:

Причудницей, забавницей, —
Вихрь с головы до пяточек! (1919)

А свою жизнь оборвала накануне сорокадевятилетия.

Цветаева была обуреваема великими страстями. Хочется вложить в ее уста предсмертный монолог Поликсены Троянской (из трагедии Озерова):

О, греки, не стыжусь в торжественный сей час
О страсти сей вещать еще в последний раз...

Поликсена закалывается. Но и различие: после возвращения в Россию в 1939 г. Цветаева уже не вещала, подобно Поликсене — увяла, умолкла и покончила с собой. Нечем было ей дышать на родине.

Сколько неистовства в страстях Цветаевой — и в лирике куда больше, чем в жизни. Страсть-единоборство.

Не суждено, чтоб сильный с сильным
Соединились бы в мире сем.

Так, уже в первых двух стихах предопределена неудача. Страсти в мире Цветаевой исключают счастье, но тем упоительнее предаваться им в поэзии.

Одно из самых страстных стихотворений Цветаевой *"Попытка ревности"* (по-видимому, обращено к Марку Слониму). Здесь тоже полная неудача. Целый ад, но ад упоительный — любви, ненависти, горечи, иронии:

Как живется вам с *простою*
Женщиною? *Без* божеств?
Государыню с престола
Свергши (с оного сошед),

Как живется вам хлопочется
Ежится? Встается как?

И в эпилоге — убийственное признание:

Как живется, милый? Тяжче ли,
Так же ли, как мне с другим? (1924)

Счастливой любви Цветаева не знает.

Сколько страстных славословий Цветаева посвятила героям, поэтам, друзьям. Вот неполный список благородной Марины: Орфей, Гёте, Байрон, Рильке, Пушкин, Блок, Ахматова, Кузмин, Мандельштам, Вячеслав Иванов, Пастернак, Анатолий Штейгер, Николай Гронский и др. В восхвалениях Цветаевой немало творческого *моеволья* (выражение поэта Моршена). Так ли верен подлиннику цветаевский Пушкин? Цветаева усилила в нем *арапа,* но умалила *француза.* Это говорится не в укор. Пусть ее Пушкин неполный, но — какой живой... И счастливые слезы слышатся в этом славословии:

И шаг, и светлейший из светлых
Взгляд, коим поныне светла...
Последний — посмертный — *бес*смертный
Подарок России — Петра.

Ни Цветаева, ни Мандельштам, ни Ахматова, ни Пастернак не вынесли бы тявканья современных мосек на Пушкина!

Лирические возлюбленные Цветаевой — в поэзии, не в жизни. Их — много, и она зачастую придавала им черты, которых у них не было. Создавала мифы. Немало было и недоразумений. Летом 1936 г. Цветаева жила в Савойе, где посвятила цикл стихов Анатолию Штейгеру, который тогда находился в санатории для туберкулезных в Давосе. Это "*Стихи Сироте*".

В этой строфе Цветаева как-то даже превзошла себя:

Всей Савойей и всем Пиемонтом,
И — немножко хребет надломя
Обнимаю тебя горизонтом
Голубым — и руками двумя!

Здесь — редкий драгоценный пример предложения, развернутого в одной строфе. Царственный или даже божественный жест на великом просторе, на вольной воле! Марина Ивановна увлеклась Анатолием Штейгером заочно, не зная, что он к женщинам равнодушен. Правда, в этом стихотворении нет страсти, а есть материнская нежность. Страстная Цветаева умела жалеть и тоже на высоких нотах, с упоением.

Цикл Цветаевой "*Ученик*" (Москва, 1921) посвящен старому

князю С.М. Волконскому. И он женщин не жаловал, и Марина написала ему стихи от имени отрока, влюбленного в учителя:

Быть мальчиком твоим светлоголовым...

Прекрасно стихотворение *"Отрок"* (1921). Оно было обращено к юному Э.А. Миндлину (р. в 1900 г.) и позднее перепосвящено Геликону — А.Г. Вишняку (1895-1943). Здесь тоже Цветаева взяла высокую ноту — но это не жалость, а страсть:

Пустоты отроческих глаз! Провалы
В лазурь! Как ни черны — лазурь!
Игралища для битвы небывалой,
Дарохранительницы бурь.

Цветаева отожествляет себя с царем Саулом, который и любил и ненавидел Давида:

Так по ночам, тревожа сон Давидов,
Захлебывался царь Саул.

Была она *всестрастна.*

Марина Ивановна росла в либерально-интеллигентской семье. К политике была равнодушна. Но на открытии музея имени Александра Третьего, созданного стараниями ее отца, проф. И.В. Цветаева, восхищалась мраморными барельефами великих князей и сонмом царских дочерей:

Сонм белых бабочек, прелестный сонм
Великих маленьких княжен.

Монархисткой не была, но ощутила глубокую *народную сущность* монархии (уже после отречения Государя, в апреле 1917 г.)

Это просто, как кровь и пот:
Царь — народу, царю — народ.

Еще более вдохновляло разночинную Цветаеву дворянство поистине благородное в лучших своих представителях. Из них назову двух — кн. С.М. Волконского и А.А. Стаховича (гвардейца, позднее актера):

Выменивай по нищему Арбату
Дрянную сельдь на пачку папирос
Все равенство нарушит — нос горбатый:
Ты — горбонос, а он — курнос.

Цветаеву восхищал и Пугачев... Но не Ленин, не ленинская Россия.

Не ринусь в красный хоровод
Вкруг древа майского...

Эти стихи могли бы быть обращены к Маяковскому, хотя посвящены не ему. А Маяковский ее восхищал. Он — "Архангел-тяжелоступ".

В своих *"Переулочках"*, в *"Молодце"* Цветаева вдохновлялась русским фольклором (сказками Афанасьева). Но содержание этих стихов — изощренное, сложнейшее... Цветаевского Молодца Русь не знала — не ведала... Может быть, я и не прав, но *народная* Цветаева до меня не доходит. Я писал об этом Марине Ивановне, и она на меня разгневалась (в письме).

А *"Царь-Девица"*, несомненно, удача. Здесь, как в осьмнадцатом веке Державин, Цветаева использовала богатый солдатский фольклор. Страсть цветаевской Царь-Девицы была царевичем отвергнута. О ее прощании с конем и полком Цветаева спела "прежалостную песнь"

Как все жилы напружились на лбу,
Себе в кровь как закусила губу.

Как по сходням взошла
Стопудовой пятóй,
Как прах с ног отрясла,
Как махнула рукой.

Полк замертво свалился пьяный,
Конь пеной изошел, скача.
Дух вылетел из барабана.
Грудь лопнула у трубача.

Приключилась великая беда, но есть мощь в этой беде!

Русейшая Цветаева была дома в Европе, во Франции и, в

особенности, в Германии. "Германия мое безумье,/ Германия моя любовь" — бросала она вызов во время Первой мировой войны. Но осудила нацизм: "За фюрером фурии..." Хотела было прославить Чехословакию, но это ей не удалось. Когда поэты, даже вполне добровольно "заказывают" себе симпатию, это всегда заканчивается неудачей. Великие княжны пришлись ей по сердцу, удались и стихи о народном царе.

Разнообразие в поэзии Цветаевой. Антитезис ее страстям — бесстрастие в *"Граде Друзей"*:

В небе тарпейских круч,
В небе спартанских дружб! (1922)

Это Елисейские поля, куда вступают блаженные юноши: они, не обольстившись негой, бросают дочерей земли "для Бога и для бега".

О себе Цветаева сказала:

Содружества заоблачный отвес
Не променяю на юдоль любови.

Но и о бесстрастии Цветаева писала с упоением!

Цветаева заметила о поэте: он "никогда не атеист, всегда — многобожец (*"Искусство при свете совести"*).

Какой Бог раскрывался Цветаевой? — Бог — свободный дух, он сродни ветру:

О, Его не догоните!
В домовитом поддоннике
Бог — ручною бегонией
На окне не цветет!

Ибо бег он — и движется.
Ибо звездная книжища
Вся: от Аз и до Ижицы
След плаща его лишь! (1922)

Этому Богу вечного движения (и уж, конечно, не греческим богам) Цветаева не молилась. В любви, в дружбе она могла умаляться, ставила себя ниже Гёте, Пушкина, Блока, Рильке. Но Старшего, Старшóго (истинного Бога) над собой не знала. Если

религия есть связь с высшим — то у нее такой связи не было. В этом ущербленность Цветаевой, в этом ее великая беда (но и нельзя назвать ее безбожницей).

В самом конце концов — мерещилось ей:

Взмы́ть — выдышаться в смерть.

Марина, как могучая́ Царь-Девица, мчалась к гибели:

Нигде меня нету.
В никуда я пропала.
Никто не догонит.
Ничто не вернет.

Так витализм, динамизм Цветаевой иссякает в нигилизме. Да, была она в великой беде, но и в ее отчаянии слышится упоение. Как это часто бывает у поэтов (но, увы, редко понимается, учитывается), отрицание у них иногда звучит как утверждение. Чего же? Конечно — жизни, страсти. Самый смелый вызов року, смерти.

Замечательна проза Цветаевой — ее "портреты", и в особенности очерк "*Искусство при свете совести*", где очень ясно (как будто даже навсегда) определены границы добра и зла. Пушкинский Вальсингам (пишет Цветаева) потерял совесть и кощунственно воспевает чуму — "наказание Божие". Но сколько мощи в его гимне! Священник в этой маленькой трагедии Пушкина представляет добро, но его проповедь скучная, вялая. Пушкин не одарил его песней, так что поэтически здесь торжествует зло.

Поэзия, вообще искусство для Цветаевой — одержимость стихиями, а стихии могут от добра отводить. Быть человеком важнее, чем быть художником — заявляет она: "Зная большее, творю меньшее, посему мне (поэту) прощения нет. Только с таких, как я, на Страшном Суде совести и спросится. Но если есть Страшный Суд Слова, то на нем я чиста". Так Цветаева утверждала русско-интеллигентскую, пуританскую этику — "автономную мораль"... и обходилась без Старшóго (Бога). Есть здесь живая правда, есть и нравственное величие. Но не знала она пасхальной радости Мандельштама.

А эстетов, снобов, газетчиков презирала: каждый из них только "словесный хахаль".

Цветаева около 20 лет провела в эмиграции (в Берлине, Праге, Париже). Были у нее немногие верные друзья (как Марк Слоним, ее ценили Бердяев, Федотов). Но, отчасти под влиянием своего мэтра — Георгия Адамовича, ее недолюбливали молодые парижские поэты: У нее, дескать, нет простоты т.н. Парижской ноты, ее поэзия очень уж пышная, громкая. Может быть, у тогдашних молодых парижан и была какая-то своя правда. Но как они, эклектики и импотенты, мелки, мелочны по сравнению с Цветаевой! Вернувшийся из швейцарского санатория Анатолий Штейгер тоже отнесся к ней холодно, а она обнимала его "всей Савойей и всем Пиемонтом"!

По верному замечанию Ф.А. Степуна, вихревая вдохновенность Цветаевой сочеталась в ее поэзии с расчетливой ремесленностью. Следуя за Каролиной Павловой, она определяла поэзию, как "напасть" и — как "святое ремесло".

Многие стихи Цветаевой — *скачка с препятствиями.* Их плавное течение зачастую нарушают т.н. переносы (enjambement), разрезающие фразу:

> Как живется вам с трухой
> *Гипсовой?* (Из глыбы высечен
> *Бог* — и на́чисто разбит!) (Курсивы мои. — *Ю.И.*).

Не любила Цветаева ничего гладкого, покладистого. В ее дольниках тоже скачка с препятствиями. Вот монолог Вакха-Диониса в трагедии "*Ариадна*":

Лицемеров, стоящих одаль,	—/—/—/—
Бич! То во́ркот ушам, то рык,	/—/—/—/
Низшим оторопь я и одурь,	/—/———/—
Высшим — заповеди язык!	/—/———/
О, ни *до* у меня, ни дальше!	/—/——/—/—
Ни сетей на меня, ни уз!	——/——/—/
Ненасытен — и глада алчу:	——/—/—/
Только жаждою утолюсь.	/—/———/

В первых двух стопах анапест — размер несколько монотонный, но в последней стопе каждого стиха нет ожидаемого ударения: здесь Цветаева, задохнувшись, перелетает очередное препятствие.

С.А. Карлинский отметил оригинальный прием Цветаевой: разделение слов на слога (речитативы): "Рас-стояния: версты, мили/ Нас рас-ставили, рас-садили" (1925). Эти разрывы связаны с особенностями ее устной речи. Мне навсегда врезались в память эти слова Марины Ивановны: "Мне ни-ког-да, ни до че-го не было дела, кро-ме поэзии", — сказала, она мне, отстукивая ритм по столику парижского кафе (в декабре 1938 г.).

Немало у Цветаевой звуковых ассоциаций. Были они у Пушкина ("Очей очарованье"). А в нашем веке этот прием культивировали Хлебников ("Волга-волки"). За ним — Маяковский, Пастернак. У Цветаевой: льни льняной; минута минущая; пунш и Пушкин.

Фоника Цветаевой: любила она звуки рыкающие и шипящие: рана в рану, хрящ в хрящ.

Стилистика Цветаевой восходит к нашему Осьмнадцатому веку. Марина Ивановна (в письме мне в 1933 г.) пишет, что готова была подписаться под "манифестом" адмирала А.С. Шишкова: "Уметь высокий славянский слог с просторечивым так искусно смешивать, чтобы высокопарность одного приятно обнималась с простотою другого... не унижая ими слога и сохраняя всю важность оного" ("Рассуждения о старом и новом слоге", *1803 г.*). *Здесь осмеянный Арзамасом Шишков покрывает своей* доктриной весь наш великий имперский, но и лирический Осьмнадцатый век (чего В.Ф. Ходасевич не заметил в своей книге о Державине).

Да, Цветаева любила острые коктейли из высокого и низкого слога. Ее древнегреческий Ипполит очень по-русски обзывает влюбленную в него мачеху Федру *гадиной*. Георгия Адамовича это шокировало. Слишком грубо-могуча была Цветаева: не по зубам честным, но вялым парижанам.

Как хороши у Цветаевой сильные контрасты в страстях: так разминулась дщерь Аресова Пенфезилея с Ахиллом: он подмял ее как лев:

... О вспомни — снизу
Взгляд ее! сбитого седока
Взгляд! не с Олимпа уже, — из жижи,
Взгляд ее, — всё ж еще свысока!

Какое здесь упоение: Олимп и вот — жижа...

По всем приемам и по природе свой Цветаева великолепно барочна; как Петров и Державин в Осьмнадцатом веке, как грубый Маяковский и книжный Вячеслав Иванов — в нашем.

Любила Цветаева барочные причудливые сравнения и метафоры, кончетто: в одной строке ее Бог — "стройнейший гимнаст", а в другой — "седой ледоход". Это все — барокко, которое так долго не осознавалось в России (за исключением зодчества).

У Цветаевой была казалось бы неисчерпаемая вулканическая энергия, как у Донна или Гонгоры в XVII веке. Она не стыдилась вещать и греметь о великих страстях. Увы, все страсти приводили ее к бездне небытия. Но в этих страстях было достаточно бытия, которое смерть только прерывает, а вполне уничтожить не может. Цветаева, "живейшая из жен", мчалась к гибели, а ее поэзия страстей нас окрыляет и животворит.

Марина Цветаева принадлежит к созвездию великих жен (не жён!) мирового значения. В стихах, письмах, записках они страстно жаждали чего-то абсолютного (а не одной только земной любви). В их числе древнегреческая Са́пфо (VI век до Р.Х.), две монахини: св. Тереза из Авилы (1515-1582) и мексиканская Хуана Инес де ла Крус (1648-1686); американская отшельница Эмилия Дикинсон (1830-1886). Можно было бы назвать и другие имена... Каждая из них страстно изживала свою беду: счастливы они быть не могли. А высшего достигла одна испанская Тереза де Авила.

— Ваше Величество, почему вы меня так мучаете? — спрашивала она Спасителя.

— Потому что я люблю тебя, Тереза.

Современным психологам все это непонятно (даже Юнгу) ни святость, ни искусство.

Георгий Иванов (1894-1958). "Нас четверо", — писала Анна Ахматова (1961 г.). Эти четверо поэтов — погодки: она сама,

Пастернак, Мандельштам, Цветаева. Это последние большие русские поэты. Некоторые добавляют еще трех. Но Ходасевичу мешал скепсис, Гумилеву — наивность, а Маяковскому — политика. Я назвал бы пятого, Георгия Иванова, с чем не согласились бы ни Ахматова, ни Цветаева. Они обе не прощали ему воспоминаний (*"Петербургские зимы"*). Там, действительно, многое "романсировано", или, говоря попросту, наврано (так, граф Комаровский сделан каким-то чудачествующим богачом). Тем не менее, эти мемуары больше, чем многие другие, передают атмосферу эпохи.

Юный Георгий Иванов бывал у Блока, когда ему было 16-17 лет, и их встречи отмечены в блоковском дневнике. Блок его хвалил: стихи хорошие, почти безукоризненные, с умом и вкусом, с большой культурной смекалкой (рецензия 1918 г.). Но Блок и недоумевал, даже сердился, его раздражали формальные достоинства этих хороших стихов. Он спрашивал: чего же Георгий Иванов хочет? И отвечал за него: ничего. Сам Блок знал, чего хотел: "нужно предъявлять огромные требования к жизни", нужно кончить историю, чтобы не было быта, вечных повторений, нужно любить, страдать, верить, а не беззаботно любоваться фарфоровыми безделушками (которые часто воспевал Георгий Иванов).

В начале 20-х годов Георгий Иванов навсегда покинул Россию. Вместо многообещающего будущего — эмигрантское безвременье: Четверть века прошло заграницей... а на самом деле больше, лет тридцать пять. Но если бы не было этой "заграницы", Георгий Иванов едва ли бы стал большим поэтом, продолжая воспевать саксонский фарфор и персидские миниатюры. Сила, размах очевидны уже в его сборнике "*Розы*" (1931 г.). Дальше — беспрерывный рост до самой смерти (в 1958 г.). Что же произошло заграницей? Ответ: "надеяться стало смешным". Надеяться на возвращение в Россию, и вообще на что-то, на кого-то.

Р.Б. Гуль в своих замечательных мемуарах "*Я унес Россию*" вспоминает о тех парижских бистро, где сидели, выпивали русские шоферы из бывших офицеров. Были среди них и князья, графы, гвардейцы. Иногда впадали они с горя в цинизм, готовы были надо всем издеваться, но и могли со слезами напевать эми-

грантский популярный романс "Замело тебя снегом, Россия". Георгий Иванов не был завсегдатаем этих кафе и кабачков, хотя, несомненно, и бывал в них; и он мог быть циником, и он цитировал мелодраматический романс. Многих возмущали эти стихи Георгия Иванова, которые, по-моему, как-то вырастают из шоферского отчания:

Хорошо, что нет Царя,
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.
Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.
Хорошо — что никогда,
Хорошо — что ничего.
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать.
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.

Помню ошеломляющее впечатление от чтения этих стихов в 30-е годы. Сразу понравилось — вызов! Всякое эпатирование в молодости восхищает: пусть в других разливается желчь, а я, всем назло, ликую. Но было и другое, более длительное впечатление: здесь не только злая ирония, а будто блоковский ветер пронесся. Вот он вынес куда-то к черту на кулички, но и на вольную волю, и ее уже не променять на все привычные "заветы", надежды, принципы, лозунги. Разгромлено все, но упиваешься этими ветреными хлещущими хореями. Стало пусто, но нет иллюзий, нет лжи, есть свобода и пустота.

Умолкнувшая блоковская музыка с новой силой прозвучала в стихах бывшего щеголеватого акмеиста. Георгий Иванов освободил многих не только от романтических иллюзий, но и от *чаяний* создателя этой музыки Блока. Он не отрок, зажигающий свечи, не Дмитрий Донской на Поле Куликовом, даже не пьяный визионер — поклонник продажной незнакомки, а скептик, нигилист, иногда циник, автор "*Распада атома*", а в конечном

счете, — самый обыкновенный человек, даже обыватель, но еще и романтик:

И все-таки тени качнулись,
Пока догорала свеча.
И все-таки струны рванулись
Бессмысленным счастьем звуча...

Никаких гарантий, иллюзий, а "все-таки она вертится", романтическая шарманка, и звучат пушкинские-гоголевские-блоковские бубенцы фольклорной тройки:

Это звон бубенцов издалека,
Это тройки широкий разбег,
Это черная музыка Блока
На сияющий падает снег...

Разговорные словечки, прозаизмы были у Блока: хвать-похвать, а сердца нет... Но их окрашивает романтическая ирония, разочарование барда. Есть вульгарный говорок у Анненского: "курнуть бы", — вздыхает в участке жулик, и поэту этого прощелыгу жаль. У Георгия Иванова мало осуждения и почти нет жалости, а есть сочувственное понимание. Он не раз самого себя отожествляет с "людишками", как и Розанов (что верно отметил Р.Б. Гуль). "Трубочка-водочка" имеет для него ту же прелесть, что Жуков табак для Василь Васильевича. Розанов и в раю не хотел обходиться без курения. Георгий Иванов признается, что пожил бы еще — и не поэтом, а "первым-встречным-поперечным". Кроме черного "ничего", кроме сладостной музыки, он любит и какую ни наесть — "жисть".

У Георгия Иванова большой диапазон в поэзии, хотя просторы его приоткрываются не сразу. Он спел на свой лад не только блоковщину и розановщину. Наряду с трубочкой-водочкой, в его стихах немало других земных прелестей: "Полутона рябины и малины..." Или звуковая игра: "Желтофиоль похожа на виолу,/ На меланхолию, на канифоль". Смелая романтика в стихотворении, посвященном Лермонтову: мелодия становится цветком... ветром и песком... мотыльком, ветвями ивы и, наконец, она перевоплощается:

В тяжелый взгляд, в сиянье эполет,
В рейтузы, ментик, в — "ваше благородие",
В корнета гвардии — о, почему бы нет?...
Туман... Тамань... пустыня внемлет Богу.
— Как далеко до завтрашнего дня!...
И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.

Здесь творимая о Лермонтове легенда оживает в потрясающих стихах. Вся вовлекается в музыку, даже рейтузы. А в другом стихотворении запели и брюки поэта:

В сияньи брюки Иванова
Летят и — вечность впереди.

Этой смелости не было у прежних романтиков, но она есть у Марка Шагала: в его Витебске все окрыленно, все летит: и обыватели, и их печные горшки, и такие "тяжелые предметы", как коровы.

"Хорошо, что нет Царя", — писал Георгий Иванов. Но Царь, царская семья из другого его стихотворения останутся в русской памяти:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны.

Никакой монархической "слезы", но как это сказано: просто, без нажима, окончательно. Не надо быть монархистом, чтобы понять ужас гибели этой семьи, трусливое, зверское убийство. Это история Иова, но без счастливого конца. И вина падает на всех русских, включая родившихся после их гибели. И если не будет всеобщего покаяния, Россия не возродится (Сам Иванов, впрочем, ни в какое возрождение не верил).

Ранний Георгий Иванов многим был обязан Кузмину (боль-

ше, чем Гумилеву), и в юношеских его стихах, раздражавших Блока, немало прелести — привлекает их вещность, четкость, кузминская "прекрасная ясность". Но от акмеизма Иванова мало что осталось в эмиграции, когда в его поэзии зазвучали розановские словечки, "анненские" прозаизмы. А всего ближе ему Блок. У него блоковский динамический синтаксис с глаголами движения, сильные аккорды уже в первой строчке:

Блок	*Георгий Иванов*
Все это было, было, было...	То, что было, и то чего
Все на земле умрет — и	не было...
мать, и младость...	Все на свете пропадает
	даром...

У эмигрантского Георгия Иванова — не только блоковские образы, в особенности в циклах "Страшный мир", "Возмездие", но и цвета у него блоковские: синий, черный. Но здесь не подражание, а отталкивание. Георгий Иванов — анти-Блок, антитезис к его тезису, и это "анти" предчувствовал уже сам Блок:

О, если б знали, дети вы,
Холод и мрак грядущих дней!

Холод и мрак Блок испытал после "Двенадцати" и "Скифов" и задохнулся в пустоте, умер, потому что (писал он) "музыка ушла из мира" (*музыка* в ницшевском смысле, т.е. дух творчества, как можно было бы не совсем точно перевести).

Через несколько лет после смерти Блока "родился" новый Георгий Иванов — большой поэт. Эмигрантское разочарование, отчаяние он преобразил в волшебную музыку. Его "нет", "ничего" прозвучали, как соловьиные трели. Из общего, да и из собственного несчастья он творил поэтическое счастье, что может показаться кощунственным. Но в искусстве все иначе, чем в жизни. Убийство в классической трагедии или в романе Достоевского — самый напряженный и блаженный момент художественного произведения, долгожданное освобождение от тяжелого бремени, катарсис.

Эмигрантский поэт Георгий Иванов понятен не только изгнанникам, беженцам: ощущение одиночества, пустоты понятно всем одиноким душам, даже "душонкам" (из мира Розанова), всем, кому в мире холодно, всем, кто, наперекор скепсису, мелан-

холии, рвется на вольную волю, к синим звездам, сияющим в пустоте ("Стихи и звезды остаются...")

По общему впечатлению, Георгий Иванов чем-то близок последнему большому поэту Германии Готфриду Бенну (1886-1955). Бенн вовлек в поэзию ужасы моргов, нищету инфляции, банальщину будней. Он — скептик, нигилист, иногда циничен, но и чистый лирик, окрыленный музыкой Шумана, которая творится "aus Einst und Immer und Nie..." Эти его стихи на слух звучат по георгие-ивановски:

Eden und Adam und eine Erde
Aus Nihilismus und Musik.

Их можно было бы перевести так:

Эдем, Адам, и вот земля
Из музыки и нигилизма.

(Кажется, никто из русских критиков не отметил замечательное стихотворение Бенна, посвященное нашему великому веку: Пушкину, героям Достоевского). Но оба они, Георгий Иванов и Готфрид Бенн, друг о друге понятия не имели.

Для финала, под занавес можно было бы выписать какое-нибудь розовое или розоватое стихотворение, но лучше, сладостнее, и как-то победнее безнадежные стихи Г. Иванова:

Листья падали, падали, падали
И никто им не мог помешать...
От гниющих цветов, как от падали,
Тяжело становилось дышать.
И неслось светозарное пение
Над плескавшей в тумане рекой,
Обещая в блаженном успении
Отвратительный вечный покой.

Итак, все вообще скверно. Жизнь и вечность равно безобразны и бессмысленны. Поэзия тоже бессмысленна, но и прекрасна, волшебна, таинственно-победоносна — вопреки мрачному смыслу стихотворения.

Заметим: здесь Георгий Иванов умело обыгрывает гласные. В первой строфе во всех рифмах ударные "*а*", в глагольной рифме "помешать-дышать"). А все вместе — сочетание слов, и разнообразное аканье — чудо торжествующей поэзии.

Вот еще одно мрачное стихотворение, в котором Георгий

Иванов впервые провозгласил, что России, может быть, и нет, хотя она и остается живой реальностью:

Россия счастие. Россия свет.
А, может быть, России вовсе нет.
И над Невой закат не догорал,
И Пушкин на снегу не умирал.
И нет ни Петербурга, ни Кремля
Одни снега, снега, поля, поля...
Снега, снега, снега, а ночь долга
И не растают никогда снега.
Снега, снега, снега, а ночь темна
И никогда не кончится она.
Россия тишина, Россия прах.
А может быть, Россия только страх.
Веревка, пуля, ледяная тьма
И музыка, сводящая с ума.
Веревка, пуля, каторжный рассвет,
Над тем, чему названья в мире нет.

Здесь опять игра гласных: в первом и последнем двустишии рифмы с ударениями на "*е*", а между ними шесть двустиший с ударными "*а*" (и "*я*"). Сие важно не только для каких-то специалистов, а для всех, кто любит и небесную душу стихов и их земную плоть. У Цветаевой и Маяковского звучание тяжелое, резкое, у них часто доминирует игра согласных, грубые "рцы" и "ща". Звучание у Георгия Иванова — легкое, удобное для пения, что характерно для всей нашей мелодической поэзии — стихов Жуковского, Фета, Полонского, Блока.

Его поэзия в целом — сладчайшая трагическая поэзия. Волчий ужас он переводит на язык соловьиных трелей, и в мировой пустоте слышит божественную музыку, которая никого не спасет, но она навечно — есть. Она может быть прервана, но, однажды прозвенев, — уже неуничтожима.

Георгий Иванов — откровенный и, казалось бы, безнадежный атеист. Но его *отчаяние,* столь же черное, беспощадное, что и у Бодлера в *"Цветах зла",* явно нудит, требует *чаяния* (хотя самое это слово из лексикона символистов едва ли могло нравиться поэту). Но силой его поэтического напора чита-

тель выталкивается из небытия в бытие.

Мы теперь знаем, что в современной России кое-кто, читая, например, ультранигилистического Сартра, не теряет веры, как его западные читатели, а будто бы ее обретает (см. беседу с Т. Горичевой в *"Русской Мысли"*, 28 февр. с.г.). Здесь не место разъяснять этот кажущийся парадокс, параллельный "случаю" Георгия Иванова. Скажем проще и яснее — скепсис, например, Ходасевича вызывает скуку, равнодушие, тогда как самые отрицательные стихи Георгия Иванова повышают жизненный "тонус", бодрят, укрепляют, — как электрический шок или ледяной душ. Новейшую эмиграцию поэзия Георгия Иванова притягивает, творчески возбуждает. Но она мало его понимает, как, за немногими счастливыми исключениями (например Р.Б. Гуля), и старая эмиграция. Повторяю, не оценили Г. Иванова Ахматова и Цветаева, не прощавшие ему разные неточности и слабости. А он, несомненно, — наряду с ними и Мандельштамом и Пастернаком — пятый большой поэт!

Георгий Иванов — падший ангел русской лирики. Падал он низко, но всегда со страстью, сгоряча, и создается впечатление — какой-то порыв мог бы его вытолкнуть из бездны.

Он писал просто, словарь его небогат, немало цитатных стихов, но он меньше чем многие другие современные *темные* (по смыслу) поэты поддается истолкованию. А его лирическая мощь ощущается и теми читателями, которые его плохо понимают.

Георгий Адамович (1894-1972) — поэт. Но в качестве критика значит больше, чем в поэзии.

Поэзия и критика Адамовича — одно целое, утверждает Роджер Хаглунд (мой бывш. ученик) и в своей английской монографии об Адамовиче верно отмечает, что о литературе Адамович судил с позиций поэзии.

Адамович, "младший акмеист", отталкивался от Блока и, как Блок, хотел, чтобы литература не была только искусством. Вот его лирическое исповедание:

Пять-шесть произнести как бы случайных строк,
Чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный,

Растерянно шептал на казнь приговоренный,
И чтобы музыкой глухой они прошли
По странам и морям тоскующей земли.

Адамович в критике, как и в поэзии, ориентировался на какое-то чудо, на последнюю правду, которая могла бы изменить мир. Но был он и скептик: знал, что искусство не может выйти из своих пределов. Отсюда его "учение" о невозможности поэзии (так называлась его статья в журнале "*Опыты*"). Поэты могут только приближаться к чему-то абсолютному. Поэтому, утверждал Адамович, им следует писать просто, без футуристических или еще каких-либо выкрутас, и всегда о самом главном — о Боге, в которого он сам по-видимому не верил, и о смерти.

Это "каноны" его Парижской ноты, которую он насаждал в монпарнасских кафе 30-х годов. Тогда Адамович был признанным мэтром молодых поэтов, и не одних только парижан. До Бога они "не доходили", но о смерти писали много. Парижская нота удалась Анатолию Штейгеру, Лидии Червинской и Игорю Чиннову, который позднее, уже в США, от этой ноты отошел и, может быть, даже ей изменил.

Адамович отрицательно относился ко всякому экспериментализму в поэзии, но как-то не замечал шаблонности, эклектизма молодых поэтов. Георгий Викторович постоянно повторял слова Базарова: "Аркадий, не говори красиво". Но в стихах пасомых им молодых поэтов была именно красивость, как и во многих его собственных стихах, даже в самых удавшихся:

Я не тебя любил, но солнце, свет,
Но треск цикад, но голубое море.
Я то любил, чего и следу нет
В тебе. Я на немыслимом просторе
Любил. Я солнечную благодать
Любил. Что знаешь ты об этом?

Есть здесь романтическая декламация в блоковском ключе. Красивое любил и Георгий Иванов — в юности — фарфор, а в зрелости, уже в эмиграции — музыку, звезды, но он великолепно огрублял свою романтическую блоковщину и лермонтовщину прозаизмами и потрясал отчанием, доходившим до нигилизма.

Адамович-критик не только проповедовал Парижскую ноту. Замечательно его определение поэзии — одно из лучших, но не окончательное. — "Какие должны быть стихи? Чтобы как аэроплан, тянулись, тянулись по земле, и вдруг взлетали... если и не высоко, но со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а все вместе слегка двоилось. Чтобы входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы "ах!", чтобы "зачем ты меня оставил?", и вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напиток, "последний ключ", от которого он уже не оторвется. Грусть мира поручена стихам. Не будьте же изменниками".

Николай Оцуп (1894-1958). И он — "младший акмеист", как Георгий Иванов и Георгий Адамович. Оцуп хотел стать поэтом-мастером, который широко откликается на всю эпоху, владеет сердцами и умами современников. Поиски универсальности отразились в его монументальном "*Дневнике*", насчитывающем вдвое больше стихов, чем "*Евгений Онегин*". Это не только личные воспоминания, но и лирический отклик (отзвук на мировую историю, мировые проблемы, а также на Парижскую ноту Адамовича, на поэзию "царевича" русского Монпарнаса — Поплавского). В целом "*Дневник*" — неудача, но не в деталях. Книга одушевлена образом Красавицы — жены поэта Дианы Александровны.

Оцуп — поэт холодный, что особенно заметно в его религиозных стихах, сближающих его с символистами, хотя он до конца оставался верным часовым гумилевского акмеизма. Но был у него чистый голос, слышимый в стихах о Царском Селе царей и поэтов:

Это — царскосельского парада
Трубы отдаленные слышны,
Это пахнет розами из сада,
Это — шорох моря и сосны.

Иногда Оцуп вырывался на какую-то вольную волю, как в этих, одним дыханием написанных стихах:

Крик залетных журавлей
Жизни ищет над просторами
И сливается в одно
С теми звуками, которыми
Одиночество полно.

Ирина Одоевцева была известна еще в России в 20-е годы, где ее прославила *"Баллада об извозчике"*.

Жанр баллады возник во Франции. Но это позабылось, хотя в этом жанре писал великий поэт Франсуа Вийон. В России Жуковский был известен переводами баллад Шиллера, Уланда и др. С английскими балладами у нас познакомились позднее. Многие немецкие баллады нравоучительны, что их иногда портит, хотя никакой "морали" нет в одной из лучших — в гетевском *"Ночном царе"*. Английские баллады зачастую — жуткие и не совсем понятные, как знаменитая песня о *"Старом моряке"*. Одоевцева написала балладу в английской традиции — о Роберте Пентегью.

В *"Балладе об извозчике"* она удачно использовала т.н. раешный сказ (которым была написана пушкинская *"Сказка о попе и работнике его балде"*). Сразу запоминаются в этом стихотворении строки:

Извозчик крикнет: "Ну!"
Лошадь ногу поднимет одну.

Сказ раешника — валкий, потешный "дольник"; есть комизм в рифме *ну-одну*, а между тем, здесь — трагедия, усугубленная некоторой комичностью (understatement). Извозчик и его лошадь с трудом возят советского комиссара Зона; он подталкивает их в бок, и они умирают с голоду. В этих стихах нет ни малейшей сентиментальщины и никакого поучения. Как не пожалеть извозчика и его клячу, как не возмущаться властью, допустившей в России страшную голодовку в эпоху т.н. "военного коммунизма". Эта баллада — потрясающее свидетельство о том времени, — как и стихи Ахматовой ("Все расхищено, предано,

продано...") и Мандельштама ("Дикой кошкой горбится столица...") Хочется верить в счастливый небесный эпилог баллады:

Апостол Петр отпер дверь,
На лошадь взглянул: "Ишь, тощий зверь!
Ну, так и быть, полезай!"
И вошли они в Божий рай.

Гораздо позднее, уже в эмиграции, Ирина Одоевцева, опять безо всякой сентиментальщины, помещает в раю помещика средней руки (в люстриновом пиджаке) и его Марью Филипповну (с французской книгой в руке).

И пахнет совсем по-нашему,
Черемухой и травой...
Сорвав золотой яблоко,
Кивает он головой:
Совсем как у нас на хуторе,
И яблок какой урожай
Подумай — мы в Бога не верили,
А вот и попали в рай!

Никак нельзя сказать, что поэзия Ирины Одоевцевой религиозна, но верится, что нищий извозчик с его клячей, как и эмигранты из бывших помещиков, удостоились рая.

Юрий Иваск

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА АНСТЕЙ

ЛЮША

Вода, принесенная в ведре издалека, к утру покрывается в нашей комнате ледяной корочкой. Нет отопления, нет электричества, нет даже базаров, которые немцы нещадно разгоняют в эту страшную первую зиму оккупации Киева, когда лютый мороз заставляет завоевателей ходить по домам поредевших киевских жителей и забирать у них свитеры, шарфы и даже дамские кофточки. Вечером по тротуарам стучат только подкованные немецкие сапоги — киевлянам выходить из дому запрещено — "комендантский час". При свете луны город кажется призраком, опустевший, затемненный.

Одеялом завешены стекла,
Тишина стоит у плеча.
Скудный луч на томик Софокла
Клонит нищенская свеча...

Эти тогда еще нигде не напечатанные строчки мы услышали от худенького, большеглазого, очень еще молодого Вани Матвеева, которому предстояло стать Иваном Елагиным. Судьба послала его нам в те трудные месяцы, когда почти все наши однокурсники и друзья ушли на фронт, а мой муж не разделил их участи, задыхаясь в тяжелых припадках бронхиальной астмы. Война помешала Ване стать врачом. В Киеве он остался потому, что до самого взятия города возил раненых из пригородов, где шли бои.

Мы подружились быстро, он часто заглядывал к нам, и часы, проведенные с ним возле нашей крошечной печурки, поставленной на корявый лист железа на паркетном полу,

вспоминаются, как самые уютные, согревавшие тело и душу в ту страшную зиму.

Оказалось, что несмотря на свою молодость, Ваня уже несколько лет был женат. Люша, совсем в другой "тональности", чем ее муж, тем не менее, прекрасно сочетавшаяся с ним, сразу нас привлекла. Невысокая, крепкая, хорошо сложенная, с какой-то азиатчинкой в глазах и скулах, с небольшим вишневым ртом. Старше Вани на шесть лет (род. в 1912 г.), к началу войны она была в расцвете женской прелести. Веселая, энергичная, со своеобразным тембром голоса, она была богато одаренным человеком — хорошо знала несколько иностранных языков, была очень начитана и уже рукой мастера писала стихи и по-русски и по-украински.

В Зарубежье как-то забылось, что значительно раньше, чем Евтушенковский "Бабий Яр", Ольга Анстей написала стихи, впервые услышанные нами в ее чтении и названные "Кирилловские яры". Для лиц, незнакомых с топографией Киева, неясно, что Кирилловские яры — это Бабий Яр, находившийся поблизости от древней Кирилловской церкви; Люша предпочла избежать названия, бытовавшего в разговорной речи киевлян.

Возможно, причиной забвения было и то, что "Кирилловские яры" вошли в крохотный сборник Ольги Анстей, изданный в Мюнхене в 1949 году. Этот сборник почти недоступен читателю из-за малого тиража и пересохшей, рассыпающейся бумаги.

Вспоминая давние прогулки в Кирилловские яры, где

Вянула между ладоней полынь,
Чебрик дышал на уступе горбатом,
Шмель был желанным крохотным братом.
Синяя в яр наплывала теплынь...

Люша закончила стихотворение страшными строчками:

Слушайте! Их поставили в строй,
В кучки пожитки сложили на плитах,
Полузадохшихся, полудобитых
Полузаваливали землей...
Видите этих старух в платках,
Старцев, как Авраам величавых,
И вифлеемских младенцев курчавых

У матерей на руках?
Я не найду для этого слов.
Видите — вот на дороге посуда,
Продранный талес, обрывки Талмуда,
Клочья размытых дождем паспортов...

Люша была не только очень религиозна, но и очень церковна без примеси какого-либо ханжества. Уже ее ранние стихи были посвящены церквам, как чему-то живому, страдающему и поруганному ("Георгиевская церковь"), но все же выживающему в лихолетье:

Вечер был студеный и сырой,
Лужи постным сахаром покрыло.
Колотушка — досчатое било —
Кликала в церквушку под горой.

Умерли давно колокола,
Но вечерня теплилась, живая!
И стучало, не переставая,
Крохотное било, призывая,
И толпа крестилась и текла.

Одной из черт, привлекавших нас к чете Матвеевых, было яркое и свежее чувство юмора, присущее обоим и не изменявшее им при любых обстоятельствах. Было оно и у матери Люши ("Ольги Николаевны Старшей", как ее звали, в отличие от дочери), жившей вместе с ними. Она была опытной преподавательницей, широко образованной, замечательно знавшей литературу.

Понемногу в Киеве налаживалась скудная жизнь. Как грибы, на многих улицах вырастали букинистические магазинчики, где торговали книгами из брошенных библиотек, а также коллекциями марок, открыток и репродукций. Такие магазинчики давали своим владельцам не столько доход, сколько некий статус, предоставлявший возможность не идти на работу к немцам.

Однажды Ваня, зайдя к молодому инженеру Юрию Т., в прошлом — ученику его тещи, застыл в восхищении, увидев четыре тома "Толкового словаря живого великорусского языка"

В. Даля (не помню, было это третье издание братьев Вольф 1903-09 годов, или же четвертое, 1912-14; оба вышли под редакцией и с дополнениями И.А. Бодуэна де Куртенэ).

Этот словарь был давнишней мечтой Вани и Люши, но ни до войны, ни тем более теперь, они не располагали средствами для приобретения таких дорогих книг. Видя, как Ваня жадно и безнадежно глядит на желанные толстые тома, Юрий Т. великодушно подарил их приятелю.

Как же можно было в те времена отблагодарить за столь щедрый подарок? Конечно, только стихами! И вот, вся семья наших друзей принялась за дело, пародируя крупных поэтов и писателей. Так возник сборник, авторами которого были Ольга Анстей, Иван Елагин и Ольга Штейнберг (если не ошибаюсь, здесь впервые молодые поэты использовали свои псевдонимы). Так как в те годы было трудно достать бумагу и копирку, то на тщательно перепечатанном Люшей сборнике стояло: "Напечатано в феврале 1943 года в количестве 1 экземпляра, из коих 1 нумерованный".

Теперь, приходя к Матвеевым, мы сразу же знакомились со "свежей продукцией", как говорила Люша. Ее перу принадлежали описания дара в духе Некрасова, Северянина и Анны Ахматовой, Ваня подражал Есенину и Маяковскому, Ольга Николаевна рассказывала о событии в духе Пруткова и Э. А. Гофмана.

Переписанные от руки экземпляры пропали и у авторов и у нас, но сборник сохранился у дарителя словаря, ныне живущего в США. Вот две из этих пародий:

АННА АХМАТОВА

Ты подумай, милый, подумай:
Ну за что это нам, за что?
Он не злой, твой друг, не угрюмый,
Он заботлив и мил, как никто!

Вечер прял сероватые нити,
Облекался в темный стихарь...
Друг спросил нас: — Чего вы хотите?
Мы сказали: — Толковый словарь!

Вмиг тебе он (видано ль дело?)
Дал словарь, сказал: Береги!
Я на правую ногу надела
Калошу с левой ноги.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

С Ушаковым
толковой
каши
не сваришь.
Все словеса
понапутал,
враль.
Здрасьте, товарищ
Даль!
Смотрю
на Ваши
четыре тома
И чувствую себя
как дома.
Но скажите
на милость,
не знали
что ль Вы,
Что это за кушанье
такое
издатели?
Эти сукины
братья
Вольфы
Вам,
говоря откровенно,
подгадили!
Посадили редактором
Бодуэнишку
Куртенэ
И дали ему
хорошие денежки!

Был бы жив
помешал бы крутне
Этого
Бодуэнишки.
Мало ли их,
университетских
тварюг,
Мастаков
со сливок
сковыривать
пенку!
Вытряхнуть
его бы
из профессорских
брюк,
За ноги
да об стенку!
Достаточно
Бодуэнчики
надоедали!
Мы ценим
в слове
зычную
хлещь!
Толковый
словарь
Даля
Это
ВЕЩЬ!

Тогда, в начале 1943 года, сидя у Матвеевых, мы еще не знали, что скоро нам предстоит расставание: перед сдачей Киева немцы провели неумолимый "изгон" жителей города для отправки на работы в Германию, методически закрывая "освобожденные" от обитателей улицы и вывозя на огромных грузовиках приглянувшуюся мебель. В сутолоке выселения и вывоза мы уже не могли добраться до квартиры друзей, отгороженной от нас кордоном, не могли попрощаться с ними. Годами мы

хранили теплую память о них, надеясь, что они уцелели в огне пожаров и бомбежек.

Окончание войны застало нас в старинном Бамберге, живописном баварском городке, где мы работали на заводе, расположенном за городской чертой. Однако, влажный климат Бамберга губительно влиял на моего мужа, вызывая у него все более острые припадки астмы. Выход был один — переселение в лагерь "перемещенных лиц" под Мюнхеном, все еще сохранявший свое прежнее название "SS Kaserne".

Проходя регистрацию в первый же день по прибытии, я должна была получить подпись директора лагеря — молодой, очень деловой англичанки. Из ее кабинета я вышла с назначением, став ее секретарем и переводчицей; в этой должности я пробыла до отъезда в Америку. Но на этом наши удачи не кончились — оказалось, что в одной из больших комнат казармы, переделенной занавеской из серых военных одеял, живет семья Матвеевых!

Было все — радость, слезы, смех. И была прехорошенькая, умненькая, но довольно строптивая девчушка Лиля — вторая дочь наших друзей. Первая родилась и умерла "по дороге оттуда", как назовет Иван Елагин свою маленькую книжку, вышедшую в Мюнхене без даты, но с внушительной надписью: "Approved by UNRRA Team 108". Подаренная нам 28 апреля 1947 г., эта книга давно стала библиографической редкостью. В 1948 г. выйдет такой же миниатюрный сборник "Ты, мое столетие", и имя Ивана Елагина станет уже хорошо известным и любимым среди русских "перемещенных лиц".

А лагерь все больше и больше наполнялся ими. Чтобы разгрузить перенаселенные казармы, был создан русский лагерь неподалеку, в Шлейсгейме — целое море досчатых бараков. Теперь к нашим друзьям вела тропка, извивавшаяся в поле между воронок от бомб.

Несмотря на неприглядную внешность Шлейсгейма, литературная жизнь в нем забила ключем. В бараке у Матвеевых бывали Борис Нарциссов и Борис Филиппов, в лагерь приезжали Нонна Белавина и Ирина Сабурова.

Люша тосковала. Жизнь в этих досчатых домиках, разбросанных на голой песчаной почве, была не по ней. Любя природу,

она все же была настоящей горожанкой. Но ее не влекли и чинные немецкие города, там было тесно.

...Где ратуша и неизбежный шпиль,
Где пихточки, партнеров не попутав,
Танцуют неподвижную кадриль.
Средь сочно скроенных ломтей газона,
Фасадиков, обвешанных плющем
Живет непобедимо и бессонно
Моя тоска о городе большом.

Ежедневный уход за маленькой дочерью и быстро стареющей матерью, монотонные домашние обязанности и неуют лагерной жизни, неизвестное будущее, долго казавшееся бесперспективным, заставили Люшу искать выхода для своей душевной энергии. Ее семейная жизнь с мужем как-то потускнела. Своей первой книге стихов, вышедшей в 1949 г. в Мюнхене, Ольга Анстей дала название "Дверь в стене", вызвавшее недоумение и даже насмешки. Люша никому ничего не объясняла, но мне казалось, что я понимаю ее — лагерный быт непреодолимой стеной отгораживал ее от той жизни, которую она любила и к которой стремилась, а выходом из него, дверью, ведущей на свободу, были поэзия и любовь.

Любовь эта была в значительной степени надуманной; Люша ясно сознавала все недостатки своего избранника. Но она, может быть даже бессознательно, чувствовала, что эта любовь нужна ей, как поэту, став темой многих прекрасных стихотворений. В одном из них она писала:

Вот на скамье прохладной я одна,
И кровь моя стучит немым напевом,
Все, что в душе вздымает муть со дна,
Что обдает беспамятством и гневом,
Что жжет еще, как сыпь в жару, в кори,
Все отстоится, в звуки отльется
И ясным станет глубоко внутри...

Позже, в своем втором сборнике, Ольга Анстей объединит любовную лирику в цикл стихотворений, порой очень сильных, назвав его "Фён". Фён — бурный и теплый ветер, дующий с гор в

Южной Германии и Швейцарии; он влияет на нервное состояние людей, заставляя их совершать ошибки.

У Люши была своя своеобразная логика. Когда она приходила к какому-нибудь решению, ее невозможно было убедить в обратном или отговорить. Так, решив, что ей необходимо расторгнуть свой десятилетний брак с Иваном Елагиным, она стала упорно настаивать на разводе, к которому ее муж совершенно не стремился, и добилась своего. Связанные эмиграционными документами, они все же приехали в Нью-Йорк как одна семья, но в Америке сразу же пошли разными путями. Однако, существовавшая между ними глубокая душевная связь выдержала испытание временем — до самой смерти Люши они оставались преданными друзьями.

Люшина служебная жизнь в США вначале сложилась ровнее, чем Ванина. Тот брался за любую подвернувшуюся работу, твердо решив со временем получить высшее образование, на этот раз литературное, и войти в ряды профессуры, что он и выполнил, защитив и докторскую диссертацию. Люша, будучи отличной машинисткой, быстро нашла работу в Организации Объединенных Наций, где и проработала до выхода на пенсию, со временем перейдя в Отдел русских письменных переводов, где стала переводчиком с английского и французского языков.

Ольга Анстей занималась и литературными переводами, они ей удавались, хотя выбирала она таких разных авторов, как Рильке и Оскар Уайльд, Теннисон и Честертон. В 1960 г. вышел ее перевод повести Стивена Винсента Бене "Дьявол и Даниэль Вебстер". Восхищенная поэмой Бене "Тело Джона Брауна", она подтолкнула Ивана Елагина на огромный труд — блестящий перевод этого знаменитого произведения, отлично передающего атмосферу гражданской войны между Севером и Югом.

Судя по проникновенной статье " Мысли о Пастернаке", написанной еще в 1947 году за лагерным столом и полностью напечатанной в "Новом Русском Слове" в номерах от 18 и 19 июня 1985 г., у Люши был зоркий глаз, умение воспринять и оценить творчество других поэтов. В суете нью-йоркской жизни у нее не было одного — времени для занятий литературой. Она выразила это в очень горьком, по сути, стихотворении:

Когда весь дом причесан и умыт,
Осмысленной наполнен тишиною,
И стол рабочий тянет, как магнит,
Своею сладостною шириною...

...И надо эту тишину вбирать
И карандаш тянуть к себе рывками,
И теплую раскрытую тетрадь
Листать нетерпеливыми руками —

Тогда возьму я ключ, пойду к дверям,
Подальше спрячу душу человека,
И Божьи все дары опять отдам
За двухнедельную бумажку чека.

Люша писала стихи довольно скупо; их охотно печатали в разных зарубежных изданиях, главным образом, в "Новом Журнале", "Гранях", "Опытах", "Мостах", "Воздушных Путях", "Перекрестках", "Новом Русском Слове". Выступала она и с чтением своих и чужих стихов, а также с докладами на литературных вечерах.

Когда, выйдя замуж за Бориса Андреевича Филиппова, Люша летом 1954 г. переехала в Вашингтон, где он жил и работал, мы страшно обрадовались ее приезду. Но наша радость была недолгой — в американской столице, тогда несравненно более чопорной и чинной, нежели теперь, Люша не прижилась. Она скоро заскучала по Нью-Йорку. Уже через год ее потянуло

В зарю и камень двух тяжелых рек,
В мой город, обрученный мне навек.

Люша была занимательной собеседницей, и когда, преодолевая неприязнь к Вашингтону, она все же приезжала к нам, или когда мы наезжали в Нью-Йорк, мы засиживались с ней до поздней ночи, ведя нескончаемые разговоры. Очень хорошо и живо, в духе такого же непосредственного дружеского общения, она писала письма, а когда у нее было мало времени, вкладывала в конверт густо покрытые круглыми буквами ее чрезвычайно разборчивого почерка открытки, чаще всего репродукции особенно полюбившихся ей картин и скульптур западных мастеров.

Из этой груды бережно хранимых мною весточек я хочу выбрать некоторые отрывки, в главных чертах рассказывающие, как протекала последняя четверть века Люшиной жизни.

Люша всегда была очень любящей матерью, а похоронив еще в Германии Ольгу Николаевну и поставив крест на семейной жизни, она не скрывала, что все ее интересы — в дочери. Они держались, как подруги, хотя Люша иногда не одобряла экстравагантных выходок Лили, не отставшей от молодежи 60-70-х годов в модных тогда "поисках себя". В последние месяцы жизни Люши Лиля окружила мать трогательной заботой.

*

Одно из лучших стихотворений Ольги Анстей, написанное в начале ее пребывания в США, отразило ее тоску по родному Киеву:

За окном февральский сумрак вырос.
Осторожно, не спеша,
Тихо-тихо запевает клирос.
Люди слушают, едва дыша...

...Плакали мы, плакали без слова.
Что слова, когда нам запрещен
Наш зеленый, у Днепра святого
Многохолмный наш Сион...

Но то, что казалось совершенно невозможным в пятидесятых годах, свершилось в конце лета 1965 года — Люша с Лилей побывали в Киеве. Шестого сентября того же года Люша писала мне: "Киев... Море впечатлений. Бесконечная радость свиданья со своими, бесконечная боль от многого-многого — и от того, что многих любимых уже нет, и от еще многого тяжелого. Нам надо повидаться лично, и я тогда много расскажу. Скажу сейчас только про общий облик Киева: Танечка, он трогательно тот же... Только зелень разрослась еще буйнее, еще пышнее... На работе гонка, кончики доделываю дома, возня и спешка вечная, а Киев, как Китеж поддонный, теперь живет во мне, так осязаемо, так чувствую я его, дорогие камни его...".

Эти переживания тоже "в звуки отольются": второй сборник

Ольги Анстей откроется разделом "Живые камни".

А жизнь шла, принося Люше то нечаянную радость, то болезненные удары. Иван Елагин был женат вторым браком на обаятельной, а главное, на редкость доброжелательной и внимательной к людям Ирине (Елочке) Даннгейзер. Молодая жена вначале несколько настороженно отнеслась к Люше, но вскоре стала ее преданным и заботливым другом. Когда в феврале 1967 г. у Вани Елагина и Елочки родился сын, в нашей телефонной трубке зазвучал ликующий Люшин голос: "А какой же у нас мальчик хороший! Я уже заказала для него икону Сергия Радонежского". И потом в письмах она расхваливала "Сергея Ивановича", добавляя, что Лиля не надышится на брата.

Но пришло время, когда общение всех этих искренне любивших друг друга людей, ничего не потеряв в теплоте, стало менее частым. Иван Елагин, получив профессорскую кафедру в Питтсбургском университете, стал бывать в Нью-Йорке наездами, и Люша горестно сообщала нам: "Отъезд Елагиных — большой удар для нас; Ване, вероятно, это тоже тяжело."

Весной 1971 года Люша упомянула в письме о том, что стало началом многолетнего и преданного служения ее любимой Свято-Серафимовской церкви: "На мне теперь, помимо всего, большая нагрузка псаломщика: с тех пор, как наша бедная Тамара больна, все чтение на клиросе — на мне."

Но Люшу саму уже подстерегала тяжелая болезнь — у нее был найден рак груди. Была сделана радикальная операция. Она героически относилась к своей беде, и, несмотря на метастаз в легкое, была полна оптимизма и горячей веры в Божье милосердие. Она очень ценила дружеское внимание к себе: "Вы не можете себе представить, как глубоко тронуло меня ваше письмо, когда я была в больнице. Вот, правду говорят, что нет худа без добра. В это тяжелое время большой отрадой мне было то, сколько людей, оказывается, думают обо мне, тревожатся. Слава Богу, мне лучше. Применили ко мне новое "химическое средство", весьма свирепое, но здорово эффективное. Теперь в пятницу мне делали рентген — все чисто в легких. В понедельник уже иду на работу."

И опять радость — "А я-таки лечу в Киев, ура, ура! Лечу, если Бог даст, 10 мая на три недели!". На обороте открытки с

видом таких родных нам руин Золотых Ворот, еще не оскорбленных фальшивой "реставрацией", она пишет: "Вот весточка из Киева — майского, хмурого, с грозами, дождем, блаженным запахом зелени и земли. Всюду на улицах продают ландыши, а сирень вообще лезет и нависает отовсюду". И позже, из Нью-Йорка: "Счастлива, что съездила, но и счастлива, что — дома".

12 сентября 1973 г. Люша похвасталась: "Я пенсионерка, сибаритствую, наслаждаюсь прохладной погодой, хожу по музеям или сижу на травке на колумбийском "кампусе" — шью там или читаю".

С этой поры в письмах Люши все чаще мелькает имя Лидии Алексеевой. Обе поэтессы очень ценили творчество друг друга, а их взаимная человеческая приязнь неизменно возрастала, превратившись в крепкую и верную дружбу.

К моему имянинному дню 1974 г. Люша, по ее выражению, "накатала" длинное письмо: "Ну, были у нас "безумные дни, или реситаль Ваньки"! Очень, очень все хорошо прошло. Зал был полон доотказа. У дверей продавался "Дракон"... Программу он попросил меня составить. Невольно ли или сознательно, но подобрался у меня выбор стихов очень лирически насыщенный (если сознательно, то в протест В.В. Вейдле, заявившему, что Елагин "не лирик"). В программу входили — "По жолобку на потолке", "Я сначала зашел в гардероб", "Наша улица покато", "Может быть — мучение", "Вы говорите якобы", "Пробивают в асфальте дыру", "Вот мои комнаты, светлые, ясные".

Вы оба помните, конечно, что каждое из этих стихотворений, особенно в конце, насыщено могучим электрозарядом лиризма. Я думала, что Ваня перечеркнет эту программу, но, к удивлению, он ее принял. И все второе отделение, когда он читал эти вещи, я сидела в третьем ряду с зареванной физиономией — неудержимо текли слезы, причем, конечно, клинекса не было, шмыгала носом. И время от времени наклонялась к уху Лиды Алексеевой и говорила: "Так это не лирик, да? Совсем не лирик?!"

Хорошо, хорошо было очень! После выступления, как обычно, пошли к нам целым "стадом" — Ржевские, Сережа Голлербах с матерью, Лида, Таня Донат, Федя Левшин. За столом было удивительно мило и оживленно. Сергей был в ударе и со-

вершенно очаровательно рассказывал о своих встречах с какими-то сумасшедшими художниками-беспредметниками..."

27 февраля 1974 г. Люша горделиво сообщила: "Доклад мой, действительно, прошел довольно удачно: я уже приготовилась, что будет 2½ человека (как было прошлой зимой на моем докладе о Дале), а пришло все же человек 25, что для наших старичков (молодежь ведь никуда не ходит!) скрипящих, боящихся ходить по улицам — большая прыть".

Очень важна была для меня щедрая похвала в этом же письме: "Танюша, речь твоя на Ванином вечере (устроенном В. Камкиным с женой в помещении книжного магазина для представителей русской интеллигенции Вашингтона, где Иван Елагин выступил с большим успехом, а мое вступительное слово было напечатано затем как приложение к каталогу No 1 за 1974 г. этого книжного дела) совершенно замечательная! Прелесть, содержательно, остроумно, по-хорошему эмоционально. Все в восторге, кому я читаю — Лида Алексеева, Таня Донат. А Таня была с нами в немецких лагерях, знает и любит того юного трагического Ваню, который *сжег* в барачной буржуйке *все* свои тетради со стихами! ("Все кончено, все погибло, Россия и искусство..."). А Люшка, как ты знаешь, на серой конопатой бумаге, карандашом (ручек не было) *все* восстановила... Лида Алексеева (сама не получает каталогов Камкина) сперла где-то брошюрку с твоей речью! Гордись! Даже на преступление люди идут!"

И там же — "А пенсионер-псаломщик, она же твоя Люшка, не вылазит из церкви. Утром и вечером всякий день службы и огромная нагрузка чтения на клиросе. Большое напряжение, но и большая радость."

24 июля 1974 г.: "Я написала семь новых стихотворений (с Пасхи!)". И 31 июля: "...Стихи, действительно, из Люшки полезли — наверное, Гуль удивится, а то у меня давно ничего не было... Теперь получился целый циклик — больше всего о моих детях и вокруг моих детей. Как хочется почитать их вам лично: друзьям всегда хочется самой прочесть".

Проведя два лета на "бесплатной даче" в Си-Клиффе, где она по два месяца сторожила дом своей бывшей сослуживицы, Люша снова решила побывать в Киеве, но собиралась туда без прежнего ликования. Оттуда она мне прислала открытку с изо-

бражением здания Академии Наук УССР, где я когда-то работала, а потом, в письме от 12 октября 1975 г. невесело рассказывала: "Киев, Киев! Радость наша и горе наше. Радость свидания с близкими и боль расставания. И чувство, что — не в последний ли раз еду? По-видимому, обостряется положение на всяких проверках и контролях. Уже в 73 г. на аэродроме четыре кагебешника трясли и выворачивали мою сумочку (ручную, дамскую). В этом году поехала немножко со страхом, была, конечно, архиосторожна в смысле содержания сумки и багажа. И вот, в ожидании самолета (в обратный путь) в киевском аэропорту, вижу — появляется "чин" в форме погранохраны, забирает мой паспорт и говорит: "Поднимитесь наверх и ждите меня там!" Время идет, люди с паспортами проходят через контроль, а я сижу без паспорта 10-20-30 минут. И думаю: "Ну все!" Мысленно прощаюсь со всеми: вот сейчас арестуют и ведь никто не вступится, очень интересно из-за меня портить детант! Просто Люшка исчезнет, как в трясине...

Через 35 минут чин появился: Возьмите паспорт, все в порядке. А вы в каком году приехали в США?" — "В 1950-м." — "А, в 1950-м! А я думал другое". — "А что же вы думали?" — "Я думал, вы позже приехали в США. (Этого я так и не поняла: он думал, что я из 3-ей эмиграции, что ли? Так кто же из третьей эмиграции так скоро едет опять в СССР?) — А, тогда совсем другая картина (лицо изображает сочувствие и благорасположение). Вы, значит, из тех, кого немцы забрали и бросили на произвол судьбы? Ах, судьба, судьба..." (Он чуть не прослезился!) Словом, это была изрядная игра на нервах. Думаю, что больше в Киев не поеду."

Люша больше не ездила в родные места. В присланном нам стихотворении "Дорога на аэродром" (1 окт. 1975 г., Борисполь) есть такие взволнованные строчки:

Город, тело мое, стань, обожди,
Город, горе мое, стань, не пускай!
На репейной, на полынной груди
Покачай меня, приспи, приласкай!
Город! С кожей отрываюсь и рвусь,
И ладони и колени в крови...

В апреле 1976 г. Люша писала: "Танюшенька, я так рада, что ты написала о "На юру". А 4 августа того же года пришло длинное "покаянное" письмо: "Я, как сумасшедшая, печатала для Вани "Тело Джона Брауна" (которое, может быть, удастся издать) — вышло 565 машинописных страниц! И я еще не поблагодарила тебя за прекрасную статью обо мне. Десятки людей говорили мне о ней и хвалили ее".

Напомню вкратце, что в отзыве на второй Люшин сборник, помещенном в воскресном номере "Нового Русского Слова" от 12 мая, я прежде всего остановилась на названии, которое могло вызвать недоумение у широкого читателя, т.к. мало кто уже знает или помнит, что редкое слово "юр" означает открытое, обычно возвышенное место, отовсюду видное, незащищенное от ветров. Выражение же "на юру" имеет значение "на виду у всех", а также употребляется для обозначения бойкого открытого места, где собирается много народу. Видимо, Ольга Анстей, поэт большой культуры, приняла во внимание все оттенки слова "юр", выбирая название для своей новой книги, очень разнообразной по содержанию и отражающей все стороны ее бытия: тут и жизнь на виду у всех, и душевная незащищенность от холодных ветров, и праздничная веселая толчея.

В своей статье я отмечала, что Анстей, пожалуй, единственная из русских зарубежных поэтов, чье творчество тесно связано с церковью. Я подчеркиваю — не только с религиозно-философским мировоззрением и верой в Бога, но именно *с церковью,* со службами в ней, со всем церковным обиходом. Целый раздел в сборнике называется "Паперть".

Вместе с тем, в поэзии Ольги Анстей заметна и другая струя — языческая, питаемая классической древностью, как например:

Это Пенноликая сама,
Это наша матерь Афродита.

Подчеркнула я и то, что при всей своей стихотворной умелости, Ольга Анстей нигде не щеголяет ею, язык сборника образен, красочен, но и благородно прост.

Продолжая письмо, Люша с легкой горечью отметила: "И это пока единственная рецензия на сборник! Произошел какой-

то комический инцидент с Глинкой. Звонит мне Гуль и говорит: "Я хочу попросить Ржевского написать о вас". А тут Глинка уже с неделю висел на телефоне, изливая восторги по поводу "На юру". Я говорю Гулю: "Да вот Глинка, кажется, рвется написать." — "А, отлично, я позвоню ему и предложу." Так он и сделал. Глинка тогда совершенно впал в лирический экстаз, уже не слезал с телефона, все просил каких-то "биографических пояснений" тех или других стихов. И ... вдруг исчез с телефона и с горизонта. Что сие означает — не знаю, но сейчас у меня нет энергии и сил выяснять это. Бог с ним!"

В августе 1978 г. Люша подробно рассказывала в письме о том, как она с дочерью и внучкой были в гостях у Елагиных в Вермонте, где Иван Елагин ежегодно преподавал в Русской летней школе: "Там прелестно — в своем роде: старинный "кампус" колледжа, парк со старыми деревьями, а сам университетский городок Миддлбери дышит особым очарованием Новой Англии — как-то все светло, ясно, много белых зданий, но это не слепящая белизна Юга, а особая прохладная ясность..."

7 августа 1979 г. Люша пишет с дачи в Си-Клиффе: "Слава Богу, "Ardis" издает Ванин перевод "Тела Джона Брауна", и как это радостно!. Я держу корректуру. Ребятки наши растут. Близнецы вообще душки... Но самая главная новость довольно потрясающая: мы всем скопом переезжаем в Лос Анджелес! И вероятно — довольно скоро. Я Лиле теперь здорово нужна (она начнет опять работать), так что *надо* мне ехать... Ты понимаешь, Танюшка, что мне очень нелегко дастся этот переезд: любимый Нью-Йорк, милая моя квартира, работа в церкви, да и Елагины не так далеко... Но что делать! Крутой поворот судьбы не впервой нам!"

В пасхальном поздравлении 1980 г. посланном уже из Лос Анджелеса, были не очень веселые строки: "На старости лет уже такая ломка тяжела, и очень много такого, что больно оставлять позади — в Нью Йорке (питтсбуржцев причисляя сюда). Но не буду скулить..." 30 апреля 1980 г. Люша радостно сообщает, что она "очень тепло встретилась с Лидой и Володей Марковыми". (Проф. В.Ф. Марков был другом Матвеевых еще по Германии, а также собратом по поэтическому творчеству). "На прошлой неделе ездила к ним, провела у них целый день. Очень своеобраз-

ный и привлекательный устроили они себе intérieur, сад свой обхаживают. Из фауны у них черепаха Машка (огромная, с большого кота), живущая у них больше 20 лет..."

В письме от 28 сентября 1980 г. были такие строки: "Я просто счастлива выходом из печати "Джона Брауна". Какую все-таки изумительную работу проделал Ваня! И конечно — навечный вклад в русскую литературу. Ты говоришь — как Бунинский "Гайавата"? А я скажу, Танюшка, как профессионал-переводчик, что "Гайавату"-то перевести — белые хорейчики, это, можно сказать, игрушки по сравнению с "Джоном Брауном". Эти все время меняющиеся размеры (и очень много — рифмованных!). Таня, это титанический труд. Я бы скорей это к переводам Жуковского приравняла.

Я дружу с Гаевскими, с Марковыми, с Гизетти. И все-таки Лос Анджелес я никогда не полюблю... Мерзейший город! Както без лица. Без воды. А океан? Да, но где же этот океан? Мы его и в глаза не видим. Потому и говорю — город без воды, и нам, ньюйоркчанам, привыкшим к двум огромным рекам, к докам с океанскими судами, к этим водным панорамам с великолепными мостами — очень здесь тошно... На-днях я еду в Питтсбург, а оттуда в Нью-Йорк!!!"

В письме, помеченном 16 марта 1981 г., Люша, ликуя, сообщала: "А я уже в Нью-Йорке! Страшно довольна. Нельзя сказать, чтоб погода была восхитительная, но мне легче дышится здесь, чем в Анджелесе. Воздух чище, вероятно потому, что Манхаттан всегда продувается сильным сквозняком. В общем, отдыхаю душой в своем городе. Бегаю утром и вечером в свою родную церквушу, читаю на клиросе. Живу у Наташи Лукканен, т.е. на той же своей 113-ой улице. С Лидой вижусь почти каждый день."

Мне уже давно стало ясно, что для Люши существуют только два Города с большой буквы (слившиеся в разделе ее второго сборника в "Город внизу") — Киев и Нью-Йорк. В них она могла *жить*, в других же— только *существовать*, неуемно тоскуя по своим городам.

Весной 1982 г. Люша писала: "Бегаю по своему любимому Нью-Йорку. Иногда остановишься, вдохнешь сырой ветер, неласковый воздух вдрызг холодной, мокрой нью-йоркской весны,

и всем существом ощутишь: — Господи, как хорошо! Я не в Лос Анджелесе! Не под конфетно-открыточным синим небом, не среди театральных кустов с розами, цветущими круглый год."

В прелестном стихотворении "Дорога из Нью-Йорка в Лос Анджелес" (*"Н.Ж."*, кн. 151) у Ольги Анстей были такие тоскующие строки.

...Уплывает рябью тучек и росою
И серебряно-белесой полосою

Наша майская до-дрожи-холодинка,
Осыпь капель, в белом лифчике калинка...

...Едем в край, где все как на картинке,
Нет у мая целомудренной заминки,

Заморозка нету спозаранья,
Раскрыванья нету, просыпанья...

В одном из следующих писем Люша признавалась: "Внутренне мне одиноко, конечно. Уж очень Левшины (семья дочери) далеко. Сама я за двухлетний "ordeal" Лос Анджелеса как-то одичала. В сущности, вожусь (от глагола не "возиться", а "водиться"!) я тут только с Лидой Алексеевой, и это, конечно, настоящий друг. Ну и с питтсбуржцами близость не порывается, и от них идет тепло... Живу в церковном доме на 108-ой, очень довольна уютной, недорогой и какой-то своеобразной квартиркой! Вы непременно должны у меня побывать, прямо ко мне приехать!".

В конце декабря 1982 г. Люша напоминает, что в Колорадо, куда она приехала навестить семью дочери, "узнала о смерти Бориса Нарциссова, которая была и останется большой болью для меня. Так тяжело это и так безвременно! Одно, за что благодарю Бога — это то, что мы с ним помирились — помните? — у вас".

Люша не раз бывала в живописных горах Колорадо и впечатления от тамошней природы стали темой двух прекрасных стихотворений Ольги Анстей — "Горная природа" и "Колорадская погода", напечатанных в кн. 154 "Нового Журнала".

На пасхальной открытке 1983 г., едва покончив с традиционными поздравлениями и добрыми пожеланиями, Люша

торопливо спрашивала: "Что это за Кашкаров в "Новом Журнале"? Откуда Гуль его достал? Читала вчера до трех ночи, не могла оторваться. [Речь здесь идет об "Исаакии и Евдокии", *Н.Ж.* кн. 150]. Как хорошо, какая дивная повесть-сказка! И смотрите, какой удивительный облик Евдокии: ведь она праведница, в сущности, святая. Всех любит, всех жалеет. А как природа увидена? И все это совершенно свое, самобытное. Можно бы ожидать подражания Ремизову (тема сказки, русского мифа в русской лесной, полевой природе). Но это непохоже на Ремизова. Это Кашкаров "сам по себе". Ах, как хорошо!"

В длинном письме от 19 августа 1983 г. Люша описывала свою длинную и приятную поездку в Колорадо: "В июне приехало в Нью-Йорк все мое семейство, а потом они взяли меня с собой, чтобы я провела у них лето, и покатили мы вшестером (трое нас, да трое кишаток) через минимум семь штатов на их большом "кэмпере"...

Места красивые, почти везде, на каждом привале было купанье, т.е. я имею в виду не только души и умывалки, а настоящее купанье, то в озере, то в речке, причем всюду отделены "зоны" для безопасного купанья детей, так что наши малыши наслаждались... Хочу подробнее рассказать вам, мои милые, о Колорадо: суровая, горная, лесная страна. Лес северный, строгий — ели, сосны, правда, попадаются целые рощи осин, причем осины тут более белоствольные, чем в России: у нас они серенькие, а тут я сперва думала, что это березы, но листочки не те. А берез почему-то совсем нет. Когда я тут в лесу, мне все кажется, что он похож на норвежский, Ибсеновский лес, и вот-вот увидишь Пер Гюнта и хижинку, которую он построил для Сольвейг. А уж тролли — они-то тут наверное водятся...

Речки тут горные, бурные, я раньше горных речек не знала: такие быстрины, такое стремительное теченье! Огромные серые камни образуют запруды и водопадики. Мы тут живем "по уши в природе", около крохотного городка, в единственной больничке которого работает Лиля. Живем в трейлере (но это очень поместительный и уютный домик, с верандой и пр.). Кругом — огромные деревья, заросли, шагах в ста — горная речка с немолчным шумом своего быстрого теченья. Но шум этот какой-то успокаивающий".

К "Татьяниному дню" 1984 года пришла карточка с уютным интерьером и котом на стуле, заставившая меня сразу же улыбнуться. Но прочтя ее, я похолодела: вслед за теплым поздравлением шли жуткие слова: "Я в больнице. У меня метастаз в мозг — вот как у о. Александра Шмемана. Тем не менее борется мой организм и мой удивительный врач Александер... Лилюша моя тут, и они все переезжают в Нью-Йорк!!! Бог помог найти квартиру."

И вот оно лежит передо мной, последнее письмо Люши, помеченное 14 авг. 1984 г.: "Простите, родные, что иногда какое-то безволие находит и ничего не лезет "из-под пера". Ведь погода совершенно жуткая! Кроме жары — эта духота и страшное давление, так что брожу как сонная муха. Но скулить я не собираюсь. Слава Богу, я чувствую себя лучше и крепче. Господь один знает, за что Он посылает мне эту милость.

Хожу много по улицам и паркам. Уже начала делать, что обычно, т.е. держать корректуру "Русского Возрождения", хотя не всегда это "возрождение" меня радует (идеологически). Самая главная моя радость — это мои внучатки. Они очень тянутся ко мне, просто трогательно. Когда я сломала себе ногу (в апреле) Лиля и Федя сейчас же забрали меня к себе и месяца два я была там. Вот тут-то я до хрипоты читала им вслух (по-русски). Малышки, конечно, не поспевают догнать Марьяну (одну из внучек), но рвутся к книге, и тут на помощь приходят спасительные "Бубенчики" — хорошая книжка Пожаровой. А Марьянка является часов в семь утра: "Будем читать?" И мы много с ней прочли: Гоголя, Жуковского, Андерсена. Я в следующий раз расскажу вам кое-какие курьезы".

Но "следующего раза" уже не было. Навестить Люшу мы не смогли — весь год я тяжело и мучительно болела, но неизменно писала ей, зная, что Лиля читает ей наши весточки. Теперь сведения поступали к нам от Елагиных и, в основном, от нежно любившей Люшу Лидии Алексеевой. Так, 18 декабря она писала: "Очень я огорчаюсь состоянием нашей Люши. Ее метастазы в мозгу все сильнее сказываются, она хуже видит и слышит, плохо различает время дня... Иногда мы с Люшей говорим по телефону, и она начинает совершенно нормально, но быстро устает и говорит: "Ну, пойду лягу!". Так больно терять такого человека!

Не знаю, пишет ли она еще Вам?"

Двадцатого января 1985 г. Лидия Алексеева горестно сообщала: "С Люшей уже почти нет связи. Она почти все время спит". В письме от 15 марта того же года: "Был день ее рождения и Лиля хотела, чтоб она его почувствовала. Люша, бедняжка, становится совсем беспомощной, как ребенок, и так за ней и надо смотреть. Но меня она узнала, и вообще, я думаю, она многое помнит, но не всегда приводит в логическую связь. Стала худенькой старушкой, и больно на нее смотреть. Она так была полна жизни прежде! Но хоть болей у нее пока нет".

Тридцатого мая 1985 г. зазвонил телефон и Лиля сказала: "Сегодня умерла мама. Ушла очень тихо и спокойно. Отец Александр читал отходную".

Вот и не стало многолетнего нашего друга, родного человека.

Разбирая ее письма, полученные на протяжении четверти века, я снова вижу Люшу живой, умной, талантливой, своеобразной, неповторимой... И грустно мне. Очень-очень грустно.

Т. Фесенко

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.И. ГУЧКОВА

ПУБЛИКАЦИЯ С. ЛЯНДЕРСА

Предлагаемые читателю мемуары написаны А.И. Гучковым, видным общественно-политическим деятелем последнего десятилетия России. Они охватывают период 1905-1917 годов и доводят повествование до момента отставки А.И. Гучкова с поста военного министра первого состава Временного правительства. Воспоминания были впервые опубликованы в парижской газете "Последние новости" в августе-сентябре 1936 г., вскоре после смерти А.И. Гучкова. Мемуары остались незавершенными. Продиктованные А.И. Гучковым в последние годы жизни, они были собраны и отредактированы по инициативе Н.А. Базили, потомственного русского дипломата. Н.А. Базили не использовал для публикации в "Последних новостях" всех имеющихся стенограмм воспоминаний, а ограничился лишь некоторыми отрывками, особо отмеченными самим А.И. Гучковым. Судя по всему, даже эти отрывки были газетой опубликованы не полностью. Публикация отрывков обрывается в "Последних новостях" неожиданно и без указания причины, О судьбе неопубликованной части мемуаров нам остается только догадываться.

Первое знакомство с царем

Я состоял на японской войне помощником главноуполномоченного Красного Креста при Манчжурской армии, а также уполномоченным города Москвы и комитета великой княгини Елизаветы Федоровны. Весной 1905 года, предчувствуя, что на фронте наступает продолжительное затишье, я решил поехать в

Москву, чтобы осведомиться о настроениях общественных кругов в это тревожное время. Зайдя в Государственную Думу, я узнал от секретаря думы Астрова, что я избран Думой членом съезда земских и городских деятелей. Съезд состоялся в апреле. Я был поражен нарастанием революционных настроений в земской среде, вызвавших откол более умеренных членов: графа Гейдена, Шипова, Стаховича и др. В эту группу умеренно-либерального центра вошел и я. На съезде видную роль играли Милюков, Петрункевич, Родичев, братья Долгоруковы, Челноков. С Милюковым мы скрестили шпаги на вопросе об автономии Польши. Я выступил против автономии. Я считал, что в политической автономии заинтересованы лишь высшие члены польского общества, ценя ее лишь как первый шаг к полному отделению Польши от России, а что большинство польского народа ни о какой автономии не думает. Поэтому я находил, что достаточно уравнять поляков в правах с другими русскими гражданами и ввести польские органы местного самоуправления, подобные тем, которые действуют в коренной России.

Моя позиция в польском вопросе, а равно мое участие в отколовшейся на съезде умеренной группе общественных деятелей, очевидно, произвели впечатление в высших сферах. Кроме того, государь лично был хорошо обо мне осведомлен, ибо я во время войны состоял в постоянной переписке по делам Красного Креста с сестрой императрицы, вел. кн. Елизаветой Феодоровной, которая, очевидно, показывала ему мои письма. Вот я и получил в мае 1905 года письмо из Петербурга с извещением, что государь желает меня видеть. Письмо это пришло как раз во время земско-городского съезда, выбравшего депутацию для представления царю пожеланий об установлении в России конституционного образа правления. В эту депутацию я не вошел, так как меня считали слишком правым.

В Петергофе я был принят государем и государыней, и беседовал с ними целый вечер, около 2 с пол. часов. Государь расспрашивал меня о Манчжурии. Я сделал ему доклад о работе Красного Креста и вообще о положении на фронте. Я не скрыл от государя своего мнения об ожидаемом мною полном поражении русских войск. А между тем, заключать мир в таких тяжелых условиях невозможно. Такого унижения России не только

революционные, но и патриотические круги общества не простят правительству и внутренняя смута еще больше разрастется. Единственным выходом из создавшегося положения является коренное изменение внутренней политики, которое могло бы воздействовать на настроение армии. "Я только что прибыл с земско-городского съезда, — говорил я, — где господствуют революционные настроения, постепенно расползающиеся по всей стране. Мне кажется, что Вашему Величеству надлежит сделать ответственный шаг: созвать Земский Собор. Не терять времени на выработку какого-либо сложного закона. Все группы населения — дворянство, городское население, крестьянство — имеют свои местные представительства. Пусть пошлют своих выборных людей в известной пропорции на Земский Собор. Если вы лично явитесь туда и скажете слова, которые должны быть сказаны, а именно, что в прошлом было сделано много ошибок, которые впредь не повторятся, но что сейчас не время делать реформы и что нужно прежде довести войну до конца, я убежден, Ваше Императорское Величество, что вам ответят взрывом энтузиазма, который передастся в армию. Перемену в настроении армии почувствует и наш противник — японцы. Они ведь находятся тоже в тяжелых условиях. Их силы тоже приходят к концу. Раз они убедятся, что наша армия воспрянула духом, не мы, а они будут искать мира... Ваше Величество, другого нет выхода из создавшегося положения".

Государь очень внимательно меня слушал и несколько раз говорил: "Да, вы правы".

Что касается государыни, то она во время нашей беседы задавала мне вопросы неполитического характера.

Прощаясь, я еще раз сказал государю: "Имейте в виду, Ваше Величество, что только таким шагом вы можете умиротворить страну". А затем посоветовал ему принять депутацию от земско-городского съезда, которую некоторые придворные советовали ему не принимать. Я пояснил ему, что депутация избрана съездом против желания его левых членов, которые не хотят примирения с исторической властью, а потому будут очень рады, если депутация не будет принята.

В этот же мой приезд в Петербург я несколько раз виделся с Петербургским генерал-губернатором, товарищем министра

внутренних дел Д.Ф. Треповым, который имел большое влияние на государя. Я с ним находился в добрых отношениях, завязавшихся, когда он был Московским градоначальником. Его я тоже убеждал в том, что государь должен принять депутацию. Не знаю, вследствие ли моих настояний, но депутация была принята государем. Депутация, несмотря на левизну съезда, состояла из приличных людей, и на приеме у государя входивший в нее кн. С.Н. Трубецкой сказал благородную и красивую речь.

Вообще я был чрезвычайно доволен своим разговором с государем, но уже на следующий день испытал некоторое разочарование.

В Петербург прибыл Московский городской голова Рукавишников, весьма почтенный общественный деятель консервативного образа мыслей. Он пользовался большим доверием в. кн. Сергея Александровича и его жены, которые обратили на него внимание государя. Прибыв в Петербург, Рукавишников сейчас же встретился со мной. Он сообщил мне, что вызван к государю для разговора об эвакуации больных и раненых, но уверен, что это только предлог и, что с ним хотят беседовать на другие темы. Поэтому он просил меня рассказать о моем разговоре с государем. Я исполнил его просьбу. Он придерживался противоположных мнений относительно происходящих событий: считал, что революционное движение в стране настолько грозно, что продолжение войны грозит России гибелью. Поэтому он был убежден в необходимости немедленного заключения мира во что бы то ни стало. Против моей мысли о созыве Земского Собора он тоже возражал, считая, что это поведет к еще большему развитию революционного движения.

Все эти мысли он затем изложил государю, о чем, вернувшись из Петергофа, тотчас мне передал.

— А государь что говорил? — спросил я его.

В ответ он улыбнулся не то горько, не то иронически:

Он сказал: "Вы совершенно правы. Так нужно поступить".

Участие в совещании для обсуждения избирательного закона в Государственную Думу

В начале декабря 1905 года в Петергофе было созвано совещание под председательством Николая II для обсуждения избирательного закона в Государственную Думу. На совещание были приглашены министры, несколько членов государственного совета и четыре независимых общественных деятеля: Председатель Московской губернской земской управы Д.Н. Шипов, гласный Петербургского земства барон Корф, предводитель дворянства Богородицкого уезда Тульской губернии, граф В.А. Бобринский и я.

Это была моя вторая встреча с государем. На этот раз встреча была официальная, но он все же сказал мне несколько ласковых слов.

Мы четверо являлись как бы экспертами от общественности и должны были высказать свое мнение о принципах, которые должны быть положены в основу избирательного закона. В наших мнениях мы не сходились. Бобринский и Корф были сторонниками представительства группового (сословно-классово-профессионального), а мы с Шиповым стояли за общенациональное представительство. Мы считали, что сословное представительство будет очень враждебно принято страной, которой прежде всего необходимо умиротворение. Вопроса о всеобщем избирательном праве не ставилось, да и мы считали необходимым некоторый имущественный ценз.

Накануне совещания мы с Шиповым были приглашены к председателю совета министров графу Витте. Он просил нас высказать свои взгляды на представительство. Выслушав нас, он сказал, что с нами вполне согласен и обещал поддерживать нашу точку зрения. А затем добавил в виде совета: "В числе аргументов, которые вы будете приводить на совещании, не указывайте на то, что Манифест 17 октября уже предрешает введение в России конституционного образа правления и что он связывает и ограничивает верховную власть". Очевидно, он знал, что государь себя попрежнему считает неограниченным монархом.

Возвращаясь от Витте домой, мы встретили бар. Корфа и гр. Бобринского, ехавших к нему по его приглашению. Мы рас-

сказали им нашу беседу с Витте и просили их передать нам содержание их беседы. Оказалось, что он не возражал и против их схемы избирательного закона и дал им тот же совет о том, как себя вести на Петергофском совещании. Очевидно, у самого Витте еще не было сложившегося мнения по этому важному вопросу.

На следующий день, на совещании, нам было представлено первым высказать свое мнение. Я говорил горячо и убежденно, доказывая, что сословные привилегии вызывают всеобщее осуждение и что если мы эти остатки прошлого закрепим в избирательном законе, то этим не создадим мира в населении, которое жаждет, как акта величайшей справедливости, уравнения в правах всех сословий. Неожиданно для меня Бобринский заявил, что я его переубедил, и присоединился к моему мнению. После нас высказалось еще несколько членов совещания, но мне запомнилась лишь речь П.Н. Дурново, который был тогда членом Государственного Совета. Он решительно возражал против самой идеи народного представительства. Говорил умно и резко. Он утверждал, что как бы ни был составлен избирательный закон, народное представительство не будет представлять народного и общественного настроения, что в Думу попадет преимущественно деревенская полуинтеллигенция — народные учителя, фельдшера и т.п. Между тем, руководя в течение многих лет департаментом полиции и будучи и в данное время в курсе дела, он знает, что в этих кругах в особенности увеличиваются революционные настроения. Сделавшись народными представителями, эти люди получат возможность укрепить свое вредное влияние на народные массы.

Вообще в выступлениях членов совещания я почувствовал большие колебания в отношении к решенному уже Манифестом 17 октября вопросу об учереждении Законодательной Думы. После нескольких речей общего содержания государь объявил перерыв заседания и пригласил нас завтракать. Перед завтраком ко мне подошел киевский генерал-губернатор граф А.П. Игнатьев. Он сказал мне, что долго колебался в вопросе о Государственной Думе, но что моя речь его убедила, так как ему кажется, что новое представительное учреждение можно построить по типу старых земских соборов и, таким образом, сохранить связь с на-

шим историческим прошлым.

Между тем земские соборы были совещательным представительством при самодержавных царях, а мы были приглашены обсуждать вопрос о выборах в Законодательную Думу, созываемую монархом, только что даровавшим России конституцию. Кроме того, соборы были представительством сословным, а вся моя речь сводилась к осуждению именно сословного представительства.

Все это свидетельствовало о полном непонимании членами совещания вопроса, который они были призваны обсудить и о нежелании их считаться с Манифестом 17 октября.

Государь молчал в течение всего завтрака. После завтрака нас, четверых общественных деятелей, поблагодарили и отпустили, так как на нас смотрели лишь как на экспертов, которые должны были высказать свои мнения, но не участвовать в обсуждении закона, которое происходило уже без нашего участия.

Переговоры о моем вступлении в состав совета министров

После усмирения декабрьского восстания в Москве и состоявшегося там бурного земско-городского съезда, я получил от графа Витте приглашение срочно прибыть в Петербург. Вместе со мной такие же приглашения получили Д.И. Шипов, М.А. Стахович и профессор философии права Киевского университета князь Е.Н. Трубецкой. Мы вместе явились в Зимний дворец, где в это время жил Витте, который заявил нам, что по поручению государя приглашает нас войти в состав его министерства. Мы дали свое принципиальное согласие, но, посоветовавшись между собою, поставили условие, что одновременно с этим вхождением в правительство оно должно установить общую программу ближайших реформ. Мы заявили Витте, что для успокоения общественного мнения недостаточно привлечь в состав правительства общественных деятелей, известных по своему прошлому. Наших имен для этого недостаточно. Нужны дела и наша собственная уверенность в том, что правительство взяло определенный курс политики.

В течение нескольких дней подряд мы ходили в Зимний дворец к Витте и обсуждали состав и программу предполагавшегося

министерства. По-видимому, наши программные требования не смутили Витте, который был готов на всевозможные уступки общественному мнению. Затруднения возникли при обсуждении личного состава. Витте предложил пятерым общественным деятелям — Шипову, Стаховичу, графу Гейдену, князю Трубецкому и мне — 5 министерских постов, но на наш вопрос о том, кто же намечается на самый ответственный пост министра внутренних дел, в руках которого сосредоточена вся внутренняя политика — взаимоотношение правительства и местного самоуправления, борьба с революционными партиями и пр., Витте несколько сконфуженно ответил, что его кандидатом является П.Н. Дурново, который тогда состоял товарищем министра внутренних дел, ведающим полицией. Дурново был известен как реакционер и имел весьма сомнительную моральную репутацию. Трудно было найти человека, который бы менее подходил к программе, указанной государем в Манифесте 17 октября и намерениям Витте обновить старый государственный срой. Мы решительно возражали против этой кандидатуры, и я сказал Витте: "Могу вас уверить, что впечатление, которое вы хотите создать, приглашая нас в свое министерство, будет начисто смыто, если мы согласимся вступить в состав министерства вместе с Дурново. Капитал, который вы хотите приобрести, призывая нас, будет немедленно растрачен, если на ответственном посту в нашем министерстве будет находиться решительный враг всякой общественности". Витте ответил, что Дурново держит в своих руках все нити борьбы с революцией. "Если государь в безопасности и жив, — добавил он, — если мы с вами может спокойно обсуждать вопросы о реконструкции власти, то только благодаря Дурново, так как его усилиями, главным образом, держится еще сильная власть".

После нескольких совещаний у Витте мы заявили, что категорически отказываемся от участия в правительстве совместно с Дурново. Все же Витте не хотел порывать переговоров и назначил еще одно совещаніе с нами, прося нас еще раз обдумать принятое нами решение.

В этот день ко мне случайно зашел брат моей жены, Зилотти, бывший в это время старшим адъютантом морского штаба и имевший большие связи в высших сферах Петербурга. Был он в

хороших отношениях и с графом Витте. Узнав от меня о шедших между нами и Витте переговорах, он отправился к нему и рассказал ему все слухи, ходившие в обществе о моральных качествах Дурново. Рассказал о разоблачениях левой прессы относительно каких-то сомнительных сделок, якобы совершенных Дурново при покупке правительством партии овса и о том, как в бытность свою директором департамента полиции, Дурново при помощи своих тайных агентов выкрал у одного из иностранных посланников любовную переписку с одной светской дамой, с которой находился в связи. Говорили, что за это Александр III уволил Дурново от должности, положив резолюцию на соответствующем донесении министра иностранных дел: "Убрать эту свинью в сенат". Витте немедленно вызвал к себе Рачковского, стоявшего во главе иностранной агентуры, и тот подтвердил, что, действительно, такая история имела место.Когда мы вечером явились к Витте, то на лестнице встретили выходившего от него Рачковского. Витте видимо был взволнован разговором с Рачковским и сказал нам: "Да, господа, вы, пожалуй, правы... Я решил отказаться от кандидатуры Дурново".

Однако, на следующее утро, когда мы приехали к Витте для продолжении переговоров, он заявил нам, что он вынужден вернуться к кандидатуре Дурново и, следовательно, приходится отказаться от нашего участия в правительстве. Очевидно, на него оказали воздействие.

В конце переговоров с Витте я был вызван к государю. Он сказал мне несколько любезных слов, но, касаясь вопроса о формировании министерства, заявил, что составить полуобщественный кабинет не удастся. Более обстоятельных разговоров он со мной на этот раз не вел.

Второй раз со мной вели переговоры о моем вступлении в министерство летом 1907 года, непосредственно после роспуска 2-ой Государственной Думы.

П.А. Столыпин, только что назначенный председателем совета министров, вызвал в Петербург меня и Н.Н. Львова. Львов в 1-ой Государственной Думе входил в состав кадетской партии, но было известно, что по ряду вопросов, и в частности по вопросу аграрному, он находится в правой оппозиции по отношению к ее большинству.

После роспуска 1-ой Думы он отказался подписать Выборгское воззвание, вышел из состава кадетской партии. Столыпин, в бытность свою Саратовским губернатором, был хорошо знаком с Н.Н. Львовым, который в это время был председателем Саратовской губернской земской управы, и относился к нему с большим доверием. Со мной он был мало знаком, но имел обо мне определенное представление. В частности, Столыпин был осведомлен о той позиции, которую я занял в партии октябристов, к которой принадлежал, по отношению к введенным военно-полевым судам для борьбы с эксцессами революции. Положение о военно-полевых судах было введено вскоре после подавления Московского восстания, в декабре 1905 года. Оно, конечно, не могло обойтись без эксцессов, ибо офицеры и солдаты, которых подстреливали мятежники из-за углов улиц и из окон, были озлоблены и безжалостно расстреливали на месте тех, кого захватывали с оружием в руках.

Как всегда в таких случаях бывает, попадались под расстрел иногда и невинные люди. И вот, введение военно-полевых судов при таких условиях вызвало с моей стороны полное одобрение. Я понимал, что во время гражданской войны власть должна прибегать к скорым и суровым репрессиям, производящим впечатление на население. Иначе она ослабит самое себя. Она не может ждать приговоров медленно работающего нормального судебного аппарата. Но вместе с тем она не может допустить анархических расстрелов без суда со стороны полицейских и воинских чинов. Мне и казалось, что военно-полевые суды, несмотря на все их несовершенство, быстро расправляясь с мятежниками, дают все-таки некоторую гарантию в том, что совершенно невинные люди не пострадают.

Не так отнеслось к военно-полевым судам русское общественное мнение. В газете "Новое Время" было напечатано интервью со мной по вопросу о военно-полевых судах, в котором излагалась моя точка зрения на этот вопрос. В этом интервью я высказал мысль, что необходимо суровыми мерами подавить революционное движение, мешающее осуществлению назревших либеральных реформ.

За это интервью я подвергся жесточайшей травле со стороны всей либеральной печати. Восстали против меня даже мои

партийные товарищи: Шипов, граф Гейден и Стахович. Шипов даже вышел из-за этого из октябристской партии, председателем которой я состоял. Стахович и граф Гейден резко на меня нападали, но из партии не вышли. Чрезвычайно характерный разговор у меня произошел с графом Гейденом. Гейден был несомненно человеком государственного масштаба, сам в свое время был чиновником, обладал инстинктом власти, чувством долга и ответственности. Этими качествами он отличался от большинства русских общественных деятелей. И все-таки во время нашего спора я спросил его, как бы он поступил, если бы был министром внутренних дел и получил телеграмму, например, о том, что на улицах Баку идет резня между армянами и татарами? Ведь такую резню иначе, как введя военное или осадное положение и предоставив действовать военным властям, прекратить нельзя... Что же он мне ответил на это? Конечно, согласился, что другого выхода нет, но добавил, что сам бы подал в отставку... Если даже граф Гейден проявлял такую дряблость, то что же говорить об остальных общественных деятелях. Поэтому я был проникнут недоверием к их государственным способностям и был противником парламентаризма.

Моя позиция в вопросе о военно-полевых судах создала мне в правящих кругах Петербурга репутацию человека энергичного, не боящегося ответственности перед общественным мнением, что и засвидетельствовал П.А. Столыпин. Познакомившись со мной в доме своего брата в день созыва 1-ой Государственной Думы, он заявил мне, что восхищался моим гражданским мужеством в защите столь непопулярной меры, как военно-полевые суды.

Итак, Столыпин обратился ко мне и к Н.Н. Львову, как к людям, ему известным, на поддержку которых он мог рассчитывать в своей политической деятельности.

Было лето 1907 года, когда мы с Н.Н. Львовым были приглашены Столыпиным на его министерскую дачу на Аптекарском острове, которая через несколько недель была разрушена взрывом при покушении на его жизнь. Столыпин предложил Н.Н. Львову пост министра земледелия, а мне — министра торговли и промышленности. При этом он изложил нам основания предполагавшейся им аграрной реформы, заключавшейся в за-

мене общинного крестьянского землевладения частным. Он придавал огромное значение насаждению мелкой и средней крестьянской собственности в России, но его преобразовательные планы шли дальше. Создав класс крепких крестьян-собственников, он предполагал затем приобщить их к культуре и самодеятельности введением волостного земства, усиленным расширением школьной сети, развитием мелиоративного кредита и т.д. Убеждая Львова стать во главе министерства земледелия, он говорил:

— Нет предела содействию и льготам, которые я готов предоставить крестьянству, чтобы вывести его на путь культурного развития. Я всячески хочу содействовать увеличению крестьянского землевладения и в этом отношении схожусь с кадетами. Я лишь отрицаю массовое принудительное отчуждение частновладельческих земель, и иду к намеченной цели не теми путями, которые намечены в кадетской программе...

Касаясь общих политических вопросов, Столыпин сказал мне, что не только дорожит нашим участием в правительстве, как лиц, к которым имеет доверие, но что считает правильным вообще вводить в правительство людей, не принадлежащих к бюрократии и убежден, что это произведет на общество благоприятное впечатление.

Так же, как в переговорах с Витте, мы заявили Столыпину, что даем свое принципиальное согласие, но при двух условиях. Во-первых, должна быть намечена определенная программа деятельности, которая связала бы всех членов объединенного кабинета и показала бы общественному мнению, что новое правительство ведет определенную политику, а, во-вторых, что в состав правительства должно быть включено, кроме нас двоих, еще несколько общественных деятелей. На этот раз о посте министра внутренних дел, который занимал сам Столыпин, не было речи. На пост министра юстиции я выдвинул кандидатуру А.Ф. Кони. Мне казалось, что это — крупнейший и тонкий юрист, один из виднейших судебных деятелей в период проведения в жизнь судебной реформы Александра II, человек неподкупной судейской честности, поставивший в новой России право выше часто нарушавшего его административного произвола, а его популярное имя привлечет симпатии к правительству в

общественных кругах. На пост министра народного просвещения я выдвинул профессора Виноградова. В свое время этот выдающийся ученый был проректором Московского университета. Когда министр народного просвещения ген. Ванновский издал приказ о принудительном зачислении в солдаты студентов, участвовавших в университетских беспорядках, Виноградов заявил резкий протест и, выйдя в отставку, уехал в Англию, где сейчас же получил кафедру в Оксфордском университете. Я хорошо был знаком с профессором Виноградовым, который разделял мои умеренно-либеральные политические взгляды. Кроме этих двух кандидатур, я выставил еще третью: графа Гейдена, которого еще Витте приглашал в предполагаемое министерство общественных деятелей.

Столыпин не возражал против этих трех кандидатов и, повидимому, заручился согласием государя. Но решительно отказался от составления связывавшей правительство программы, на которой мы настаивали, находя возможным предрешить лишь ее аграрную часть в духе намеченной ним реформы. По существу, он был прав, но программа была нужна для воздействия на общественное мнение, и мы продолжали на ней настаивать. Во время этих переговоров Столыпин сообщил нам, что государь желает лично переговорить со мной и Н.Н. Львовым.

Переговоры наши происходили в первые дни после роспуска 2-ой Думы. Время было тревожное. Опасались народных мятежей. В Кронштадте уже происходили беспорядки среди матросов Балтийского флота. Между тем, прибыв на аудиенцию в Петергоф, я был поражен царившим там спокойствием.

Государь сначала принял Львова и беседовал с ним больше часа. Столько же времени примерно длилась и моя беседа с государем. Он был совершенно спокоен и находился в благодушном настроении. Мне показалось, что он вполне был осведомлен о том, что происходило, но не отдавал себе отчета в серьезности положения. Как всегда, был очаровательно любезен, и сказал мне, что очень хотел бы меня видеть в составе нового министерства. Я выразил свое согласие, но затем высказал те же соображения, какие высказывал Столыпину: о необходимости для министерства объявить свою программу в особой министерской декларации. В числе пунктов программы был один, касавшийся

положения евреев в России. Я сказал государю примерно следующее:

— Лично я недолюбливаю евреев и нахожу, что было бы гораздо лучше, если бы их не было у нас. Но они нам даны историей, и мы должны с ними установить какие-то нормальные отношения, как бы мы к ним не относились. Между тем, все мероприятия для борьбы с еврейским засильем никуда не годятся. Казалось бы, что процентная норма, установленная для евреев в учебных заведениях, должна была бы оградить нас от засилия евреев в области духовной и умственной. А между тем в периодической печати евреи всесильны; художественная и театральная критика в их руках; адвокатура заполнена евреями, и т.д. Черта оседлости нисколько не мешает засилию евреев в торговле, промышленности и, в особенности, в банках. А между тем, она развращающим образом влияет на местную администрацию, содействуя неимоверному взяточничеству. Необходимо отменить как процентную норму в учебных заведениях, так и черту оседлости. Эти меры не дают результатов, вызывая вместе с тем сильное озлобление в еврейской среде, а отмена их произведет сильное и благоприятное впечатление на общественное мнение в России и во всем мире. Я считаю нужным все-таки сохранить некоторые ограничения по отношению к евреям: попрежнему не допускать их в состав офицерства, куда они, впрочем, особенно и не стремятся, и сохранить ограничение их права на приобретение земельной собственности вне городов. Это тоже их особенно не стеснит, ибо они меньше всего интересуются земледелием...

Я считал нужным сохранить эти ограничения, сознавая, что наша позиция в еврейском вопросе теряет моральную силу, но, с другой стороны, этим мы ослабляем противодействие со стороны влиятельных кругов, настроенных антисемитски.

Государь ответил мне на эту часть моей программы следующими словами:

— А не думаете ли вы, что такие меры расширения прав евреев могут вызвать сильное противодействие и повести к страшному всероссийскому еврейскому погрому? А кроме того, не будут ли они служить в пользу аргументации, что правительство ослабело?..

На остальные пункты программы он не возражал, но я ясно

видел, что, несмотря на ласковый тон его обращения со мной и, вероятно, искреннее желание ввести нас в состав правительства, он настолько был убежден в том, что революционная волна окончательно схлынула и настолько был уверен в безопасности своего престола, что находил совершенно излишним какое-либо обновление внутренней политики.

Вернулись мы из Петергофа уже ночью, и сейчас же отправились на дачу Столыпина, который ждал результатов нашей беседы с царем и просил к нему заехать.

Мы со Львовым были в очень печальном настроении духа. Он из своей беседы с государем, так же как и я, вынес впечатление, что государь себе совершенно не отдает отчета в положении страны и в настроениях народа и общества.

Столыпину мы прямо сказали, что в таких условиях мы считаем свое участие в правительстве совершенно бесполезным. Отказывался я от власти не из страха за себя, или из боязни ответственности. Я просто понимал, что в правительстве я буду совершенно бессилен. Между тем вне правительства передо мной стояла важная задача: организовать умеренно-либеральную группу, которая могла бы противопоставить себя хорошо уже организованным партиям с.-д., с.-р. и к.-д.

Столыпин был очень удручен нашим отказом. Помню, что он дал при этом очень пессимистическую характеристику государя и его окружения, а я ему на это ответил, что если надо спасать Россию, династию и самого государя, то нужно это делать помимо него, не считаясь с его желаниями, симпатиями и капризами.

Так закончились две неудачные попытки образовать министерство с участием общественных деятелей. Между этими двумя попытками была сделана еще третья, в период 1-ой Государственной Думы, но тогда в переговорах об образовании так называемого "кадетского министерства" я участия не принимал.

Третья Государственная Дума и ее комиссия государственной обороны

Осенью 1907 года произошли выборы в 3-ю Государственную Думу по измененному избирательному закону, благодаря

которому в Думе преобладающее влияние получили партии умеренные. Наиболее многочисленной (170 депутатов) была партия октябристов, в которой я состоял председателем. Абсолютного большинства мы, однако, не имели, и приходилось его создавать, чтобы наладить правильное сотрудничество Думы с правительством Столыпина. Это было необходимо для утверждения в России еще неокрепшего конституционного образа правления. Налево от нас находились прогрессисты с Н.Н. Львовым и Ефремовым во главе, кадеты, трудовики, с.-д., поляки и другие национальные группы. Из этих групп и партий я до известной степени мог рассчитывать на содействие прогрессистов, но это была партия маленькая и мало дисциплинированная, и сотрудничество с нею не дало бы прочного большинства. Пришлось это большинство искать в весьма многочисленном и бесформенном правом секторе Думы. Там было довольно много почтенных людей сравнительно умеренных взглядов, но руководящую роль играли крайние правые: Пуришкевич, Марков II и Замысловский, сторонники неограниченного самодержавия и притом люди весьма малопочтенные и негосударственные. Обсудив со Столыпиным создавшееся положение, мы решили сделать попытку произвести раскол в правом секторе Думы, выделив из него более умеренные элементы, которые могли бы оказать поддержку Столыпинскому министерству.

Мы обратились к члену думы П.Н. Балашову, предложив ему образовать из части правых депутатов умеренно-правую группу. Балашов, хотя мало подготовленный к роли лидера большой парламентской фракции, но человек благородный и порядочный, взялся за это дело и образовал весьма многочисленную фракцию под названием "умеренно-правых", или "националов". Эта комбинация лишила крайних реакционеров влияния в Государственной Думе, ибо "националисты" вместе с нами, "октябристами", имели абсолютное большинство голосов. Разница между этими двумя союзными фракциями заключается в том, что октябристы имели свою умеренно-либеральную программу и вели самостоятельную линию политики, националисты же во всем поддерживали Столыпина. Тем не менее, ввиду того, что и мы дорожили сохранением Столыпина во главе правительства, хотя и расходились с ним по некоторым вопросам,

наше сотрудничество с националистами, в общем, наладилось.

Вскоре после выборов в 3-ю Государственную Думу мой брат Николай, бывший тогда Московским городским головой, представлялся государю и государыне. На приеме государь сказал моему брату:

— Я узнал, что брат ваш выбран в Думу. Мы очень этому рады...

Значит, в это время, несмотря на мой отказ вступить в правительство, императорская чета еще ко мне благоволила. Но вскоре после этого отношение ко мне государя и его жены резко изменилось. Раздражение их против меня, перешедшее затем во вражду, началось в 1908 г. после моей думской речи по военному бюджету. Депутаты, собравшиеся в 3-ю Думу, еще находились под свежим впечатлением тяжелой для патриотического чувства и позорной для России войны с Японией. В числе их было много запасных офицеров, принимавших участие в ней и хорошо понимавших, что одной из причин поражения русской армии была плохая организация военного управления. Естественно, что у нас явилась мысль ближе познакомиться с ее дефектами и сделать попытку провести необходимые реформы.

В этих целях Дума образовала комиссию государственной обороны, которая выбрала меня своим председателем. Государь отнесся отрицательно к этому начинанию Государственной Думы. Во время войны было учреждено совещание по государственной обороне под председательством вел. князя Николая Николаевича, и государь выражал неудовольствие по поводу ненужного смешения функций этих двух учреждений. Не так отнесся к думской комиссии тогдашний военный министр, ген. Редигер, умный, образованный офицер и благородный человек, хотя если не совсем безвольный, то не отличавшийся особой отвагой в борьбе за те дела, которые он себе ставил. Для этого он нуждался в поддержке со стороны и обрадован был тем, что может ее найти в патриотически настроенной Думе. Он охотно раскрыл перед комиссией все дефекты военной организации и надеялся с нашей помощью отстоять нужные для дела кредиты.

Ознакомившись с делом, мы убедились, что необходимые реформы военного ведомства связаны не только с недостаточными средствами. Мы увидели, что на пути правильной поста-

новки дела усиления мощи нашей армии стоит одно существенное препятствие, а именно: участие в военном управлении великих князей, занимающих в нем крупные административные должности.

Во главе всей обороны страны стоял вел. князь Николай Николаевич. Через него проходили все общие вопросы военной обороны. Все начинания в этой области военного министра проходили через совет государственной обороны под его председательством, состоящий из им подобранных членов, преимущественно людей старых традиций и рутины, от которых трудно было добиться согласия на какое-либо необходимое новшество. Великий князь Константин Константинович стоял во главе военно-учебного ведомства; вел. кн. Сергей Михайлович — во главе артиллерийского; вел. князь Петр Николаевич — во главе военно-инженерного управления.

Хотя великие князья, кроме Николая Николаевича, были по занимаемым ими должностям формально подчинены военному министру, он не мог не считаться с их особым положением и отдавать им распоряжения, как другим своим подчиненным. Поэтому в военном ведомстве создалось положение, пагубное для дела многовластия, связанное с деловой путаницей, а иногда и с явными злоупотреблениями.

Я не стану обвинять в этом самих великих князей. Среди них были неплохие знатоки дела, как, например, Сергей Михайлович, но все они были окружены людьми совершенно неподходящими. Ибо каждый великий князь окружен был атмосферой лести и угодничества, которая была противна людям порядочным и чистым. Поэтому в ведомствах, подчиненных великим князьям, карьеру делали наихудшие элементы.

Ознакомившись с делом, я убедился, что никакие серьезные реформы в нем невозможны до тех пор, пока не будут реорганизованы верхи военного ведомства и пока военному министру не будет предоставлена свобода распоряжений и полнота управления, естественно связанные с полной ответственностью. Вместе с тем я ясно представлял себе, что в борьбе с этим злом я не найду себе открытых союзников среди министров и высших военных чинов. Поэтому я решился раскрыть его путем яркого публичного выступления в Государственной Думе. Для того,

чтобы не делать других ответственными за свой образ действий, я даже скрыл свое намерение от своего близкого товарища по партии, председателя Думы Хомякова..

Выступив в заседании Думы с речью в защиту сметы военного министерства и закончив деловую часть, я перешел к больному вопросу организации военного управления. Я указал на то, что перед нами в качестве одной из основных проблем стоит проблема восстановления мощи нашей армии, что Россия не может рисковать разгромом в будущей войне, а потому народное представительство готово решительно на все жертвы, необходимые для улучшения нашего военного положения. Но, сказал я, на жертвы должны быть готовы и люди, стоящие у власти. Необходим ряд реформ в военном деле, но осуществить их невозможно, пока главные отрасли его возглавляются безответственными людьми, окруженными безответственными помощниками. Тут я назвал поименно всех великих князей, стоявших во главе военных ведомств и обратился к ним с призывом принести в жертву насущной потребности возрождения нашей военной мощи свои мелкие интересы, свое самолюбие и славолюбие.

Все это я старался говорить возможно быстро, чтобы председатель не успел меня остановить. Но он не остановил меня, так как растерялся от неожиданности. Он просто закрыл заседание, когда я сошел с кафедры. Речь моя произвела потрясающее впечатление на Думу. Все депутаты взволновались. Помню, как в кулуарах ко мне подошел Милюков и взволнованно сказал мне: "Александр Иванович, что вы сделали? Ведь после этого Думу распустят". "Нет, — ответил я ему, — из-за этого Думу не распустят. Я уверен, что в этом вопросе армия и народ с нами. Поэтому на роспуск не решатся".

Так оно и случилось. Свою речь я произнес осенью 1908 года. В это время в Ревеле происходило свидание между Николаем II и Эдуардом VII, на котором присутствовал и Столыпин. Вернувшись оттуда, Столыпин сказал мне: "Что вы наделали! Государь возмущен вашей речью. Он говорил мне, что если вы имеете что-либо против участия великих князей в военном управлении, то могли бы все это высказать ему лично, а не выносить на публичную трибуну, да еще с поименным их пере-

числением". "По существу я с вами совершенно согласен, — добавил Столыпин, — да и самому государю приходила мысль об устранении великих князей с ответственных постов, но теперь, боюсь, что своей речью вы их только закрепили на их постах, так как государь не захочет создавать впечатления в обществе, что действует по вашей указке". Я ответил, что все это я обдумал заранее и с ним не согласен. Конечно, непосредственных результатов моя речь иметь не будет, но мысль о пагубности для военного дела безответственных руководителей в лице великих князей, впервые высказанная открыто, повлияет на общественное мнение самых широких кругов общества и в конце концов приведет к желательной цели.

Я действительно не ошибся. Через несколько месяцев были проведены очень серьезные реформы военного ведомства. Были учреждены рядом с начальниками главных управлений должности генерал-инспекторов, и великие князья были переведены на эти должности. Должности были весьма почетные. Инспекторы получили право контроля за действиями управлений сверху донизу, но право распоряжений от них было отнято.

Я добился своей цели, но окончательно подорвал симпатию к себе государя.

Дальнейшая моя работа в думской комиссии государственной обороны содействовала лишь увеличению неприязни его ко мне. Кружок моих единомышленников, вошедших в состав этой комиссии, поставил себе целью добросовестно изучить постановку военного дела в России. Все члены кружка были проникнуты большой симпатией к армии, вникая в ее нужды и стараясь по возможности их удовлетворить. Испрашиваемых кредитов мы почти никогда не урезывали, а скорее старались, в меру необходимости, их увеличить. Приступив к изучению дела, мы сразу же обнаружили большой и все растущий некомплект офицерского состава. Причиной этому было, во-первых, недавно понесенное армией поражение, повлиявшее на уменьшение престижа военного звания. Во-вторых, в среде русской интеллигенции вообще господствовало отрицательное отношение к военному ремеслу. В третьих, материальные условия, в какие было поставлено офицерство, были весьма неудовлетворительны, благодаря низким окладам жалования, а дворянство, которое

преимущественно поставляло офицеров в армию, обеднело.

Военный министр генерал Редигер установил хороший обычай приглашать к себе на чашку чая человек 5-6 членов нашей комиссии, которые несли на себе главную ее работу.

Вот на этих-то совещаниях мы и подняли вопрос об увеличении офицерских окладов. Мы предложили ему внести соответствующий законопроект от имени правительства, обещая свою поддержку, если бы министр финансов стал этому препятствовать. При этом мы посоветовали Редигеру, внося проект в совет министров, предупредить своих коллег о том, что если правительство его не внесет в Думу, то Дума воспользуется своим правом законодательной инициативы. Тогда правительство окажется в щекотливом положении перед армией, ибо обнаружится, что Дума заботится об улучшении ее нужд, а не правительство. Редигер воспользовался нашими советами, и вскоре по его инициативе был проведен закон об увеличении окладов содержания офицерам.

Постепенно у меня и моих коллег по комиссии государственной обороны заводились прочные связи в военно-морских кругах, благодаря которым наша работа шла все успешнее. В делах морского ведомства нам много помогал очень влиятельный во флоте адмирал Эссен, а по делам сухопутной армии большую помощь нам оказал генерал В.И. Гурко, с которым у меня с молодости лет завязалось близкое знакомство, когда я участвовал добровольцем в бурской войне, а он состоял там военным агентом от русского правительства.

Генерал Гурко, вернувшись с японской войны, был назначен председателем комиссии для составления ее истории. В комиссию он привлек отличный состав сотрудников из офицеров генерального штаба. Все это были хорошие военные специалисты и люди весьма порядочные. Мне явилась мысль использовать их для сотрудничества с членами нашей комиссии. Они охотно согласились, и мы стали регулярно собираться на частные совещания, на которых обсуждали текущие дела законодательной и сметной работы по военному ведомству и получали ценные сведения о его нуждах. Осведомленность наша благодаря этому возросла значительно и как в думской комиссии, так и в Думе мы могли с полным знанием дела противополагать на-

ше мнение мнению представителей военного ведомства.

Пока на посту военного министра находился генерал Редигер, дело шло гладко. Мы не стремились публично выдвигать инициативу Государственной Думы, а проводили все наши начинания в области улучшения постановки военного дела через военное министерство, которое от себя вносило инспирированные нами законопроекты в Государственную Думу, или, если вопрос не имел законодательного характера, от себя же делало соответствующие распоряжения. Только в редких случаях нам приходилось проводить те или иные увеличения кредитов на нужды армии, и это всегда вызывало неудовольствие в высших сферах, где находили, что Дума вмешивается не в свое дело и стремится привлечь к себе симпатии армии. Между тем мы сами об этом меньше всего думали. Если бы Редигер оставался на своем посту, вероятно, дело дальше такого скрытого неудовольствия Думой и не пошло бы. Но Редигеру пришлось уйти, и ушел он из-за меня.

Произошло это таким образом: в одной из своих речей, посвященных смете военного министерства, я указал, что после японской войны армия в общем подтянулась, в среде офицерства прежняя ленивая работа сменилась деловой, произведен ряд необходимых реформ, но высший командный состав армии плох попрежнему. В то время как в Германии для продвижения по службе на высшие посты необходимо иметь очень серьезный стаж, выполнить ряд сложных военных задач, доказать свое умение руководить маневрами и т.д., у нас назначение на высшие военные должности идет, главным образом, в порядке протекции, путем связей и влияний в высших и придворных кругах общества. А затем, переименовав всех наших начальников военных округов, предназначавшихся во время войны к руководству военными действиями, я отметил, что, кроме генерала Иванова, среди них не было людей, имевших какие-либо военные практические или теоретические заслуги. Редигер, которого я не предупредил, что так закончу свою речь, вынужден был признать правильность моей критики, но, защищая военное ведомство, употребил неловкое выражение, сказав: "Что делать, приходится пользоваться тем материалом, который мы находим".

Эта моя речь и неудачная реплика военного министра выз-

вали негодование государя. Редигер был уволен и на его место был назначен Сухомлинов.

Генерал Сухомлинов

Когда генерал Редигер был военным министром, генерал Сухомлинов был начальником главного управления генерального штаба, и всем было ясно, что он готовится занять место военного министра. О личности Сухомлинова ходили различные слухи. Одни хвалили его как человека умного, знающего военное дело, другие, наоборот, считали его легковесным и легкомысленным. Помню, как хорошо знавший Сухомлинова министр финансов Коковцов сказал мне при его назначении: "Это гусарский корнет, а не военный министр".

Вначале мне казалось, что у меня налаживаются с Сухомлиновым столь же дружеские отношения, какие сложились у меня с генералом Редигером. Но скоро пришлось разочароваться. Сухомлинов, исключительно человек карьеры, быстро ориентировался в политической обстановке. Вся его карьера строилась на благоволении государя. Россия и ее военная мощь его не интересовали. Только бы завоевать душу государя своим угодничеством и подлаживанием к его вкусам и прихотям. Он забавлял государя, создавая новые военные части, изобретая новые формы военной одежды, избегал серьезных докладов, которые могли бы показаться государю скучными, скрывал от него недостатки и недочеты военного управления и т.д. Быстро сообразив, что Государственная Дума и, в особенности, ее комиссия государственной обороны у государя не в фаворе, он принял по отношению к нам презрительный тон и даже перестал появляться в комиссии, посылая на ее заседания своих помощников. После отставки генерала Редигера я продолжал посещать сменившего его генерала Сухомлинова в его министерском кабинете и беседовал с ним на темы о преобразовании армии. Но во время первых же бесед, в которых он изложил мне целый ряд предполагавшихся им реформ, я ясно понял, что ничего у него не выйдет. В частности, он сказал мне, что неудовлетворен личным составом командования армией и системой его назначения, но что это вопрос весьма трудный и щекотливый, который

нужно отложить до завершения других реформ. Между тем для меня было совершенно ясно, что при данном составе командования никаких серьезных реформ проводить невозможно и нужно начинать запоздавшую реорганизацию армии с перемены ее личного состава. Тем не менее, комиссия государственной обороны старалась сохранить с Сухомлиновым добрые отношения и помогать в работе военному ведомству.

Вскоре, однако, мы убедились, что не только обновление состава командования отложено на неопределенное время, но и все текущие реформы идут вялым темпом, без определенного плана. В частности, нас очень тревожил вопрос о развитии русской военной промышленности. В этом направлении не делалось ничего и техническое оборудование армии происходило главным образом путем заказов заграничным заводам. Конечно, отказаться от таких заказов было нельзя, но, предвидя скорую возможность войны, необходимо было озаботиться развитием собственного производства. Во время моих заграничных поездок я беседовал с нашими военными агентами в Берлине и Вене и через них был хорошо осведомлен об энергичной подготовке к войне германского и австрийского военных ведомств, а между тем у нас делалось в этом направлении очень мало. Не раз мне приходилось говорить на эту тему с министром иностранных дел Сазоновым и с министром торговли и промышленности Тимашевым, ставя их в курс нашей опасной отсталости в подготовлениях к войне, а когда некоторое время я был председателем Думы и имел личные доклады у государя, то высказывал и ему свою тревогу. Он терпеливо выслушивал меня, но, очевидно, был уверен, что я просто свожу личные счеты с Сухомлиновым. А Сухомлинов, которому он больше доверял, чем мне, конечно, поддерживал в нем эту уверенность.

В конце концов я пришел в полное отчаяние от невозможности поставить при таких условиях дело государственной обороны на надлежащую высоту. Оставался еще один способ воздействия — резкая оппозиция и беспощадная критика. На этот путь, после долгих колебаний, мы с моими ближайшими сотрудниками по комиссии государственной обороны и решились встать.

Начали мы с резкой критики артиллерийского управления,

где дело было поставлено особенно плохо. Я составил обстоятельный доклад о дефектах в артиллерийском деле, который комиссия обороны поставила на обсуждение Думы. В результате Дума по смете главного артиллерийского управления приняла ряд резолюций, оканчивавшихся заключением, в котором было сказано, что это управление представляет опасность для государственной обороны страны. Так оно и было на самом деле. Практических результатов, однако, и эта резкая резолюция не достигла.

Помню весьма характерный эпизод, характеризующий отношение военного ведомства при Сухомлинове к вопросам, связанным с подготовкой к будущей войне. В конце одной из думских сессий, во время которой Дума отпустила большие кредиты на постройку новых железных дорог, я был у министра путей сообщения Рухлова. Это был хороший, дельный администратор. Я ему говорю: "Благодаря Государственной Думе и благодаря вам железнодорожное хозяйство приведено в порядок. Железнодорожная сеть развивается, а вместо прежнего дефицита железные дороги дают доходы. По-моему, наступило время употребить излишек доходов на подготовку железнодорожного транспорта для военных целей и удовлетворить требования, которые к вам предъявляет военное ведомство: расширение сети подъездных путей, оборудование станций, увеличение подвижного состава и пр.". Рухлов посмотрел на меня удивленно: "Какие требования? Нам никаких требований военное ведомство не предъявляет".

В то время как Сухомлинов забавлял царя игрой в солдатики, серьезные вопросы государственной обороны считались делом второстепенным...

Мои отношения с генералом Сухомлиновым окончательно испортились после разоблачения мною одного из близких ему людей, полковника Мясоедова. История этого дела такова.

Как раз в тот период времени, когда 3-я Государственная Дума ввиду все улучшавшегося финансового положения России с большой охотой и легкостью отпускала кредиты военному ведомству, это последнее внесло в Думу в срочном порядке законопроект об ассигновании нескольких миллионов рублей на секретные нужды, т.е. на увеличение средств шпионажа и контр-

шпионажа, которые были у нас поставлены весьма плохо. Это ассигнование прошло весьма гладко через комиссию государственной обороны, бюджетную комиссию и через общее собрание Государственной Думы. В это время я не был председателем Думы, но как председатель комиссии государственной обороны был подробно ознакомлен с этим делом представителями военного ведомства.

Вскоре после ассигнования Думой испрашивавшихся секретных сумм, ко мне приехал мой свойственник, В.С. Боткин. Это был офицер драгунского полка, неплохой человек, неудачник, пьяница и забулдыга. Так как он был братом близкого к царской семье лейб-медика, то Сухомлинов, всякими способами закреплявший свое положение при дворе, приблизил его к себе, назначив офицером для поручений при военном министре. Вот этот-то Боткин повел со мной конфиденциальный разговор. Он сообщил мне, что ассигнование, которое мы только что отпустили на организацию иностранного военного шпионажа, предназначается совсем не на этот предмет, а на организацию внутреннего политического сыска в русской армии.

Наблюдение за политическими течениями в армии существовало и раньше. Оно производилось штабами корпусов, которые сообщали секретные сведения в военное министерство по отделу главного штаба. Теперь решили создать особую сыскную организацию. Во всех военных округах стали образовывать особые отделы во главе с жандармскими офицерами, которые должны установить в армии целую сеть политического шпионажа. Руководство же всем делом возлагалось на особый сыскной орган при военном министерстве, во главе которого предполагалось поставить Мясоедова.

Далее Боткин рассказал мне о том, что этот Мясоедов служил жандармским офицером на пограничной станции Вержболово. Очень ловкий человек, он пользовался тем, что вся петербургская знать проезжает во время путешествий заграницу через эту станцию, оказывал высокопоставленным лицам разные мелкие услуги и благодаря этому завел хорошие связи. Однако, его слишком частые поездки в Германию навлекли на него подозрение органов нашей разведки и за ним было установлено наблюдение. Правда, изобличить его в тайных сношениях с немец-

ким штабом не удалось, но зато неожиданно его накрыли при провозе им через границу очень ценной контрабанды в собственном автомобиле, в котором для этой цели было устроено скрытое помещение. От суда Мясоедову удалось уйти благодаря петербургским связям, но все же его уволили в отставку. Вот этот-то отставной жандарм-контрабандист, подозревавшийся, кроме того, в шпионстве в пользу Германии, встретился на каком-то курорте с генералом Сухомлиновым. Особенно сдружились между собой их жены, а через жен и у них установились дружеские отношения.

Когда Сухомлинову потребовалось назначить кого-нибудь на пост руководителя политическим сыском в армии, его выбор остановился на Мясоедове. Такое назначение не могло, конечно, быть проведено без ведома министра внутренних дел, ведавшего всей полицией, Макарова. Макаров навел справки о Мясоедове и, узнав о его прошлом, дал о нем отрицательный отзыв. Но Сухомлинов вступился за своего протеже.

Он отправился к государю и, скрыв от него прошлое Мясоедова, испросил у него распоряжение о его назначении. Возражать против воли государя у Макарова не хватило мужества. Таким образом, этому человеку с преступным прошлым была вручена судьба всего русского офицерства. Вся эта история произошла в 1911 году, уже после убийства Столыпина в Киеве, где ему сооружался памятник. Под свежим впечатлением вышеприведенного рассказа Боткина, я отправился в Киев на открытие памятника. Со времени японской войны я завязал хорошие отношения с командующим Киевским военным округом, генералом Ивановым, и, заехав к нему, поделился с ним полученными мною сведениями о полковнике Мясоедове. Генерал Иванов совсем не был удивлен моим рассказом и сообщил мне еще более страшные сведения о военном министерстве. "Знаете, — сказал он мне, — наша киевская контрразведка открыла ужасные вещи: нам удается иногда перехватывать донесения, которые идут из Петербурга в Вену. Мы их фотографируем и посылаем дальше. Вот из этих донесений мне стало ясно, что все, происходящее в ближайшем окружении военного министра, вплоть до его разговоров с государем, известно австрийскому генеральному штабу. У нас нет данных, чтобы утверждать, что

передатчиком этих сведений является Мясоедов, но, во всяком случае, они исходят от близкого к Сухомлинову лица".

Вернувшись в Петербург, я сейчас же счел долгом все это передать председателю совета министров Коковцову. "Да, все это верно, — ответил он, — но вы не знаете худшего". — "Что же может быть хуже?". — "А вот что: глава австрийского шпионажа в Петербурге, некий Альтшилер, находится в интимной дружбе с военным министром и постоянно бывает запросто в его доме".

Я был поражен, что глава русского правительства, который не по сплетням, а из донесений полиции знает о шпионской организации в окружении военного министра, спокойно мне об этом рассказывает и не принимает никаких шагов для борьбы с этим злом.

Я стал наводить справки об Альтшилере и узнал следующее: Альтшилер был главой одной немецкой фирмы, распространявшей в России сельскохозяйственные машины. Эта специальность была очень удобна для организации шпионажа, так как фирма имела целый ряд разъездных агентов и, таким образом, составлялась целая сеть тайной агентуры.

Раньше, когда Сухомлинов командовал Киевским военным округом, Альтшилер находился в Киеве, а с переводом Сухомлинова в Петербург за ним переехал и Альтшилер. Мне передавали, что в Петербурге Альтшилер открыл негласную контору, занимавшуюся проведением различных дел в военном министерстве, конечно, за солидное вознаграждение. В кабинете Альтшилера, в котором он принимал посетителей, висел большой портрет Сухомлинова, который должен был свидетельствовать об их близких отношениях.

Так постепенно у меня скопился ряд сведений, достаточных для того, чтобы предпринять решительную борьбу против военного министра Сухомлинова. А тут я получаю при анонимном письме из Варшавы копию секретного циркуляра генерального штаба штабам военных округов. В нем генеральный штаб сообщает о создающейся при нем особой организации для наблюдения за политической благонадежностью офицерства. Эта организация будет посылать в штабы округов тайные сведения о неблагонадежных офицерах, которые запрещается не только пока-

зывать заинтересованным лицам, но и подвергать проверке. Эти сведения должны приниматься во внимание при аттестациях, связанных с повышениями по службе. Таким образом, карьера офицера ставилась в зависимость от тайных о нем сведний, неизвестно кем собранных и не подлежащих проверке.

Все это вместе взятое я решил использовать для запроса в Государственной Думе. Но я боялся скомпрометировать людей, дававших мне сведения, и, в частности, генерала Иванова, а потому решил начать дело окольным путем. Я обратился к редактору газеты "Вечернее Время" Борису Суворину. Я считал его патриотом и уверен был, что сведения, которые я ему сообщу, подействуют на его патриотические чувства. Я рассказал ему в общих чертах, что у нас очень неблагополучно в разведочном деле, что наши военные тайны становятся известными штабам наших предполагаемых противников, и что эти явления совпадают по времени с назначением на ответственный пост в военном министерстве человека, в свое время устраненного от службы за должностные преступления. В такой, примерно, форме появилась заметка в "Вечернем Времени", причем имени Мясоедова упомянуто не было. Эта заметка имела совершенно неожиданные и неприятные последствия. Мясоедов, встретив на скачках Суворина, потребовал от него извинений, а когда Суворин от этого отказался, ударил его.

Тогда я вызвал к себе сотрудника газеты "Новое Время" Ксюнина и дал ему интервью, в котором подтвердил правильность сведений, напечатанных в "Вечернем Времени", и заявил, что всю ответственность за них принимаю на себя. Одновременно я написал официальное письмо председателю комиссии государственной обороны кн. Шаховскому, прося его назначить закрытое заседание комиссии, в которой я намерен дать объяснения по всему этому делу.

Кн. Шаховской созвал комиссию, в заседание которой от военного ведомства явился сам Сухомлинов в сопровождении начальника канцелярии военного министра Янушкевича и генерала Ю.Н. Данилова, заведывавшего разведкой. Я изложил весь свой обвинительный материал, стараясь лишь скрыть источники моей информации. Сухомлинов имел совершенно растерянный вид. По поводу сведений, сообщенных мною об Альтшилере, он

просто заявил, что все это чистая фантастика. Отрицал он также существование особого отдела сыска с Мясоедовым во главе, но не мог отрицать ни прошлого Мясоедова, ни того, что он состоит при нем офицером для особых поручений. Что касается секретного циркуляра, разосланного по штабам военных округов, то сначала Сухомлинов пытался просто отрицать его существование. Тут я передал ему копию этого приказа и в резких выражениях стал осуждать создаваемую им в армии систему политического сыска. Я напомнил, что такой политический сыск был доведен до виртуозности в турецкой армии Абдул-Гамида, а к чему это привело — известно. Далее я развил мысль о том, что в 1905 году русское офицерство спасло Россию от анархии. Если бы его дисциплинированность хоть немного дрогнула, то деморализованная армия, возвращавшаяся из Манчжурии, могла бы натворить непоправимых бед. "И это самое русское офицерство вы отдаете под надзор человеку, оказавшемуся неподходящим даже в должности жандарма. Если вы, ваше превосходительство, думаете, что этим путем пресекают революционные настроения, вы жестоко ошибаетесь. Когда офицерство почувствует, в каких руках находится его судьба, то вы должны понимать, какие в его среде создадутся настроения".

Сухомлинов понял, что отрицать существование циркуляра невозможно, и стал уверять меня, что хотя он был издан, но не применялся.

— Я слишком хорошего мнения о дисциплине в вашем ведомстве, чтобы вам поверить, — возражал я ему.

Тогда, совсем сконфуженный, он пробормотал, что готов обещать, что циркуляр не будет применяться...

Мои разоблачения, очевидно доведенные до сведения государя, однако, никаких последствий не имели. Сухомлинов продолжал оставаться на своем посту и был уволен в отставку лишь во время великой войны, а австрийский шпион Альтшилер продолжал до объявления войны поддерживать с ним дружеские отношения. Что касается Мясоедова, то во время войны он состоял в контрразведке, но был обвинен в измене и повешен по приговору военнаго суда в Варшаве. Насколько правильно было выдвинутое против него обвинение, судить не могу.

Столыпин как государственный деятель

Столыпин создал себе историческое имя не только как победитель революционной анархии, терзавшей Россию в 1905-1906 годах и как председатель совета министров, пытавшийся постепенно превратить русскую самодержавную монархию в конституционную, но больше всего как инициатор крупнейшей земельной реформы, которая, превратив крестьян в мелких земельных собственников, обещала создать из них прочную опору русской государственности.

Столыпин был помещиком Саратовской губернии, вел свое хозяйство и хорошо знал хозяйство крестьянское. Многое ему дала служба на посту гродненского губернатора. В Гродненской губернии не было земских учреждений, и местным губернаторам приходилось близко вникать в хозяйственную жизнь. Умный и просвещенный человек, он давно задумывался над безотрадным состоянием русской деревни и приходил к выводу, что низкое состояние уровня сельскохозяйственной и общей культуры крестьянского населения зависит, главным образом, от того, что земля не принадлежит крестьянам на праве частной собственности. Понимал он также, что Россия не может стать сильным государством до тех пор, пока главная часть ее населения — крестьяне — не заинтересована в охране своей частной собственности, а следовательно, и того государственного порядка, который ее им гарантирует. Революция 1905 года с ее аграрными эксцессами еще более укрепила его в этой мысли. Он окончательно проникся мыслью, что такое государство, как Россия, прежде всего нуждается в создании класса зажиточных крестьян-собственников. Он понимал, что интересы помещиков от этого могут пострадать, ибо предложение труда в деревне уменьшится. Он говорил: "Пусть помещики перестроят свое хозяйство, это их дело". И вот, когда он принял впервые государственную власть в свои руки, он решил употребить все усилия, чтобы провести в жизнь давно задуманную аграрную реформу.

Выше я уже упоминал, как, сделавшись председателем совета министров и ведя со мною, Н.Н. Львовым и Д.Н. Шиповым переговоры о нашем вступлении в правительство, он развивал перед нами свой план земельной реформы, связанный с целым

рядом предположенных им законов и мероприятий в целях поднятия хозяйственного и культурного уровня созданного им крестьянина-собственника.

"Если нам эта земельная реформа не удастся, то всех нас надо гнать помелом с наших постов", — говорил он нам, с увлечением развертывая перед нами обширные планы своих преобразований.

Таким образом, земельная реформа была в общих чертах намечена Столыпиным давно. Но ее проектирование и разработка принадлежат, главным образом, В.И. Гурко, который, будучи товарищем министра внутренних дел, всецело посвятил себя этому делу, и под его руководством составил законопроект, ставший законом в порядке 87-ой статьи после роспуска 2-ой Государственной Думы.

Благодаря этому закону частная крестьянская земельная собственность сделала в России большие успехи. Столыпин не жалел средств для ее укрепления и для увеличения благосостояния этого нового, созданного им класса. Содействовал развитию мелкого кредита, содержал целую армию землеустроителей, землемеров и агрономов, отпускал крупные суммы на нужды народного образования. Наконец, выступил с проектом создания близкого к крестьянам волостного земства в целях подъема социального уровня крестьян и в подготовке их к самоуправлению в пределах, доступных их разумению. Волостное бессословное земство давно являлось одним из требований левых кругов русского общества. Столыпин в законопроекте, внесенном им в 3-ю Государственную Думу, пошел этим требованиям навстречу, но, допустив в нем участие всех классов населения, проживающих в волости, построил его на избирательном праве, охраняющем зажиточное меньшинство от подавления его крестьянской массой. Этот законопроект вызвал сильные нападки и слева и справа. Слева считали его недостаточно демократичным, справа — были вообще против самоуправления и его расширения. В Думе, однако, благодаря стараниям нашей партии, он получил нужное большинство и перешел в следующую законодательную инстанцию — государственный совет. При жизни Столыпина он, однако, не успел попасть на обсуждение государственного совета. А после его смерти уже никто не был

заинтересован в его проведении в жизнь. Так и остался он лежать под спудом, а волостное земство появилось на свет лишь после революции 1917 года и просуществовало несколько месяцев до упразднения его большевиками.

Государственное творчество, которому с увлечением отдался Столипин, не всегда, вследствие его волевого темперамента, укладывалось в формы того конституционного режима, укрепить который он поставил целью своего управления. Он нарушал эти формы и, таким образом, сам расшатывал тот государственный порядок, который пытался защищать от натиска реакции, прочно обосновавшейся вокруг императорского трона. В этом отношении характерный эпизод произошел при прохождении через законодательные палаты законопроекта о введениии земских учреждений в губерниях Западного края. Законопроект этот был, несомненно, либеральным. Благодаря ему впервые иноплеменники, населявшие русские окраины, получали право участия в местном самоуправлении. Но просто распространить положение о земских учреждениях на западные губернии было совершенно невозможно.

Земский избирательный закон 1890 года, действовавший в центральных губерниях предоставлял огромные преимущества крупным землевладельцам-дворянам, которые имели абсолютное большинство в земских собраниях. При механическом распространении этого закона на Западный край, в котором крупные землевладельцы-дворяне принадлежали "преимущественно" к польской национальности, это национальное меньшинство населения сделалось бы хозяином земского дела. Поэтому Столыпин в своем законопроекте, во-первых, упразднил сословный характер выборов и, во-вторых, разделил избирателей по национальным куриям, предоставив полякам ограниченное число мест в земских собраниях.

В Думе этот законопроект прошел довольно гладко, несмотря на сопротивление левой ее части, вообще отрицавшей цензовую и куриальную систему выборов. Зато в государственном совете в оппозиции оказалась правая его часть. Правые вообще были против всякого самоуправления, и для того, чтобы сделать законопроект неприемлемым для правительства, сгруппировали в государственном совете большинство, отвергшее куриальную

систему выборов. Лидерами крайних правых были члены совета по назначению В.Ф. Трепов и П.Н. Дурново, которые во время прохождения законопроекта были приняты государем в отдельной аудиенции. По всем вероятиям, государь с их мнением согласился, и они действовали с его благословения. Само собою разумеется, что Столыпин при таких условиях не мог оставаться во главе правительства и немедленно подал в отставку, которая, однако, государем не была принята.

Столыпин согласился остаться, но поставил при этом государю два условия: во-первых, государь должен был обещать, что при составлении на предстоящий год списков присутствующих в государственном совете членов Трепов и Дурново в них не будут включены, а пока им будет приказано взять продолжительный отпуск. Во-вторых, государь должен издать указ о роспуске Думы и государственного совета на три дня, в течение которых правительство введет закон о западном земстве в порядке 87-ой статьи основных законов, дававшей ему право в случае крайней необходимости издавать временные законы в промежутке между сессиями законодательных палат. Государь, застигнутый врасплох таким требованием Столыпина и не имевший решимости заменить его другим премьером, согласился на поставленные им условия и законопроект в том виде, в каком он прошел через Государственную Думу, стал законом.

Этим актом Столыпин восстановил против себя все русское общество. Левые и центр возмущались грубым обходом конституции, правые негодовали на него за расправу с их лидерами в государственном совете. Я в это время был председателем Думы и, несмотря на мои добрые отношения со Столыпиным, должен был отгородиться от него каким-либо актом протеста против нарушения им прав парламента. Форма протеста, доступная в моем положении, заключалась в отказе от должности председателя Думы. Это было необходимо, чтобы меня и всю партию октябристов, которую я возглавлял и которая всецело поддерживала Столыпина при проведении закона о западном земстве, не заподозрили в одобрении его явно неправомерных действий.

Столыпин очень удивился моей отставке. Он не понимал ее смысла, так как закон был издан в том виде, в каком он прошел через Думу. Я ответил ему, что он, во-первых, нанес удар нашей

еще неокрепшей конституции, во-вторых, расправившись с членами государственного совета, голосовавшими против правительства, он дискредитировал государственный совет как законодательное учреждение, в котором все члены должны иметь независимые суждения, а в третьих — и это главное — что он совершил над самим собой политическое харакири, и что ему неизбежно придется скоро уйти со своего поста.

Мне это сразу стало ясно, ибо я понимал, что, нажив себе много врагов в различных слоях общества, он лишился и поддержки государя, который не сможет ему простить насилия над своей волей.

Сложив с себя полномочия председателя Думы, я взял отпуск и отправился по поручению Красного Креста на Дальний Восток, чтобы принять участие в борьбе с чумной эпидемией, вспыхнувшей в Манчжурии на территории русских колоний. Вернулся я из своего путешествия в Петербург летом 1911 года, за несколько дней до трагической смерти Столыпина. Узнав о моем приезде, он пригласил меня обедать на свою летнюю дачу на Елагином острове. Он был в очень сумрачном настроении духа. У меня создалось впечатление, что он все больше и больше сознает свое бессилие в борьбе с безответственными придворными влияниями.

С горечью рассказывал он мне о том, как поддерживаемый царем монах-изувер Илиодор ведет опасную черносотенную пропаганду в Саратовской губернии, не подчиняясь законным распоряжениям местного губернатора и тем подрывая престиж государственной власти. Обо всем этом он говорил в мрачных тонах, совершенно несвойственных его энергичной натуре. По всему было видно, что в нем созревало решение уйти от власти.

Через несколько дней из Киева, куда Столыпин поехал на открытие памятника императору Александру II, пришла весть о том, что он стал жертвой террористического акта и тяжело ранен. Я послал ему икону, которую он успел получить, но, приехав через два дня в Киев, застал его уже в гробу.

Киевский генерал-губернатор Ф.Ф. Трепов рассказал мне об обстоятельствах, при которых Столыпин был убит. Все дело охраны на время киевских торжеств было изъято из рук местных властей и передано целиком товарищу министра внутренних дел

Курлову и заведывавшему дворцовой охраной полковнику Спиридовичу. По наблюдениям Трепова, они заботились о безопасности исключительно царской семьи, а Столыпин, несмотря на то, что революционеры постоянно подготовляли покушения на его жизнь, был ими оставлен вне охраны. Трепов мне не высказал определенных подозрений, но из его рассказа я понял, что он, так же как и я, подозревал, что если лица, стоявшие во главе охраны, не организовали сами покушения на жизнь Столыпина, то, во всяком случае, ему не препятствовали. Чрезвычайно было подозрительно, что убийцей Столыпина оказался агент охранного отделения Богров, которого поторопились повесить до приезда в Киев сенатора Трусевича, который был командирован туда для расследования дела. Трусевич, вернувшись в Петербург, рассказал мне о своих впечатлениях, и они еще больше укрепили мое подозрение.

Тогда я предъявил в Государственной Думе правительству запрос, формулировав его заключительную часть приблизительно следующим образом: "Известно ли правительству, что были допущены неправильные действия, последствием каковых явилось убийство Столыпина?". В своей речи я прямо сказал, что мы имеем дело не просто с небрежностью при исполнении обязанностей, а прямо с попустительством, и назвал всех лиц, которых обвинял: Курлова, полковника Спиридовича, жандармского ротмистра Веригина, ведавших политической охраной во время убийства. После моей речи полковник Спиридович подал рапорт по начальству, в котором говорил, что я нанес ему оскорбление и что он просит разрешения вызвать меня на дуэль или иным способом оградить его честь от посягательств с моей стороны. Правящие круги не склонны были раздувать эту историю, и Спиридовичу было приказано сидеть смирно. На мой запрос, принятый Думой, тоже ответа не последовало.

До сих пор я склонен думать, что убийство Столыпина произошло, во всяком случае, при попустительстве высокопоставленных лиц. Не знали, как отделаться от Столыпина. Просто удалить его без серьезного повода не решались. Одно время предполагалось создать для него высокий пост восточно-сибирского наместника, но почему-то от этой мысли отказались. Между тем врагов у Столыпина среди чиновников и придворных бы-

ло много. А тут еще он назначил ревизию секретных фондов департамента полиции. Так как революционеры в это время пытались организовать ряд покушений на его жизнь, то и решили, что можно не мешать...

Вернувшись с Дальнего Востока, я узнал, что подготовляется покушение на Столыпина со стороны финляндских националистов. Имея по этому поводу конкретные данные, я счел своим долгом, несмотря на свое нерасположение к Курлову, ему их сообщить и при этом сказал ему, что покушение возможно при поездке Столыпина в Киев. Думал предупредить об этом самого Столыпина, но не решился, т.к. не хотел его тревожить. Впрочем, Столыпин сам предчувствовал грозившую ему опасность. Впоследствии я узнал, что он говорил члену думы Шульгину: "Вы увидите, меня убьют, и убьют чины охраны."

После убийства Столыпина у меня впервые появилось недружелюбное чувство по отношению к государю. Государь даже не остался на похороны Столыпина и уехал из Киева сначала в Чернигов, а потом в Крым. Особенно больно кольнуло меня то, что я услышал от Коковцева. Уезжая из Киева, на вокзале государь подошел к провожавшему его Коковцеву и сказал ему, что назначает его председателем совета министров. Столыпин еще не похоронен, а заместитель ему уже назначается. Так лавочку не передают своему приказчику, как государь передавал Коковцеву Россию... Уже в качестве премьера Коковцев едет в Крым для своего первого доклада. А государь встречает его такими словами: "Я слышал, Владимир Николаевич, как вы себя окружили, как вы повели дело с первых дней. Я очень рад, что вы не делаете того, что делал покойный Столыпин, который всегда меня заслонял".

Коковцев не питал особенно дружественных чувств к Столыпину, но все-таки у него вырвалась фраза: "Ваше Величество, покойный Петр Аркадьевич не заслонял Вас, он умер за Вас". А государь упрямо повторил: "Он заслонял меня... Мне надоело читать каждый день в газетах о том, что делает и что собирается делать председатель совета министров".

Меня крайне возмутил этот рассказ Коковцева. Столыпин, в противоположность многим другим министрам, всячески оберегал личность государя. Я был близок со Столыпиным, и все-

таки, даже в наших дружеских откровенных беседах, он никогда не позволял себе слова осуждения по отношению к государю. Никогда не передавал никаких фактов, могущих характеризовать его с дурной стороны. Наоборот, он часто свои собственные хорошие действия приписывал государю и всячески старался сделать его популярным. Припоминается мне такой эпизод: в Полтаве происходили торжества по поводу Полтавской битвы. Столыпину пришла мысль поставить государя в центр организуемого народного празднества. На это празднество были выписаны из всей Полтавской губернии волостные старшины, для помещения которых под Полтавой был выстроен целый лагерь. Столыпин решил воспользоваться этим случаем, чтобы свести государя непосредственно с этими представителями крестьян. И он предложил государю съездить в этот лагерь. Государь согласился, несмотря на протесты церемониальной части, возражавшей против поездки, не предусмотренной программой торжества. Государь долго разговаривал со старшинами, которые были бесконечно счастливы тем, что могут общаться непосредственно со своим царем. И государь был счастлив посреди этих простых людей, окружавших его атмосферой обожания. Он расспрашивал их об их деревенской жизни, и они давали ему ответы весьма тактичные, и никто не обращался к царю с какой-либо личной просьбой. Наконец, обойдя всех старшин и поговорив с ними, государь сказал: "Я, кажется, пробыл здесь минут 20 и задержался дольше, чем нужно было по программе". Столыпин посмотрел на часы и ответил: "Вы провели здесь ровно два часа, Ваше Императорское Величество".

Непривычная беседа с мужиками так увлекла государя, что он не заметил времени. Еще один эпизод: в период 3-ей Думы министром народного просвещения был Кауфман, человек, мало соответствовавший посту, который он занимал. Времена были трудные. В средней и высшей школе чувствовалось еще разрушающее влияние революции. Нужно было привести школу в порядок. И вот вместо Кауфмана с этой целью был назначен министром народного просвещения профессор Шварц. Это был хороший педагог, знающий свое дело, но большой формалист. Восстанавливая в университетах порядки, основанные на действующих законах, он обнаружил, что в революционные годы, во-

преки закону, в университеты было принято в качестве студентов около 800 женщин и девушек. Из них многие уже не первый год учились в университетах, а некоторые бросили учение в заграничных высших школах и приехали на родину заканчивать свое образование. Шварц решил восстановить законность и издал циркуляр об увольнении всех учащихся женщин из университетов. Известие об этом циркуляре произвело сенсацию среди депутатов Думы. Я видел, как радовались левые: представлялся случай дискредитировать правительство. Зная, что левые собираются предъявить запрос по поводу этого и что подписи под запросом собирает лидер с.-д. партии Чхеидзе, я решил переговорить с ним. К некоторым из левых депутатов я относился терпимо, но Чхеидзе не любил за его ненависть к буржуазному строю, к русскому народу и к России вообще. Пришлось все-таки обратиться к нему. Я сказал ему: "Я хочу верить, что вы по существу принимаете к сердцу судьбу изгоняемых из университетов девушек. Поэтому прошу вас повременить дня 2-3 с вашим запросом и дать мне возможность иным путем помочь им. Ведь запросом вы им не поможете, а скорее ухудшите их положение". К моему удивлению, Чхеидзе согласился с моим предложением. Тогда я взял с собой председателя комиссии народного образования, депутата Анрепа, и отправился с ним к Столыпину. Столыпин был не в курсе дела, но, ознакомившись с ним, ответил нам, что сделать ничего не может, ибо Шварц действует на основании закона. Мы признали, что незаконность имеется налицо, но что за нарушение закона можно карать лицо, его преступившее — прежнего министра народного просвещения, попечителей округов, ректоров университетов, но нельзя же карать наименее повинных в этом деле студенток. В конце концов Столыпин обещал нам подумать над этим вопросом. Между тем учащиеся девушки волновались. Депутации от них обходили всех видных политических деятелей, прося у них защиты. Приходила такая депутация и ко мне. Я взял с них обещание вести себя смирно, ни к кому больше не ходить и ждать результатов предпринятых нами шагов. Если нам не удастся ничего для них сделать, пусть действуют, как хотят.

Через два дня меня вызывают к телефону. Слышу веселый голос Столыпина: "Все налажено, А. И., государь отдал личное

распоряжение, чтобы студенток не исключали из университетов. Заезжайте ко мне, и я раскажу кое-какие подробности".

Когда я к нему заехал, он передал мне следующий свой разговор с царем. Изложив государю положение дела и сообщив, что 800 студенток без всякой вины изгоняются из университетов, Столыпин добавил: "Министр Шварц ничего сделать не может, он должен применять закон. Но, Ваше Величество, он говорит, что есть одна инстанция, которая может творить правду, становясь выше всяких законов". Государь улыбнулся и спросил: "Вы имеете меня в виду?". — "Да, Ваше Величество", — ответил Столыпин.

Передавая мне этот свой разговор с царем, Столыпин весело улыбаясь, сказал: "Если вас будут спрашивать студентки, как это произошло, объясните им, что правительство ничего не могло сделать, а та милость, которая им оказывается, — милость государя императора".

Так любовно-бережно относился Столыпин к своему монарху. Но Столыпин был крупным государственным деятелем и властным чиновником, а потому, вопреки собственному желанию, сосредоточивал на себе внимание не только русского общества, но и иностранцев. Это раздражало самолюбивого царя, который не мог не подчиняться воле своего премьер-министра, но постоянно чувствовал свое самолюбие уязвленным тем, что Столыпин его "заслонял".

Недружелюбно-ревнивое отношение к Столыпину государь испытывал еще задолго до его трагической смерти. Адмирал Нилов, присутствовавший при свидании государя с королем Эдуардом в Ревеле в 1908 году, рассказывал мне, что король Эдуард очень интересовался Столыпиным и постоянно беседовал с ним. Об этом свидании много писалось в английских газетах, и во всех статьях упоминалось имя Столыпина, а многочисленные фотографии изображали крупную фигуру Столыпина в беседах с королем Эдуардом. О Николае II писали гораздо меньше. Придворные интриганы подсовывали эти статьи и фотографии государю, который очень был недоволен тем, что Столыпин все время на первом месте. С этого времени недружелюбие государя увеличилось и если бы Столыпин не был убит, он был бы уволен в отставку.

(окончание следует)

ИЗ ДНЕВНИКА гр. Е.Н. РАЗУМОВСКОЙ

ПУБЛИКАЦИЯ гр. М. РАЗУМОВСКОЙ

Когда в ноябре 1918 года князь Николай Николаевич Сайн-Витгенштейн со своей семьей перешел мост через Днестр между Могилевым-Подольским и поселком Атаки в Бессарабии, чтобы "на несколько дней" спрятаться от петлюровцев, его 23-летняя дочь Катя захватила с собой в чемоданчике вторую, третью и четвертую тетради своего дневника. Перевод этого дневника вышел в 1984 г. на немецком языке в Берлинском издательстве В.Й. Зидлер.

Род Сайн-Витгенштейн — немецкого происхождения. Самостоятельное графство Сайн-Витгенштейн существовало с 1352 г. и до Наполеоновских времен. В 1762 г. граф Христиан-Людвиг-Казимир вступил в русскую военную службу и умер в 1797 г. в чине генерал-лейтенанта. Его сын Петр-Людвиг-Адольф, знаменитый Петр Христианович, родившийся уже во Владимирской губернии и чувствовавший себя совершенно русским, сделал блестящую военную карьеру; он был одним из полководцев во время Отечественной войны 1812 г., впоследствии — фельдмаршалом и главнокомандующим русскими войсками. За защиту и спасение С.-Петербурга в 1812 г. благодарное купечество подарило ему имение Дружноселие. При Николае I Петр Христианович впал в немилость — он симпатизировал декабристам. Фельдмаршал Витгенштейн — прадед автора дневника.

Князь Николай Николаевич воспитывался в Пажеском корпусе. Заслуги деда-фельдмаршала могли помочь ему сделать блестящую карьеру при дворе, но он от нее отказался, кончил сельскохозяйственную академию в Петровском-Разумовском и занялся сельским хозяйством в своих южнорусских имениях.

В 1888 году Н.Н. женился на Марии Павловне Зубовой. Ее брат, Николай Павлович Зубов ("дядя Коля") был директором Николаевско-

го Института и членом Государственного Совета. У Николая Николаевича и Марии Павловны было шестеро детей: Наталья (1889-1910), Борис (1890-1919), Татьяна (1894-1974), Екатерина — автор дневника, впоследствии замужем за графом А.К. Разумовским, Андрей (1899-1939) и Ольга (1900-1943). Членом семьи считалась также Надежда Владимировна Соколова ("Нудичка"); она поступила на службу в княжескую семью, когда родилась Наташа, и осталась у них до рокового дня бегства через Днестр. От нее впоследствии не было никаких вестей.

"Дневник, это не мемуары, — написал А.И. Солженицын нашей матери 6 мая 1982 г., — но гораздо дороже их. И не потому только, что пишется для себя — а *современно,* как не может потом восстановить ничья память, особенно — о подробностях настроений, которые потом изглаживаются и меняются."

У дневника была особенная судьба: многие годы тетради лежали, забытые, сначала в Чехословакии, затем в Вене. Только после призыва А.И. Солженицына к старым эмигрантам (в 1975 году), наша мать вспомнила об их существовании. Она выписала из них несколько страниц и послала А.И. Солженицыну. Когда он выразил свой интерес к этому дневнику, наша мать уже не была в состоянии обработать то, что она написала 60 лет тому назад. Но читать она еще могла, и в течение почти целого года она читала свой дневник на магнитофонную пленку, сама исправляла машинописный текст, принимала деятельное участие в редактировании, написала несколько дополнений и эпилог. Вскоре после окончания немецкого перевода своего текста она умерла.

Успех немецкого издания дневника ей уже не пришлось увидеть, но ее очень обрадовал отзыв ее первого русского читателя: "Вы были весьма проницательной барышней — Вы в середине марта в Петрограде сформулировали, в общем, все то главное, что мне далось восемью томами повествования, и в чем я тоже абсолютно уверен" — А.И. Солженицын, 6 мая 1982.

Мария и *Ольга Разумовские*

Воскресенье, 3-го августа 1914 г.

Вот я и начинаю вторую тетрадь моего дневника. Задаю себе вопрос: о чем я буду писать в конце ее? Все еще о великой европейской войне или о всемирной?..

Сегодня газеты, наконец, пришли, но не принесли особенных новостей. Конечно, некоторые новости есть и, как всегда, благоприятные для нас. Официально подтверждается наша победа при Сокале. Мы выбили из города 3 (если я не вру) неприятельских полка и заставили их отступить. Ландштурмисты разбежались до исхода боя; город остался за нами. Вот уже, кажется, день, что немцы стараются прогнать наши войска из занятого нами Eydtkuhnen'a и все время безуспешно. Всё маленькие стычки, пока еще ничего серьезного не было. Но и в этих нескольких незначительных стычках один казак успел отличиться и получить Георгия. Он один убил 11 немцев; получил 16 штыковых ран. Право, молодцы наши казаки. Хорошо, что мобилизовали всех сибиряков, они еще дадут о себе знать немцам.

Понедельник, 4 августа 1914 г.

Японцы объявили ультиматум Германии: очистить японские и китайские воды от немецких военных судов или разоружить их, а также безвозмездно передать Японии Кяо-Чао, которое Япония, в свою очередь, отдаст Китаю. Все это исполнить в течение месяца. Срок ультиматума 7 дней. По истечении его Япония оставляет за собой свободу действий. Коротко и ясно. Японцы не могут обойтись без нахальства, но на этот раз нахальство послужило нам в пользу. Да и немцам не лишне узнать, что такое получать ноты, составленные в том же тоне, как та, которую они редактировали Австрии для передачи Сербии [...]. У нас все спокойно. Австрийцы еще не пришли громить Броницу. Ходят слухи об их наступлении, о намерении взять Каменец-Подольский. В этом случае нам бы пришлось "prendre la clef des champs".

Мы до сих пор не получили известия от Бобы, кроме той телеграммы из Москвы. Мамуличка ужасно беспокоится и вообще настроение у нас царствует не из веселых. Хоть бы завтра пришла телеграмма!

Вторник, 5 августа 1914 г.

Наконец, телеграмма пришла, а вслед за ней и письмо. Телеграмма нас очень изумила и огорчила. В ней сказано: "Только

сейчас выяснилось положение. Полк не застал, еду в Новгород резервный батальон. Здоров. Пишу подробно".

Это известие, которого мы меньше всего ожидали. Мы все думали, что Конногвардейский полк не двинут из Петербурга, а тут вдруг в Новгород! Зачем, и надолго ли? А если их двинут на границу? Все это темно, неясно и поэтому страшно.

6 августа 1914 г.

Упорные слухи о взятии Каменца австрийцами продолжают циркулировать. Старый пан ходит мрачный и толкует о том, что нам надо ехать. Это, наверно, так и случится, т.к. я слышала очень отчетливо сегодня звуки стрельбы из полуметов, да, кажется, и не я одна. Смешно то, что все уже не раз слышали, но никто об этом не говорит и как будто старается забыть, чтобы и другие забыли об угрожающей опасности. Вообще мы все поразительно хладнокровый народ, и я могу только, положивши руку на сердце, сказать, что не боюсь, и что если нам скажут, что надо бежать, не произойдет ни малейшего замешательства, никто не испугается — или по крайней мере никто не покажет этого. Когда идет война, все жители должны принести хоть какую-нибудь жертву, и если австрийцы разгромят Броницу, то это будет наша жертва.

9 ч. вечера

Австрийцы заняли Каменец. На рассвете мы уезжаем. Едем на Рохны, 80 верст лошадьми. Суматоха. Нужно все убрать, спрятать. Говорят, они скоро будут здесь.

Рохны, 7 августа 1914 г., 8 ч. вечера

Мы устали, раскисли! Этот день был так богат переживаниями, что голова идет кругом. Не знаю, смогу ли я описать все это по порядку... Вот какая сейчас передо мной открывается картина: крошечная комнатка подозрительной чистоты, с зелеными стенами, кафельным полом, продушеной зеленой кожаной мебелью и кривым зеркалом. Вся эта комната битком набита на-

шими бесчисленными чемоданами, мешками и т.д. На зеленом диване, по углам, сидят мамуличка, бабушка и Надя. Все трое дремлют. Против меня на куче чемоданов лежит скорченная Татьяна и кажется спит. Из соседней комнаты слышен целый хор голосов и запах табака. Там сидят папа, Андрей и Ольга; "кавалеры", потому что здесь нет места, а Ольга потому, что здесь слишком жарко, а скорее, потому, что там ей веселее. Я сижу одна между спящими и при тусклом свете керосиновой лампочки не разбираю даже линеек. Поезд должен отойти в 10 ч. вечера, но, конечно, уже опаздывает. Этот поезд из Одессы может совсем не придти, он может быть переполнен. Если же мы не попадем на него, то нам ничего другого не останется делать, как сидеть всю ночь здесь или спать на наших "гаробах" на дворе...

Киев, 9 августа 1914 г., 9 ч. вечера

В 1 ч. ночи уезжаем в Москву. Будем ехать ночь и день, да еще хорошо, если найдутся места. В Бронице пока все благополучно. Ходят слухи, что мы прогнали австрийцев и перешли границу. Не рано ли было удирать? Мы хотим прилечь отдохнуть. Может быть, не придется спать.

Москва, 12 августа 1914 г.

Вчера приехали и, как нам не было грустно опять очутиться в наших знакомых комнатах, мы все же были рады, что наши странствования кончены и мы опять на месте.

Вчерашний день прошел тихо. Пришла Женя Лопухина. Она поступила на курсы сестер милосердия. Она рассказала нам, что попасть туда невозможно: все вакансии расписаны на две очереди, т.е. на три месяца. Кроме того, все поступающие подвергаются медицинскому осмотру, через который мы не можем пройти. Требуется большая физическая сила, выносливость, здоровье, а разве мы отвечаем этим требованиям? Но мы с Татьяной не останемся сидеть сложа руки. Мы записались на дневные дежурства в лазаретах. Я еще не знаю, в чем будут заключаться наши обязанности, но вроде чтения раненым, писания писем и т.д.

13 августа 1914 г.

Получили от Бобы телеграмму: он в Новгороде и, наконец, причислен к полку. Сейчас конногвардейцы отозваны в Вильну на поправку. При Каушене они впереди всех шли на приступ какой-то батареи и, кажется, понесли большие потери. Есть убитые из наших знакомых — оба Катковы. Бедный Андрей Катков, с которым мы танцевали прошлую зиму и который всего несколько месяцев был женат. Он был Бобин друг и это известие очень огорчило его. Еще убит Лопухин, троюродный брат Тани и Жени; Бобриков, наш родственник, ранен. Какое счастье, как я благодарю Бога, что Боба не успел попасть в это дело. Мне страшно подумать, что его бы сейчас могло не быть в живых. Надолго ли? На все воля Божья.

Четверг, 14 августа 1914 г.

Сегодня к нам приходил В.А. Воложской. Он только что приехал из Петербурга, куда ездил навещать раненого Бобрикова. Он нам рассказывал подробности геройского поведения конногвардейского полка в деле под Гумбинненом. Тут говорили, что почти весь полк уничтожен. Это неправда: солдат погибло мало, но зато очень много офицеров...

Суббота, 16 августа 1914 г.

Как давно я не записывала о совершающихся событиях, а вместе с тем они, правда, поразительны! Всего 12 дней прошло со дня нашего отъезда из Броницы, а как все изменилось! Тогда это было время очищения нами Привислинского края, сдачи Каменца и других городов, незаконченной мобилизации и нашего бездействия на Прусской границе. С тех пор как мы, стянув нужные силы, двинулись вперед, газеты каждый день приносили известия о все новых победах. Мы наступаем молниеносно, неудержимо беря города, гоня перед собой неприятеля, сламывая все препятствия! Один английский писатель сказал: "Россия не должна двигаться, пока не будет окончательно готова. Когда же двинется русская лавина, ее удержать будет невозможно". Мно-

го мы выдержали кровавых боев и велики наши потери, но мы победоносно идем вперед и велик подъем духа той армии, которая, сметая врага, проникает все дальше вглубь его страны. Впереди идет цвет нашего войска, лучшие полки гвардии, а с ними мы победим, т.к. гвардия или побеждает, или ложится костьми за отечество...

Воскресенье, 17 августа 1914 г.

Вечером получили телеграмму, что завтра папа приедет из Петербурга и привезет Бобу! Что бы это значило? Может быть, его отпустили на день перед тем, как отправить в полк? Дай только Бог, чтобы все было благополучно.

На театре военных действий после ряда блестящих побед пришел первый удар! Весть об отступлении наших войск, о смерти генерала Самсонова и колоссальном уроне двух наших корпусов. Это была гроза после ясного дня, горе после радости. Все немного упали духом. Не рано ли? Избалованные последними успехами, мы как будто забыли, что ведем борьбу с сильнейшим врагом, забыли, что счастье переменчиво, забыли, наконец, что это война, а никакая война не может пройти без крупных неудач и тяжелых потерь.

Среда, 20 августа 1914 г.

Опять хорошие новости! Газеты говорят о полном разгроме австрийской армии под Львовом, о захвате массы пленных и орудий. Ходят даже слухи, что форты Львова в наших руках. Если это так, город скоро вынужден будет сдаться. Львов — это оплот всей Галиции, и когда он падет, вся эта область в скором времени будет наша. Галичане очень рады такой комбинации: постоянно слышно о капитуляции целых отрядов, о перебежке под наши знамена и т.д. Еще сегодня в газете было сказано, что целый полк, составленный из славян, чехов и поляков, с распущенным знаменем и под звуки "Боже Царя храни" перешел нашу границу и сдался нашим солдатам. Они просили, чтобы их обмундировали по-русски и отправили бить немцев. Их просьба будет удовлетворена.

Суббота, 23 августа 1914 г.

Вчера случилось великое событие в истории европейской войны: после страшного натиска наши войска взяли Львов! Эта победа имеет громадное значение: упорный, кровопролитный бой, продолжавшийся 7 суток, мог кончиться только разгромом одной из армий, и блестящей победой другой. Мы победили.

Напряженное состояние, трепетное ожидание известий об ужасном бое при известии о победе разрешилось в бурю восторга. Трудно описать, что делалось с Москвой при первых словах о великой радости. Это было в 12 ч. ночи, с 21-го на 22-е. Когда на экране "Русского Слова" ожидающая толпа увидела вспыхнувшую надпись: "ЛЬВОВ ВЗЯТ" — толпа на секунду замерла, потом все головы обнажились и грянуло могучее, несмолкаемое "ура". Это было как раз в ночь, когда продавали флажки "В помощь жертвам войны". Случилось, что тут же присутствовал Собинов. Он произнес речь, прося жертвовать. Деньги посыпались щедрой рукой, в несколько минут было наполнено 3 кружки. Тогда Собинов запел "Боже Царя храни", толпа подхватила, и огромная манифестация двинулась по Тверской к памятнику Скобелева. Тут манифестация приняла грандиозные размеры, восторгу и энтузиазму не было конца. Так Москва праздновала великую победу славянства.

11 ч. вечера

Мне кажется, я скоро добьюсь своего — работать. Все эти последние дни мы были без дела и мучились этим. Зная, что наши братья "там", посылая их на все трудности и опасности похода, мы должны что-нибудь делать, должны работать, чтобы заглушить страхи и беспокойства. Мы *не можем* ничего не делать, это общий крик среди всех наших знакомых. Кажется, все наши знакомые и друзья сейчас работают целыми днями... Остались только мы и с отчаянием смотрим, как все работают. Наши занятия в питательском пункте мы давно бросили: там набралось столько лишнего народу и такая идет неурядица, что делать нечего, а осталось одно веселое препровождение времени.

Моей мечтой было сделаться сестрой милосердия и сейчас я ближе чем когда-нибудь к этой цели. Оказалось, что мамулич-

кин доктор, Миловидов, вместе с друзьями оборудовал частный госпиталь и искал для него сестер. Мы предложили наши услуги через Василевских, и вот сегодня др. Миловидов приехал нас осматривать и допрашивать. Оказывается, когда он сказал, что две княжны желают поступить как сестры, ему сказали, что "белоручек нам не надо". Тогда он захотел узнать, белоручки мы или нет?

Мы подверглись долгому расспросу и теперь нам дана неделя на размышление, после чего мы должны явиться в госпиталь, где нас будут учить уходу за больными, перевязкам и всему тому, что нужно. Но при этом Миловидов предупредил, что нам придется делать всю черную работу, всё без исключения. На это мы ответили, что если сами предложили свои услуги, то имели это в виду. Он, кажется, остался доволен и сказал, что нас примут.

Вся эта комбинация устроилась так неожиданно; я до последней минуты была уверена, что ничего не выйдет и мне придется удовольствоваться тем, что крутить бинты да шить рубашки. Теперь я буду работать, буду полезной! Наконец, моя дорогая мечта уже больше не химера, а настоящая, живая действительность.

27 августа 1914 г.

Первый опыт, первое крещение! У меня даже дрожь по телу пробегает, когда я вспоминаю это утро. Нас с Татьяной поставили на самые страшные перевязки и я удивляюсь той храбрости, с которой Татьяна присутствовала при всех, все время помогая. Я не выдержала: при первой же перевязке (раздробленный шрапнелью локоть), на которой я должна была держать таз, при виде громадной гнойной раны и осколков костей, которые доктор бросал в мой таз, мне сделалось дурно, глубокий обморок. Я помню, как я кому-то передала таз, отошла и прислонилась к стене, потом захотелось выйти из перевязочной, чтобы быть подальше от тяжелого запаха: вышла в коридор — а дальше ничего... Пришла какая-то особа в черном и с изумлением уставилась на сестрицу, которая бледная и с лицом, спрятанным в руках, сидела на диване. Мне стало стыдно: я решила во чтобы то

ни стало пройти в перевязочную. Храбро открыла двери и остановилась на пороге: мне было страшно, страшно как ребенку, который боится войти в темную комнату. Но так распускаться нельзя будущим сестрам милосердия. Я решилась и вошла...

17 ноября 1914 г.

Два с половиной месяца! Я убедилась, что писать дневники могут только бездельники, да еще очень прилежные и аккуратные люди. Первой я за последнее время перестала быть, а второй и третьей никогда не была.

С той минуты, как я надела косынку сестрой милосердия, я положила тетрадь в ящик и больше не вынимала до сегодняшнего дня.

Теперь, когда мы окончили наш курс ученья и создали себе известное положение, нам и легче и приятнее работать. Наш труд ценят и доктора и больные: когда, отработав свои шесть недель, мы собрались уходить в частный лазарет, как это делают все, нас не пустили, а принудили остаться в числе немногих избранных, оставленных при больнице. Скажу без хвастовства: мы да еще двое считаемся самыми лучшими сестрами в нашей больнице, а всего сестер было около двухсот.

17 декабря 1914 г.

20-го я уезжаю. Как глупо! Никогда не предполагала, что можно дойти до того, чтобы посередине зимы, на Рождество, уехать отдыхать. Никогда не думала, что у меня вдруг может не хватить сил, чтобы продолжать как начала, и придется бросить всё и убегать в Броницу, чтобы вновь вернуть свои силы и энергию.

Броница, 1 января 1915 г.

Сейчас 1915-му году только полчаса времени, а все-таки неминуемое совершилось: 1914 год со всеми своими волнениями, радостями и горем перестал существовать. На его место поступил новый, 1915 год, тот год, на который пророчили все великие

события и катастрофы. Но эти великие события разразились еще в 1914-м году. Может быть, они достигнут своей вершины, завершатся в этом году полным преображением Европы? Может быть, дойдя до своего предела, они потрясут все основы человечества?

Москва, 2 апреля 1915 г.

Сегодня я целый день занималась уборкой вещей и сортировкой их: какие едут в Броницу, какие в Петроград. Мы переезжаем на жительство в Петроград. Причина: Андрей поступает в Правоведение, а Ольгу пристроят в гимназию Оболенской. Мы уезжаем из Москвы надолго, может быть, навсегда. Я никогда не чувствовала особенной нежности к Москве, но теперь, уезжая из нее, мне кажется, что я ее люблю и мне жалко ее. Так уж странно устроены люди. Забыла написать, что австрийцы были опять недалеко от Броницы. На этот раз это было серьезнее, чем в тот, первый. Они шли большими силами, с целью прорваться в наш тыл, на самом краю фронта, там, где у нас почти что не было войск. Говорят, мы туда двинули большие силы и отбросили их назад. Нудичка пишет, что в Бронице земля дрожит от звуков канонады.

Броница, 16 июня 1915 г.

О чем писать? Слишком много пропустила событий, чувств, чтобы опять воскресить их в памяти, слишком много пережито, передумано. Каковы могут быть мысли в переживаемое нами тревожное время, когда приходится укладывать весь дом, каждую минуту быть готовым уехать, бросить Броницу, все, что мы любим, с полной уверенностью, что, вернувшись, не найдем камня на камне от нашего гнезда?

Конечно, австрийцы и раньше переходили нашу границу и были недалеко от Броницы, но тогда было другое дело: тогда это был временный неуспех, тогда мы побеждали! А теперь? Боже мой! Эти поражения, эти неудачи, очищение Галиции, сдача Перемышля и Львова!



Гр. Е.Н. Разумовская, ур. кн. Сайн-Витгенштейн. 1981 г.

Петроград, 12 февраля 1917 г.

...Не писала все эти месяцы; как подумаешь, что надо сесть и писать обо всем том, что сейчас делается на свете — право, не хочется. Все так гадко, серо, неприглядно, что чем больше думаешь, тем хуже становится на сердце. Хочется закрыть глаза, не смотреть, не думать, не знать; хочется забыться, развлечься, чтобы пережить скорее это время. Чем дальше, тем хуже. Жить становится все невыносимее, над бедной Россией висит черная, душная, тяжелая туча и никто себе не представляет, чем она разразится. Мы живем в гадкое время. Конечно, хорошо проповедовать, что стыдно падать духом, что надо всегда бодро и весело смотреть в будущее, что все пессимисты — трусы. Но ведь мы не слепы! Мы видим, что кругом все рушится, что все мы идем к какой-то пропасти, что только одно чудо может спасти нас.

В России сейчас все делается, чтобы погубить Россию. Каждый шаг правительства направлен к этому. Кажется, еще никогда не было такого развала внутри страны, как сейчас. Наверно

это все разрешится в ближайшем будущем и разрешится, конечно, катастрофой. Говорят, 14-го февраля, в день открытия Думы, будут забастовки и беспорядки. Ужаснее всего то, что теперь не время! Для армии необходимы спокойствие и порядок тыла. Ей нужна его помощь и поддержка, как материальная, так и духовная. Сейчас наша армия так же тверда и сильна, как была раньше, но ее основа, тыл, прогнила и готова рухнуть. Я никогда не была пессимисткой; я никогда бы не сказала всего того, что написала, кому-нибудь постороннему, но думать каждый может, что хочет.

23 февраля 1917 г.

У нас никто почти не говорит о всех неприятностях теперешнего времени. Избегают злободневных разговоров. Мода этого сезона — музыка вообще и опера в частности. Мы живем так мирно и счастливо, что, наверное, случится что-нибудь неприятное, что все нарушит.

27 февраля 1917 г., 12 ч. дня

Дождались! Вот уже четвертый день, как в Петрограде беспорядки: заводы стоят, трамваи тоже, все бастуют. Сегодня взбунтовались чуть ли не все маршевые части гвардейских полков. Около нас, в казармах Волынского полка, с утра бунт; под нашими окнами стоит направленный против них пулемет со взводом Преображенцев. Мы можем ждать с минуты на минуту, что по бунтующим откроют стрельбу.

Мы заперли все двери и сидим на нашей вышке пока в безопасности. Скверное время! Папа в Киеве, и если он услышит, что здесь делается, будет страшно бояться за нас. Хорошо еще, что с нами Боба, на-днях приехавший в отпуск, и дядя Коля. Мама хочет отправить нас с дядей в Вологду, пока тут немного не успокоится, а сама остаться здесь с Бобой. Мне страшно не хочется ехать! В такое время лучше не разлучаться и держаться всем вместе. Довольно того, что папа не с нами.

4 часа

Пока все спокойно. Изредка с Литейного доносятся одиночные выстрелы. Дядя пошел в банк, очень за него страшно.

5 часов

Дядя вернулся благополучно, говорит, что на Литейном стреляют. У нас под окнам толпа все гуще и крики все громче. Жаль, что забрали куда-то пулемет. Мы наблюдаем улицу из наших двух фонарей, из которых видно всю Баскову с ее казармами, Бассейную и кусочек Литейного. На улице толпы солдат и "товарищей" окружают офицеров и отнимают у них шашки. Мы видели, как солдат верхом и с револьвером в руках подъехал к одному офицеру и целился ему в самое лицо. По улице разъезжают автомобили, полные солдат, с винтовками и красными флагами. Толпа бросается к ним навстречу с криками "ура".

Все это так отвратительно, что трудно верить глазам. Мы звоним по телефону и к нам звонят, чтобы узнать, что делается в разных кварталах города. Везде тоже самое. На Захарьевской горит Окружной суд. Разгромили Главное артиллерийское управление, из тюрьмы выпущены все арестанты и тюрьма горит. Сегодня утром Дума и Совет были распущены, но сейчас нам передавали, что в Думе экстренное заседание. Слухи самые невероятные циркулируют по городу и передаются по телефону.

9 часов

Темно, но на Бассейной кучки народу. Время от времени раздаются громкие винтовочные выстрелы. Пока ничего нового не узнали. Сидим в нашей вышке, как в крепости. Хорошо, если эту крепость не будут штурмовать. Какая сегодня предстоит ночь? Пока задернули все шторы, а в комнатах, где занавески, зажгли маленькие лампы.

Трудно поверить, что дожили до таких времен!

Броница, 27 июня 1917 г.

Россия гибнет! Может ли здравомыслящий человек не быть согласен с этим фактом? Сейчас никто из имеющих голос не го-

ворит о Родине, об Отчизне, о России. Она больше не существует. Есть "пролетарии всех стран", есть "вильна Украина", есть Финляндия, Сибирь, Крым, Кавказ, есть "вольный остров Котлин" и еще десятка два самостоятельных республик, но России нет больше. В теории это собрание называется "Свободной Россией", но где свобода и где Россия, никто хорошо не понимает. У того, что называется Российской Республикой, нет президента и нет парламента, а есть "Совет Рабочих и Солдатских депутатов"; нет ответственного министерства, а есть учреждение, именуемое Временным правительством, т.е. коалиция лиц, не имеющих власти, не имеющих силы и умения быть тем правительством, которого они носят название и полномочия.

Что самое ужасное, непоправимое, это то, что Россия навеки опозорена перед всем миром этой проклятой и нелепой политикой наших нынешних правителей — большевиков и социалистов. Ведь вот уже почти четыре месяца, как на нашем фронте "сепаратное перемирие". Все это время мы палец о палец не ударили, чтобы помешать немцам переправить почти все свои силы на фронт союзников. С союзниками мы поступили подло, мерзко, нет даже слов выразить, как подло мы с ними поступили! Мы их не поддержали, мы продавали их, мы выдавали их головой немцам! Проклятые "товарищи" требуют сепаратного мира, требуют пересмотра тайных соглашений с Англией и Францией. Лозунг "мир без аннексий и контрибуций", принятый Временным правительством и всеми русскими хулиганами, тоже не очень способствует славе России. И это в такую войну, когда, в начале, люди шли сражаться и умирать из любви к Родине, сражаться и умирать за ее славу, за ее будущее! Этот порыв не будет занесен в историю, будущую историю России, в ней будет с гордостью говориться, что русскому солдату дела не было до России.

Мы выросли, любя Россию, мы с детства привыкли почитать этот высокий идеал — патриотизм, любовь к Родине. Теперь все рухнуло. Эту Родину, которую мы считали великой, на наших глазах опозорили, втоптали в грязь! Что бы я ни дала, чтобы помочь спасти нашу Родину, наш светлый идеал, поднять его на небывалую высоту и доказать всему миру, что еще жива

Россия, не погибла ее честь и мощь под грязными сапогами хулиганов и товарищей!

Броница, 12 октября 1917 г.

Та "бомба", которую готовили большевики, не удалась. Если они ушли из Совета, этот последний ничего не потеряет, а сможет дружнее работать. Этот выход большевиков показывает их бессилие. Правда, что теперь они всю свою энергию направят на работу в "Искосоле" и на улице. Михаил Владимирович Родзянко говорит о выступлении большевиков 20-го числа, как о вещи весьма вероятной. В тесном единении Петроградский гарнизон и рабочие проектируют свергнуть правительство и выбрать новое из членов "Искосола". Может быть, Керенский пожалеет, что нет генерала Корнилова, чтобы помочь ему.

15 октября 1917 г., Броница

Слух о 20-м числе проник и сюда: недавно какие-то "товарищи солдаты" рассказали нашей Параске, что 20-го числа тут будет "Варфоломеевская ночь". Она так и передала нам, но долго не хотела сказать точно, что подразумевается под этим громким названием. Только после долгих расспросов Татьяне удалось из нее вытянуть, что это будет грабеж и поголовное истребление "буржуев". "Что же, если люди такие звери стали!" — восклицала в ужасе консервативная Параска. Оказывается, какой-то солдат автомобильной роты рассказал ей эту новость. Параска трясется заранее и говорит, что на эту ночь пойдет спать к Ксении, не потому, что боится за себя (она знает, что не принадлежит к ненавистным буржуям) а потому, что не хочет "на это смотреть".

Я отношусь к этим слухам довольно равнодушно, потому что не верю, что из этого может что-нибудь выйти. Все наши тоже. Папа, кажется, не знает об этих слухах. Мы все спокойны и даже смеясь говорим о предстоящей ночи на 20-е, потому что уверены, что ничего не будет, Но ведь это неверно: *что-нибудь может быть!* А если подумаешь так, становится неприятно. Плохо то, что приготовленное в Петрограде движение больше-

виков откликнулось здесь, в каком-то Могилеве-Подольском, т.е. — везде.

18 октября 1917 г.

Сегодня нет почты и не будет: не пришел поезд. Поэтому мысли сосредоточены на более близких интересах: я посвятила весь день возне с кроликами, "моими зайцами", как я люблю их называть. Эти "зайцы" служат мне самым большим развлечением и утешением во всех невзгодах. Я их люблю, они мне не могут надоесть. Сегодня окончательно перевела кроликов на зимнее положение в бывшую кухню. Устроила там свое царство, куда буду прятаться, когда будет мрачно. А мрачно бывает довольно часто.

Броница, 29 октября 1917 г.
Большая столовая

Первый час ночи. Мы с Татьяной дежурим, все спят. Значит, настали хорошие времена.

Расскажу все по порядку. Второй переворот в Петрограде, тот, что был приурочен к 20-му, уже совершившийся факт. Он начался 22-го, но понемножку, а разразился 25-го. "Революционный комитет" начал действовать 20-го, но негласно. Мы с нашим вечным опаздыванием газет узнали первые новости только 27-го. Прочли об образовании "комитета", об его ссоре с "Иксосолем" и с генеральным штабом, о призыве Керенского к Совету Российской Республики помочь ему в борьбе с большевиками и о преступном отказе последнего. В воздухе пахло бурей. Мы ждали, в лихорадке, следующего дня. Вчера, когда пришла почта, мы не успели еще открыть сумку, как пришла Нудичка и поздравила с новым премьером — Лениным. Мы с Ольгой мирно играли в 4 руки "Демона" и, услыхав это известие, так и обмерли. Бросились доставать газеты из сумки. Читали их, как сумасшедшие, стараясь угадать подробности.

К вечеру стало известно, что разграбили одно из соседних имений, говорили, не то Ротмистровку, не то Карповку. Настроение еще натянулось. Хорошо утешать себя, что это "начало

конца", что это кризис, после которого или все погибнет или все исправится, но как подумаешь, что можешь не дождаться этого конца, становится неприятно.

Все легли с уверенностью, что ночью что-нибудь случится. Я проснулась от того, что Рекс лаял и выл под окном. Было еще темно. Лежала и слушала. Вдруг показалось, что под окном кто-то разговаривает. Я так и замерла (ведь недаром — "революционное настроение"). Когда звуки стихли, я решила, что это мне показалось и только что устроилась поудобнее, чтобы опять заснуть — опять неясный говор, неясные шаги. С меня соскочило всякое желание спать. Лежала и слушала, все еще не решаясь встать.

Вдруг скрипнула дверь и вошла Ольга: "Вы слышите, что ходят и разговаривают?"

Мы с Нудичкой сели в своих кроватях; конечно, мы слышали.

"Может быть, это казаки ходят с обходом?" — сказала Нудичка, поспешно одеваясь. Мы с Ольгой обрадовались: "Уж не лечь ли опять спать?" ...

Офицер сказал папе, что это эскадрон 2-го Заамурского полка (пограничники), который был вызван в Броницу по тревоге, чтобы охранять казенные склады. Солдаты страшно возбуждены и недовольны, что не нашли ни казенных складов, ни беспорядков; требуют фуража, мяса, чая, сахара, крупы и по 20 р. на человека за беспокойство.

Поднялась суматоха. Нудичка и папа пошли в флигель готовить еду. Чех-повар Нейман зарезал нашу бедную Динку на мясо для товарищей. Пришел поручик, несчастный, затравленный, который признался Нудичке, что они живут, как на каторге. Их приблизительно 140 человек, вызванных по тревоге. Потом пришел комитет и забрал провизию. Поручик обещал устроить так, чтобы к 2 часам уйти обратно. Пока мы обедали, пришли еще два товарища и нахально требовали хлеба. Папа сказал, что только что накормил 100 человек и давать ему больше нечего. Они убрались.

Броница, 9 ноября 1917 г.

Разве поможет, что большевики поссорились, что товарищи

Шляпкин, Рыков, Ногин и Коллонтай выразили протест против действий товарищей Ленина и Троцкого, что "Викжель", показавший себя большевицким 29-го октября, сожалеет об этом 7-го ноября, что "комиссар народного просвещения" тов. Луначарский протестует против вандализма в Москве и слагает с себя звание "народного комиссара", а на другой день принимает его обратно? Поможет ли, что "Революционный комитет" объявляет Керенского изменником и хочет судить его? Поможет ли, что Муравьев издает "Приказ No 1 по обороне Петрограда", в котором солдаты, матросы и красногвардейцы официально подстрекаются к самосуду, где им предписывается "беспощадно и своими силами расправиться со всеми подозрительными элементами"?

Россия соскочила с рельс 27-го февраля и остановится только тогда, когда упадает до самого низа откоса. Те рельсы, по которым она бежала раньше, были так ветхи, так ненадежны, что она не могла не сойти с них. Ну да что говорить о прошлом, его не вернешь и не исправишь.

Кажется, что в Москве пострадали также собор Василия Блаженного, колокольня Ивана Великого и другие здания в Кремле. Когда немцы расстреляли Реймсский собор, мы кричали, что это варварство, послали свои протесты в какое-то международное бюро...

Могилев-Подольский, 20 декабря 1917 г.

Не писала почти месяц, а многое изменилось за этот месяц! Сейчас мы уже не представляем собой то счастливое исключение из тысяч наших собратьев-дворян, то исключение, которое заставляло меня чувствовать даже некоторое угрызение совести. Сейчас и мы, подобно многим другим, захлестнуты той волной, в которой уже тонет столько наших собратьев.

Броница не существует: ее разгромили, разграбили те казаки, прихода которых мы ждали, как прихода помощи в грядущих бедах. То, что мы сами сидим сейчас на Садовой улице No 16 — это, по-моему, милость Божья, а для неверующих — очень уж счастливая случайность.

Могилев, 13 февраля 1918 г.

Я не знала, что так скоро напишу эти слова: "*Мир заключен*", слова, которые, словно отрезав, кончают все прошлое и начинают неизвестное, что-то новое и для нас такое страшное. С сегодняшнего дня все переменилось: если раньше могла быть хоть тень надежды на что-то лучшее, на какое-то протрезвление — хоть самая маленькая, жалкая тень надежды, — теперь она рухнула навсегда! Теперь ни на что нельзя надеяться. Подписав этот мирный договор, над бедной Россией прочли отходную молитву. Она уж больше не воскреснет.

Думали ли мы эти годы, от 1914 до 1917-го, что война, "великая война", как мы ее называли, кончится таким позором?! Мы никогда не верили, что она кончится иначе, как нашим торжеством и победой. Столько жертв было принесено, столько крови пролито, столько уже побед одержано! И для чего?

Немцы, наверное, не ожидали такой блестящей победы. Они достигли всего, о чем могли только мечтать в начале войны: полный разгром России как великой державы, все возможные торговые договоры, контрибуции, аннексия целых областей, отделение Украины.

Украина совсем отделяется от России и будет оккупирована австрийцами; из нее выводятся все войска и "красная гвардия", помещики возвращаются по своим имениям, чтобы доставлять хлеб Австрии и т.д. Папа рад и многие рады, а у меня чувство, будто мне дали пощечину.

Все, что я написала выше, не передает и сотой доли того, что я чувствую. На сердце так тяжело, и думать не хочется, не то что писать. [...].

ИЗ ИСТОРИИ БРЕСТСКОГО МИРА

Брест-Литовский договор в советской и западной историографии всегда рассматривался как пример дипломатической и тактической победы Ленина, одержанной им, с одной стороны, над немцами, с другой — над противниками заключения мира. Казалось, что для такого вывода у историков были все основания. Разоренная революцией советская Россия нуждалась в мире — любом мире, пусть даже мире "Тильзитском", "постыдном", Брест-Литовском. И в СССР и на Западе позиция сторонника революционной войны Бухарина, равно как и левых коммунистов вообще, представлялась историкам авантюристической, а в позиции Троцкого — "ни мира, ни войны" — так никто и не смог усмотреть хоть капли здравого смысла. Среди историков русской эмиграции лишь А. Авторханов указал на правильность (с точки зрения коммунистических интересов) позиции Бухарина. А сам Троцкий несколько позже писал, что его политика "ни мира ни войны" на практике была применена в конце 1918 года, причем достаточно успешно: "Многие умники по каждому подходящему поводу изощряются насчет лозунга "ни мира, ни войны". Он кажется им, повидимому, противоречащим самой природе вещей. Между тем... несколько месяцев спустя после Бреста, когда революционная ситуация в Германии определилась полностью, мы объявили Брестский мир расторгнутым, отнюдь не открывая войны с Германией." (Л. Троцкий, Сталинская школа фальсификаций, изд. Гранит, Берлин, 1932, стр. 39).

Таким образом, взгляд большинства западных и всех советских историков на Брестский мир следует считать по крайней мере поверхностным. Об этом свидетельствует и то удивительное обстоятельство, что до сих пор никто ни разу не пытался проанализировать эволюцию

взглядов самого ярого сторонника Брестского мира — Ленина — на мирный договор с Германией, от дней ратификации мирного договора до разрыва его в ноябре 1918 г. Именно этому периоду и посвящена данная статья. В ней сделана попытка показать во всем объеме взгляды сторонников и противников Брестского мира, равно как и масштабы той оппозиции, с которой столкнулся Ленин. Первая ее часть посвящена спорам вокруг вопроса о ратификации Брестского мира, закончившимся ратификацией Брестского мира и победой Ленина. Вторая часть статьи касается изменения отношения Ленина к Брестскому миру и колебаний Ленина, толкнувших его, в конечном итоге, на признание правоты Троцкого и разрыв Брестского мира, что позволило Красной армии изгнать немцев из пределов России, захватить только что отделившиеся Украину и Белоруссию и создать, таким образом, плацдарм для наступления на Запад и прежде всего — на Германию.

РАТИФИКАЦИЯ БРЕСТСКОГО МИРА

К открытию Седьмого партийного съезда большевистская партия фактически уже раскалывалась на две. Самым ярким проявлением этого раскола стало издание левыми коммунистами газеты "Коммунист", начавшей выходить 20 февраля (5 марта) 1918 г. под редакцией Бухарина, Радека и Урицкого как орган Петербургского комитета и Петербургского окружного комитета РСДРП(б). Конкурент был опасный. Ленин пробовал хоть как-то противостоять левым, в основном через "Правду". Так, перед самым открытием съезда, 6 марта (по ст. ст.) он опубликовал статью "Серьезный урок и серьезная ответственность". Статья, впрочем, производила жалкое впечатление. Основная ее идея сводилась к тому, что "с 3-го марта, когда в 1 час дня прекращены были германцами военные действия, и до 5-го марта 7 час. вечера, когда я пишу эти строки, мы имеем передышку и мы *уже* воспользовались этими двумя днями для *деловой*... защиты социалистического отечества". (Соч. 4 изд., т. 27, стр. 57). Но аргумент этот мог вызвать только улыбку. Очевидно было, что за два дня никаких мероприятий по охране государства провести было нельзя. И обо всем этом левые коммунисты собирались открыто говорить на партийном съезде.

6 марта, вскоре после объединенного заседания Президиума

ВЦИК и СНК, на котором с отчетом мирной делегации выступил Г.Я. Сокольников, в 8.45 вечера Седьмой экстренный съезд партии открылся в Таврическом дворце. Съезд не был представительным. В его выборах могли "принять участие лишь члены партии, состоявшие в ней более трех месяцев", т.е. только те, кто вступил в ряды РСДРП(б) до октябрьского переворота. Кроме того, делегатов съехалось мало. Даже 5 марта не было еще известно, откроется съезд или нет; будет ли он правомочным. Свердлов на предварительном совещании откровенно признал, что "это конференция, совещание, но не съезд". И поскольку такой "съезд" никак нельзя было назвать очередным, он получил титул экстренного.

Собирался этот съезд в страшной спешке, суете. Нет точных данных о численности его делегатов[1]. Можно предположить, однако, что в нем участвовало 47 депутатов с решающим голосом и 59 с совещательным, представлявшие 169.200 членов РКП(б). Всего же, по данным непроверенным и неточным, в партии большевиков насчитывалось в то время до 300.000 членов — не так уж много, если учесть, что к моменту созыва Шестого съезда в июле 1917 г., когда партия не была правящей, в ее рядах числилось около 240 тысяч, причем численность партии с апреля по июль 1917 г. возросла в три раза.[2] Теперь Ларин вынужден был признать, что "многие организации фактически за последнее время не выросли"[3]. Свердлов, выступивший на Седьмом съезде с отчетом ЦК, обратил внимание партийного актива еще на два прискорбных обстоятельства: "членские взносы поступали крайне неаккуратно", тираж "Правды" упал с 220 тыс. в октябре 1917 г. до 85 тысяч к моменту созыва Седьмого съезда, причем циркуляция газет ограничивалась одним Петроградом.

Наверное, в любой другой момент именно эти вопросы и привлекли бы внимание делегатов большевистского съезда в

---

1. См. Протоколы съездов и конференций Всесоюзной Коммунистической партии (б). Седьмой съезд. Март 1918 года. Гиз., М.-Л., 1928, стр. VIII.

2. См.: История КПСС в 6 тт., т. 3, кн. I, Москва, 1967, стр. 180.

3. Седьмой съезд РКП(б), стр. 192. Ларин указал также на то, что в связи с передачей Германии огромных территорий, численность большевистской партии резко падает.

первую очередь. Но не в марте 1918 г., не на Седьмом съезде.[4] Предстояло обсуждать куда более серьезный вопрос — Брестский мир. 7 марта в 12 часов дня с первым докладом на эту тему выступил Ленин. Задача его была сложна — убедить делегатов в том, что Брест-Литовский договор необходимо ратифицировать. За знакомым сегодня каждому термином, однако, стояли условия мира более тяжкие, чем, например, в Версале. Вот что сказал Радек в докладе "Экономические последствия Брестского договора" на Первом Всероссийском съезде Совета Народного Хозяйства:

"Это означает потерю таких важных источников сырья, как Донецкий бассейн, который поставлял нам чугун и уголь. Вы понимаете великолепно, что значит это, если Россия потеряла 90% сахарной промышленности... что значит потеря этих областей, с которых Россия получала излишек хлеба, который служил средством для торгового баланса ...Россия потеряла 40% квалифицированных рабочих, тех рабочих, которые имели технический навык как результат 30-летнего капиталистического развития, это потеря 40% рабочих, которые могли бы приложить свои силы в нашей общей работе создавания социалистической России; они ушли от нее под иго капитала и, таким образом, можно сказать, что промышленный пролетариат в России на 40% ослаблен Брестским миром. Что касается сырья и специально чугуна и стали, то мы потеряли около 70%; это означает недостаток того промышленного продукта, на котором строится весь экономический организм всякой страны и без которого, понятно, нельзя построить социалистического хозяйства"[5].

Ленин зачитывал свой доклад как классический троцкист, говоря прежде всего о перманентной революции, о надеждах на революцию мировую, а в первую очередь — германскую, о принципиальной невозможности совместного существования социалистических и капиталистических государств. Можно с

4. Впрочем, на съезде делегатам была роздана анкета из 44 пунктов. Советские источники указывают, что поскольку "анкеты найдены не все", они до сих пор не могут быть опубликованы. (См.: Седьмой съезд РКП(б), стр. 194-195).

5. Труды I Всероссийского Съезда Советов Народного Хозяйства. 26-го мая — 4 июня 1918 г. (Стенографический отчет), Москва, 1918, стр. 15.

уверенностью сказать, что эта речь стала программной для самого Ленина. С согласия ЦК или же без него он всегда следовал положениям своего доклада вплоть до ноября 1918 г., когда решился на разрыв Брестского мира. По существу, Ленин солидаризировался с левыми коммунистами по всем основным вопросам: приветствовал революционную войну, партизанскую борьбу, мировую революцию, признавал, что война с Германией неизбежна, что невозможно сосуществование с капиталистическими странами, что Петроград и Москву скорее всего придется отдать немцам, подготавливающимся для очередного прыжка, что "передышка" всего-то может продлиться — день.

Но в этом последнем пункте и было разногласие. Ленин считал, что эта передышка, хоть в один день, стоит трети России и, что более существенно, — отхода от революционных догм.

Здесь левые коммунисты никак не могли с ним согласиться, считая, что любой мир немедленно и безвозвратно подорвет шансы на европейскую революцию, прежде всего на революцию в Германии, что платой за этот мир будет поражение мировой революции.

С ответным словом Ленину по этим пунктам на съезде выступил Бухарин: "Мы всегда говорили... что рано или поздно русская революция... должна будет столкнуться с международным капиталом. Этот момент теперь наступил. Уже в самом начале революции мы говорили, что русская революция либо будет спасена международной революцией, либо погибнет под ударами международного капитала. Это было основным нашим тезисом, и совершенно естественно, раз мы говорили даже о возможной гибели русской революции, никто не может нам сказать, что мы не предвидели тех трудностей, которые нам предстоят ... Я неоднократно писал, что возможно наступление немцев, что оно вполне реально, что такие перспективы налицо. Разногласия наши определяются не фактом возможности или невозможности германского наступления. Они лежат гораздо глубже. Мы утверждаем, что выгоды, проистекающие из подписания мирного договора, являются иллюзией ... Мы должны дать себе совершенно ясный отчет в том, что нам в этом столкновении, особенно на первых порах, предстоит ряд сплошных поражений. Тем не менее мы говорим о том, что мы можем принять перспективу не-

медленной войны с империалистами. Мирного сожительства между нами — между Советской республикой и международным капиталом — быть не может".[6]

После речи Бухарина заседание было закрыто. Но бой по вопросу о Брестском мире только начинался. На вечернем заседании в прениях по докладу Ленина и Бухарина первым выступил Урицкий, сказавший, что Ленин "в правоте своей позиции нас не убедил. Что-нибудь одно из двух: или Владимир Ильич желает и будет добиваться передышки, очень продолжительной ...или Владимир Ильич готов успокоиться на передышке в два-три дня, которая ему ничего не даст, а угрожает разрушить оставшиеся железные дороги и ту небольшую армию, которую мы только что начали строить... Мы должны признать, что мы берем никому ненужную, бесполезную и вредную передышку с тем, чтобы на другой день, при гораздо более скверных условиях, сорвав настроение, которое сейчас начало создаваться... возобновить войну, отступать, отступать до бесконечности, эвакуировать не только Петроград, но и Москву. Отступать все дальше, вплоть до Урала. С военно-технической точки зрения для всякого ясно, что общее положение может значительно ухудшиться."

Урицкий не оставил камня на камне и от ленинского сравнения Брестского мира с Тильзитским: "Пример Тильзита неудачен, так как не немецкий рабочий класс заключал мир в Тильзите, подписала его другая сторона. Немцам пришлось принять его, как совершившийся факт. Тут же получается совершенно другое. Мы, рабоче-крестьянское правительство, заключаем мир, который может убить самую сущность, самое содержание пролетарского правительства. Мы его заключаем, не учитывая того, что подписываем себе смертный приговор... Мы должны отказаться от ратификации договора и вести ту линию, которую мы вели до сих пор. Вероятно, эта тактика принесет вначале на поле брани целый ряд поражений. Но эти поражения могут гораздо больше содействовать развязке социалистической революции в Западной Европе, чем тот похабный мир, который

6. Седьмой съезд РКП(б), стр. 33-38.

нам предлагают сейчас ратифицировать. Мы должны отказаться от той линии поведения, которую повело большинство ЦК, и отказаться от ратификации мира."[7]

Бубнов пытался быть Ленина его же собственными цитатами: "Я хочу, прежде всего, показать вам здесь, что мы, отстаивая нашу позицию, базируемся на тех положениях и на тех соображениях, которые когда-то развивались самим тов. Лениным. В октябре месяце тов. Ленин утверждал, что мы стоим в преддверии всемирной пролетарской революции, что мы переживаем канун революции...

Сейчас, в такой обстановке, когда не только назревает, но уже назрел революционный кризис в Западной Европе, когда мы имеем такую обстановку, что международная революция готовится перейти в самую острую, самую развернутую форму гражданской войны, согласие заключить мир в такой обстановке наносит удар делу международного пролетариата. Перед пролетариатом в настоящее время встала задача развития гражданской войны в международном масштабе. Это не фантастическая, а вполне реальная задача ...Перед нами встает задача, которая формулируется двумя словами: революционная война. Тов. Ленин рассуждал на этот счет весьма определенно. На первом Всероссийском съезде Советов он утверждал, что мы вынуждены будем вести революционную войну. И это должно быть тогда, когда пролетариат станет у власти. Он говорил так: "Мы сепаратный мир отвергаем, потому что мы отвергаем его как всякое соглашение с капиталистами". Ленин представлял себе революционную войну именно в виде войны наступательной. То, что мы сейчас утверждаем, является ни чем иным, как развитием тех положений, которые когда-то были выставлены тов. Лениным".

Бубнов недвусмысленно упрекнул Ленина в лицемерии: "Тов. Ленин говорил нам, что в настоящее время войну вести нельзя, потому что массы воевать не хотят, крестьянство хочет мира... С каких это пор мы ставим вопрос так, как ставит его сейчас тов. Ленин?"[8]

7. Седьмой съезд РКП(б), стр. 41-44.
8. Там же, стр. 49-51.

Точку зрения партийного большинства, в том числе Ленина, подверг критике в своей речи Радек. Он начал с октябрьского восстания: "Если мы хотим уяснить себе невозможность, неприемлемость политики, которую предлагает тов. Ленин, надо анализировать нашу прошлую политику, начиная с октябрьских дней. При этом окажется, что в Бресте не только не было никакой ошибки, но все случившееся было абсолютной необходимостью, которую чувствовал сам тов. Ленин. Когда октябрьская революция совершилась, никто не думал, что немецкий империализм оставит нас в покое; наоборот, всякий прекрасно понимал, что... вопрос о войне — остается во всей силе... Почему же тогда ни тов. Ленин, ни кто-либо другой из членов ЦК не стал на путь компромисса? Товарищи из ЦК с тов. Лениным во главе стояли на точке зрения демонстративной политики мира, политики возбуждения масс в Европе. Я напомню тов. Ленину, что когда пришли из Бреста сведения о больших демонстрациях в Австрии и Германии, я спросил его, как он смотрит на общее положение, и он ответил одним словом: "рвать"... Логическим следствием всей нашей внутренней политики было то, что мы в Бресте не могли идти на сделку, мы только могли будить рабочие массы в Европе. Другого выхода не было... Эта демонстративная политика в Бресте вызвала всеобщую забастовку в Германии, стачки в Австрии, которые были первым пробуждением европейского пролетариата за все время войны — факт, которого не знает история Германии и Австрии. Вот в чем наше спасение. Неужели вы думаете, что если бы Троцкий в Бресте сказал: "Хорошо, будем торговаться", это подняло бы немецких рабочих? Понятно, что революционное настроение в Западной Европе поднимала только наша борьба, она сделала возможной забастовку."

Радек сказал несколько слов и о слабости немцев, по крайней мере о слабости потенциальной: "...Мы были правы, утверждая, что крупных сил у немцев нет. Немецкая официальная пресса доказывала, что... возможна сделка с Россией без заключения формального мира. Об этом свидетельствует, между прочим, и официальный протест австрийского правительства... Немецкая буржуазия и правительство колебались, и только 13-го было принято решение о наступлении... То, что происходило в

Бресте до последнего дня, это была не фраза, а революционная политика. Когда мы говорили о партизанской борьбе, то тут не было никакой фразы... Знатоки военного дела сходятся в том, что если правительство решит оставить Петроград и уехать подальше, в глубь страны, оно в состоянии создать новые военные кадры в продолжение 3 месяцев. За это время немцы не будут в состоянии идти в глубь страны ввиду международного положения, ввиду положения дел на Западе. За это время мы будем в состоянии создать силу, которая будет затягивать войну, защищаться... Таким образом, создастся новая сила и новая борьба, в которой мы оживем. Серьезная защита состоит в том, что теперь же необходимо провозгласить идею реванша. ...Вы серьезно вредите пролетарскому движению, ибо немцы уже подготовляют десант в Финляндии. Через несколько дней десант этот будет совершившимся фактом. Вы не выполните вашего обязательства и не будете иметь нового военного аппарата ...Тогда немцы подойдут к Петрограду со стороны Пскова и со стороны Финляндии. Нет ничего более опасного, чем иллюзии после поражения. Я думаю, что в этом роковая ошибка, за которую тов. Ленину придется расплачиваться...".[9]

Выступивший против подписания мира и за революционную войну Рязанов фактически обвинил Ленина в измене революции: "Эвакуация Петрограда возможна, но возможна как эвакуация... учреждений. Но эвакуация Питерского района, эвакуация Петрограда как центра промышленности, как центра организаций, связывающего пролетарскую массу — ее немыслимо совершить в несколько дней. Всякая попытка сдать этот Питер без сопротивления, подписав и ратифицировав этот мир, она была бы неизбежной изменой по отношению к русскому пролетариату. Эвакуация Питера есть укрепление белогвардейской Финляндии. Но эвакуация Питера только провоцировала бы немцев на дальнейшее наступление... Тов. Ленин отдаст Питер, Москву, Урал, он не боится пойти во Владивосток, если японцы его примут. Он готов отступать и отступать даже тогда, когда его Троцкий хватает за фалды. Я скажу, что этому отступлению есть предел. Я

9. Седьмой съезд РКП(б), стр. 57-61.

не скажу "измена и предательство"[10].

Но говоря так, Рязанов обвинял Ленина именно в предательстве.

Седьмой партийный съезд был знаменателен тем, что большинство его делегатов стояло за ратификацию мира, в то время как большинство выступавших было против ратификации, а поддерживающее Ленина меньшинство выступавших, да и сам Ленин высказывались за подписание Брестского мира с тысячами оговорок и не всегда уверенно. Так, Зиновьев говорил: "Общее положение настолько запутанно, что никто не может предсказать, долго ли продолжится передышка, или она прекратится очень скоро. Этого сказать никто не может. Казалось, руководство событиями выскальзывает из рук самой правительственной партии Германии... Никто не может сказать, как развернутся события..."[11].

Смигла, готовый пожертвовать русской революцией ради международной, говорил: "Хорошо, если бы было доказано, что с гибелью русской революции, имеющей уже большой опыт, международная революция развилась и стала бы фактом — мы могли бы бросить нашу революцию ради международной революции. Хорошо, если бы было доказано, что... они прекратят войну с нами и начнут давить свою буржуазию... а в результате мы восстанем, или, как выразился Троцкий, если мы погибнем, нас выручит пролетариат международный. Если бы было доказано, что в интересах международной революции следует пойти на эту войну, неминуемо несущую нам поражение, мы не возражали бы против нее".[12]

Так говорил и Сокольников — еще один сторонник ленинской точки зрения: "Надо подготовить революционную войну ...нужно создать соответствующие условия, организовать страну, и лишь тогда действительно возможна была бы революционная война, и были бы какие-либо шансы на успех. Мы не можем, конечно, отрицать того, что между социалистической страной и страной империалистической война неизбежна... Наш анализ

10. Седьмой съезд РКП(б), стр. 76.
11. Там же, стр. 45-46.
12. Там же, стр. 55.

событий говорит, что война неизбежна. Я подписываюсь под каждым словом тов. Радека, когда он говорит о том, что наша задача состоит в подготовке этой революционной войны[13]."

И даже Свердлов, тоже сторонник ратификации, выступил не больше не меньше, как с разъяснением того факта, что политика Троцкого на Брестских переговорах была политикой ЦК, а не лично Троцкого: "Все мы одинаково стояли за то, что нужно затягивать переговоры до последнего момента, нужно затягивать как можно дольше, во что бы то ни стало. Все мы отстаивали как раз ту позицию, которую вела вначале наша Брестская делегация во главе с тов. Троцким, мы все были вполне единодушны, что эта политика, направленная к пробуждению пролетарских масс Запада, была вполне правильной. Мы все разделяли эту точку зрения. ...Так что все упреки, что Центральный Комитет вел неверную политику, не соответствуют действительности. Мы и до сих пор говорим, что при известных условиях нам революционную войну придется неизбежно вести".

Свердлов не скрывал, таким образом, что войны, как было очевидно всем большевикам, не избежать. Но в пользу ратификации мира он выдвинул один серьезный аргумент, которого не увидел даже Ленин: "Если мы подпишем этот мир, и в результате этого мира возникнет новая война, то только при этих условиях... массы будут убеждены в том, что иного выхода, как драться, для них не существует, и мы должны привести широкие массы к такому сознанию".[14] Т.е. мир ратифицируем, но с пониманием, что завтра "возникнет" война, а именно это и требуется для мобилизации населения. О том же, хотя и с несколько другой стороны, заявила противница ратификации А. Коллонтай: "Сейчас получается следующее положение вещей: прелиминарный мир подписан, а мы видим, что война продолжается ...Этот мир, если он будет ратифицирован, едва ли будет представлять нечто большее, чем бумажку, которую подпишут обе стороны с тем, чтобы ее не соблюдать. Только с этой точки зрения правы те наши товарищи, которые стоят за подписание мира, — внешним образом соблюдая его, — при первой возможности стре-

13. Седьмой съезд РКП(б), стр. 63, 64.
14. Там же, стр. 77-79.

миться нарушить. Но я думаю, что сама жизнь не дает возможности этой передышки. Мир сейчас уже стал невозможностью... И мы должны использовать этот момент, создавая интернациональную революционную армию. И если погибнет наша Советская республика, наше знамя поднимут другие... Да здравствует революционная война![15]"

С изложением "третьей позиции" — ни мира, ни войны — на съезде выступил Троцкий, который "воздержался от голосования в Центральном Комитете при решении этого важнейшего вопроса", потому что не считал "решающим для судеб революции то или другое отношение к этому вопросу..." Троцкий считал, что победить больше шансов "не на той стороне, на которой стоит тов. Ленин". Троцкий продолжил: "Несомненно, все мы без исключения полагали, что самый факт нашей октябрьской революции... послужит прямым и непосредственным толчком для развития брожения в Западной Европе... Несомненно, что если иметь в виду простую передышку для нашего внутреннего строительства или для того, чтобы получить благоприятные материальные условия, мы должны были бы заключить мир в ноябре. Тогда мы могли бы получить от немцев самый мир, потому что мы первые пробили брешь в рядах врагов Германии. Но никто из нас на этой точке зрения не стоял. Все, в том числе и тов. Ленин, говорили: "Идите и требуйте от немцев ясности в их формулировках, уличайте их, при первой возможности оборвите переговоры и возвращайтесь назад". Все мы видели в этом существо мирных переговоров. Перед последней поездкой в Брест-Литовск мы все время обсуждали вопрос о дальнейшей нашей тактике. И только один голос в Центральном Комитете раздался за то, чтобы немедленно подписать мир: это голос Зиновьева. Он говорил, что оттягиванием мы будем ухудшать условия мира, подписывать его нужно сейчас. Но большинство сказало: "Нет, продолжайте ту же политику агитации, затягивания..." ...В последний момент в Брест-Литовске мы получили сведения о стачках в Германии и в Австрии. Спрашивается: должны ли мы были в этих условиях поставить на испытание силы германского пролетариата? Я считаю, что мы должны бы-

15. Седьмой съезд РКП(б), стр. 88-89.

ли прежде всего признать невозможность подписания мира. Я был одним из тех, которые думали, что германцы наступать не будут. В то же время я говорил, что если они будут наступать, то у нас всегда будет время подписать мир, хотя бы и в худших условиях... Разумеется, мы сделали рискованный шаг. Здесь было поставлено на карту очень много: поддержит ли нас европейский пролетариат или не поддержит? Я должен сказать, что тов. Ленин говорил о том, что немцы хотят подписать мир в Петрограде. Однако, Ленин высказал сомнение в возможности осуществления этого плана немцев, очевидно, полагая, что факт взятия Петрограда подействовал бы слишком революционизирующим образом на германских рабочих... Вся наша тактика строится именно на этом риске. Все зависит от скорости пробуждения европейской революции."

В целом же Троцкий выступил за ратификацию мира: "Я не буду предлагать вам не ратифицировать его... Но я думаю, что уходить в отставку мы должны, если это придется, как революционная партия, т.е. борясь до последней капли крови за каждую позицию... Европейский пролетариат более, чем мы, созрел для социализма. Всякое наше действие будет всегда провокацией по отношению к германским империалистам. Украина сражается, мы их не поддерживаем. Мы берем передышку. Но если немец потребует, чтобы мы подписали мир с Украинской Радой, подпишем мы его или нет? Я говорю — нет. Это уже будет предательство в полном смысле слова... Есть известный предел, дальше которого мы идти не можем".[16]

Не придя ни к какому решению, в 9.45 вечера 7 марта заседание закрылось. На следующий день, 8 марта, в 11.40 дня открылось четвертое, предпоследнее заседание. Сначала дали высказаться обижавшимся на центр "провинциалам". Затем слово

16. Седьмой съезд РКП(б), стр. 65-69, 71-72. До этого предела большевики действительно не доходили очень долго. По мирному договору советское правительство обязано было заключить мир с Украинской Радой. Но переговоры о мире не состоялись. В апреле 1918 г. оккупационные германские войска заменили Раду правительством гетмана Скоропадского. И только с ним 23 мая большевики начали мирные переговоры, а 14 июня подписали перемирие. Перед предстоящим разрывом с немцами нужно было подстраховать себя миром с Украиной.

взял Бухарин, поставивший вопрос о революционной войне вполне открыто: "Возможна ли теперь вообще война? Нужно решить, возможна ли она объективно, или нет. Мы отвечаем, что такого рода война возможна — наши противники утверждают, что не невозможна". И Ленин вдруг не выдержал, сорвался, крикнул из зала: "Возможна". Казалось, Бухарин уже побеждал в этой схватке, продолжая давить на спасовавшего перед опасностью, размякшего Ленина: "Если он полагает, что через два-три дня мы в состоянии будем вести войну, то для чего он покупает такой ценой этот договор, наносящий нам неисчислимый вред и шельмующий нас в глазах всего мирового пролетариата? Для чего он нужен, если мы можем вести войну? Тов. Ленин приближается к нашей позиции... Платить такую дорогую цену, которую собирается платить тов. Ленин, не стоит. Вы слышали от него здесь, что он готов заплатить ценой в сто раз большей. Извините, такого расчета, такой бухгалтерии понять никоим образом невозможно".[17]

Наверное, никто больше, чем Бухарин, не доставил в тот день Ленину столько хлопот. Он бил по швам хрупкой ленинской теории, не давая отдышаться, приперев Ленина к стенке, не оставляя и слабой возможности оправдаться ленинскому большинству, так как не было такого оправдания с интернациональной коммунистической точки зрения. Вышедший после Бухарина на трибуну Ленин, при всем желании разбить Бухарина, вынужден был вскользь заметить, что сторонники ленинской позиции "на девять десятых с Бухариным согласны".[18] О левых коммунистах, видевших отступление в самом факте подписания бумажного договора, Ленин говорил с некоторой издевкой, определенно дав понять, что факт подписания договора ни к чему не обязывает: "Никогда в войне формальными соображениями связывать себя нельзя ...Договор есть средство собирать силы... Если вам угодно, связывайте себя формальными соображениями навсегда и давайте тогда ответственные посты левым эсерам". Ленин пригрозил отставкой: "Тогда отдавайте посты Троцкому и др. Мы на себя ответственности за это не возьмем".

17. Седьмой съезд РКП(б), стр. 101-103.
18. Там же, стр. 109.

Ленин пытался доказать, что мир для большевиков не означал капитуляции, но был лишь безобидным тактическим маневром: "Тем, что мы подписали договор, мы сберегли Питер хотя бы на несколько дней. (Пусть секретари и стенографисты не вздумают этого писать.)". — (не те еще были времена, "вздумали"; ленинское запрещение тоже попало в стенограмму). —"В договоре приказано вывести из Финляндии наши войска, заведомо негодные, но нам не запрещено ввозить оружие в Финляндию. Если бы Питер пал несколько дней тому назад, то паника охватила бы Питер, и мы ничего бы не вывезли, а за эти пять дней мы помогли нашим финским товарищам, — я не скажу, сколько, они это сами знают... Не погибнет никогда Россия, если провалится Питер, тут тысячу раз прав тов. Бухарин... Революционная война придет, в этом у нас разногласий нет".[19]

В этих спорах, в этой путанице при уравнениях с десятью неизвестными, при неуверенности всех и каждого из выступавших большевистских функционеров делегатам было трудно не то чтобы разобраться в происходящем, но просто занять какую-нибудь осознанную позицию. Наверное, если бы на съезде против Ленина выступил Троцкий, не видать бы было Ленину большинства. Но Троцкий остался лоялен Ленину, занял позицию нейтралитета, и за ленинскую резолюцию в целом проголосовало 28 человек. За резолюцию левых коммунистов — 9. Зарезервировав за собой большинство, Ленин внес две поправки: "настоящая резолюция не публикуется в печати, а сообщается только о ратификации договора; съезд дает полномочия ЦК партии как порвать все мирные договоры, так и объявить войну любой империалистической державе и всему миру, когда ЦК партии признает для этого момент подходящим." И уже не в виде поправки, а так, Ленин добавил: "Украинцам финансовую помощь мы даем, помогаем, чем можем..."

И прежде, чем съезд успел как-либо прореагировать на ленинскую поправку о праве ЦК объявить войну всему миру, Свердлов не растерялся, нашелся, поставив дело так, что не пришлось доводить и до голосования: "Должен только сделать маленькое разъяснение насчет последнего предложения тов. Лени-

19. Седьмой съезд РКП(б), стр. 110-114.

на, что никакому голосованию его подвергать не буду. Само собою разумеется, что ЦК партии, как верховный орган партии в период между съездами, может принимать всякие ответственные решения".[20] В суматохе никто не одернул Свердлова, что не ЦК партии, а СНК и ВЦИК. Ленин, совсем уж окрыленный, предложил с каждого присутствующего в зале взять еще и личную подписку о неразглашении, "ввиду государственной важности вопроса". Ленин продолжил: "Это вовсе не такая излишняя мера, мы находимся в условиях, когда военные тайны становятся для Российской республики очень важными вопросами, самым существенным. Если мы в печати скажем, что съезд признал ратификацию, то тогда недоразумений быть не может. Я только предлагаю не голосовать этого сейчас потому, что могут быть изменения: сегодня еще должны прийти сведения, у нас приняты специальные меры, чтобы нас информировали с северо-востока и юга, эти известия могут кое-что изменить". Вероятно, Ленин намекал на посланную американцам, англичанам и французам ноту. Ленин говорил: "Раз съезд согласился, что мы должны маневрировать в интересах революционной войны, дает даже полномочия ЦК объявить войну, — ясное дело, что в этом у нас согласие обеих частей партии, спор только и состоял в том, продолжать ли без всякой передышки войну или нет... Я считаю более практическим подтвердить лишь о том, что надо держать ее в тайне. Кроме того, принять дополнительные меры и взять на этот счет личную подписку с каждого находящегося в зале"[21].

Всё приняли. Проголосовали не публиковать резолюцию, обязать всех хранить тайну, дать личную подписку о неразглашении. Даже пункт о том, что "ЦК дается полномочие разорвать все договоры и объявить войну" съезд тоже принял, причем — единогласно. А Ленин все требовал и требовал: "Нельзя ли ввиду того, что была роздана резолюция, сейчас же принять решение, что всякий, получивший резолюцию, приносит ее на этот стол немедленно и тут же. Это есть одна из мер сохранения военной тайны". Здесь даже Свердлов не выдержал, осадил Ленина, но мягко: "Каждый, вернувшийся домой, должен сделать

20. Седьмой съезд РКП(б), стр. 123-124.
21. Там же, стр. 125-126.

отчет в своей организации, по крайней мере центрам, и вы должны будете иметь эти резолюции, но каждый должен помнить, какие документы он имеет в своих руках." Но Ленин не уступил так просто и в этом, даже Свердлову: "Я прошу голосовать. Наши партийные центры состоят из взрослых людей, которые поймут, что *сообщения, содержащие военную тайну, делаются устно*. Я поэтому вполне настаиваю, чтобы немедленно все тексты резолюций, имеющиеся на руках, положить сюда, на этот стол".[22]

Здесь Ленин уже перешагивал все допустимые и разумные пределы. Проголосовали — и эту поправку отвергли. Зато при поименном голосовании по резолюции о войне и мире за ратификацию высказалось 30 человек, против — 12[23]. Четверо воздержалось. Каким-то ненужным эпилогом к этому голосованию было заявление Рязанова о выходе из партии и заявление Троцкого о том, что он слагает с себя "какие бы то ни было ответственные посты, которые до сих пор возлагала" на него партия[24].

Бухарин никаких заявлений не делал, а просто ушел со съезда. Урицкий "от имени группы, голосующей за резолюцию Бухарина против резолюции Ленина, и от имени Бухарина, которого против его воли поставили в этом списке", заявил, что члены группы отказываются входить в ЦК. Вскоре, однако, Бухарин вернулся в зал заседаний, Троцкий "забыл" о своем заявле-

22. Седьмой съезд РКП(б), стр. 127.

23. При более удачном для левых коммунистов и других противников ратификации мирного договора ходе событий их могло быть двадцать. Дело в том, что по случайному стечению обстоятельств на съезд опоздало восемь делегатов Уральского областного комитета партии. В телеграмме, присланной по этому поводу из Екатеринбурга в адрес ЦК, Стасовой, Ленину и Сталину, указывалось: "Большинство уральской делегации задержалось отъездом на партийный съезд. Просим отсрочить съезд... до прибытия делегации. Если голосование по подписанию мира будет происходить без нее, требуем присоединения восьми голосов против подписания мира, за революционную войну. Голощекину и Моисееву передайте, что подрайонные организации Екатеринбургского и Челябинского округов за революционную войну. Требуем считаться уполномочившими их организациями" (Седьмой съезд РКП(б), стр. 189-190).

24. Седьмой съезд РКП(б), стр. 129.

нии, а Рязанов остался в партии. В общем, как заметил Урицкий, "мы слишком дисциплинированная партия". Так оно в действительности и было.

Одновременно с работой Седьмого съезда партии в Петрограде проходила городская конференция РКП(б). Как и Московская партийная конференция, она была посвящена двум вопросам: Брестскому миру и предотвращению раскола в рядах большевистской партии. Как и в Москве, большинством голосов конференция высказалась против раскола, потребовав от левых коммунистов "прекращения обособленного организационного существования", и постановила прекратить издание органа левых "Коммунист"; органом Петроградской партийной организации была объявлена "Петроградская правда".[25] Однако, в вопросе о Брестском мире Ленина снова ожидало разочарование. Даже Зиновьев, представлявший на конференции ленинскую позицию, закончил свою речь неким компромиссом: "Перспективы на будущее: ни одну секунду нельзя создавать впечатление, будто наступил мирный период. Передышка есть передышка. Надо бить в набат. Надо готовиться, надо мобилизовать наши силы. Под перекрестным огнем наших врагов необходимо создавать армию революции".[26] А большинством голосов конференция приняла точку зрения Троцкого. Вполне возможно, что на точке зрения Троцкого стояли в те дни и многие левые эсеры. По крайней мере на партийной конференции в Петрограде из 160 левых эсеров за левоэсеровскую резолюцию голосовало только 15 человек. А поскольку левые эсеры в большинстве своем были против ратификации мира, поскольку, с другой стороны, резолюция ЦК скорее всего совпадала с платформой левых коммунистов, остается предположить, что актив ПЛСР поддержал позицию Троцкого " ни мира, ни войны".

Большевики отважились провести партийный съезд в Петрограде, но Съезд Советов решено было созвать в Москве, куда постановлением съезда была теперь перенесена столица совет-

25. С 20 апреля Бухарин, Радек, Смирнов и Оболенский (Осинский) стали выпускать в Москве еженедельный журнал "Коммунист", но вышло только четыре номера, и в июне журнал закрыли.

26. Зиновьев, Сочинения, т. 7, Ленинград, 1925, стр. 535.

ской России. "Правительство бежит в Москву! Две трети немецкого боевого флота сосредоточились у островов Рижского залива... Неизмеримо слабейший Балтийский флот вынужден отступить. Чем отвечает на эти известия правительство? Оно бежит в Москву. Оно решает сбежать в Москву, и только взрыв негодования солдат и рабочих вынуждает его отсрочить решение ...Правительство исподволь подготовляет свой переезд, уже перевозит ряд правительственных учреждений в Москву и в решительный момент поставит Петроград перед совершившимся фактом... Оно заявило, что *Петрограду* грозит опасность, а посему оно должно обеспечить *себе* безопасность"[27] — так писал Зиновьев 10 октября 1917 г. в своей анонимной статье, опубликованной в газете "Рабочий путь". Но тогда хотело "бежать" *Временное* правительство, а теперь — *советское*. И в резолюции съезда Советов, автором которой был все тот же Зиновьев, указывалось, что столица переносится из Петрограда в Москву, поскольку "в условиях того кризиса, который переживает русская революция в данный момент, положение Петрограда, как столицы, резко изменилось".[28]

Как менялись системы отсчета и оценки одних и тех же событий, как ко всему применялась двойная шкала! Ведь когда из Петрограда хотело бежать Временное Правительство, это рассматривалось как предательство не только большевиками, но и вообще всеми левыми. Меньшевик Суханов писал: "Как только грянул немецкий десант, как только был занят Рижский залив и заговорили о цеппелинах ...правительство сочло уместным вновь вернуться к своему излюбленному плану: *улепетнуть из Петербурга*... Но вывезти промышленность, необходимую для обороны, было невозможно. И на этот случай в правительственных кругах указывали, что "*угроза Петрограду вопроса о войне не решает*" ("Речь", 6 окт.)

Это была заведомая неправда. *Без Петербурга воевать было нельзя*. Это немедленно было доказано цифрами... В левой печати поднялись протесты, увещания, издевательства. В рабочих районах эта готовность отдать столицу немцам и бежать

27. Зиновьев, Сочинения, т. 7, ч. 2, стр. 186.
28. Там же, т. 7, ч. 1, стр. 544.

вызвала величайшее негодование. Солдатская секция 6 октября приняла резолюцию: "Секция категорически протестует против плана переселения правительства из Петербурга в Москву, т.к. такое переселение означало бы предоставление революционной столицы на произвол судьбы. Если... правительство неспособно защитить Петроград, то оно обязано... уступить место другому правительству. Переезд в Москву означал бы дезертирство..." Все это была святая правда".[29]

Но правда эта на большевистское правительство уже не распространялась. Впрочем, как уверяли большевики, столица переносилась в Москву временно, "потому что мы надеемся, — указывал Зиновьев, — что берлинский пролетариат поможет нам перенести ее обратно в Красный Петроград. Но мы, конечно, не можем сказать, когда это будет. Может быть и обратное, что нам придется перенести столицу и на Волгу или Урал — это будет диктоваться положением международной революции"[30]. Пока же очевидно было только то, что над Петроградом нависла угроза германской оккупации и падения советской власти. И советское правительство покинуло город. По соображениям безопасности выехали не все вместе. 9 марта уехал Свердлов, прибывший в Москву 10-го. 11 марта с поездом Совнаркома прибыл Ленин. В пути правительственные поезда охраняли латыши. Первоначально в Москве правительство поселилось в гостинице "Националь", ставшей по этому случаю "1-м Домом Советов".

Сразу же после переезда в Москву началась подготовка к открытию съезда Советов, ранее назначенному на 12 марта, тоже не представительному, а потому названному Чрезвычайным. Положение Ленина было тяжелым. В оппозиции к Брестскому миру находились не только левые коммунисты, но и часть левоэсеровской партии, анархисты-коммунисты, эсеры и меньшевики. Последние выдвинули резолюцию, в которой требовали отклонения мирного договора, создания "всенародного ополчения", выражения недоверия советскому правительству и передачи власти Учредительному Собранию.

---

29. Ник. Суханов. Записки о революции, кн. VI. Берлин—Петербург—Москва, 1923, стр. 235-236.

30. Зиновьев, Сочинения, т. 7, ч. 1, стр. 537.

В резолюции, в частности, говорилось: "Подписанный за спиной народа Советом Народных Комиссаров мирный договор в Бресте, отрывая от России громадные территории, отдавая целый ряд национальностей без их согласия во власть империалистической Германии, разоряя остальную часть России... означает первый раздел России... Тем самым Брестский мир знаменует собою предательство... российской революции, которой несут гибель германская политическая и экономическая опека, предательство международного пролетариата, всему движению которого наносится смертельный удар капитуляцией революционной страны перед худшим врагом социализма... Подписать такой мир не имел никакого права Совет Народных Комиссаров, одобрить это подписание не имел никакого права Центральный Исполнительный Комитет".[31] Мартов в дополнение к этому потребовал "назначить следственную комиссию по поводу того, почему наша армия бежала". На это Зиновьев резонно ответил: "Если назначать следственную комиссию, то ее надо назначить над всем ходом нашей революции"

(*окончание следует*)

Ю. Фельштинский

Новое Русское Слово

ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ РУССКАЯ ГАЗЕТА ЗА РУБЕЖОМ

75-й год издания. Выходит 6 раз в неделю в Нью-Йорке

Главный редактор: АНДРЕЙ СЕДЫХ

Свыше 200 сотрудников во всех странах мира. В Новом Русском Слове печатают свои произведения виднейшие эмигрантские писатели, поэты и публицисты.

Полная информация о жизни эмиграции.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: **Воскресное и ежедневное издание:**
один год — 90 амер. долларов
6 месяцев — 50 амер. доллара
Воскресное издание только:
один год — 35 амер. долларов

Подписку и объявления направлять по адресу:
NOVOE RUSSKOYE SLOVO
461 8th Avenue — New York, 10001, N.Y., USA.

31. Партийные известия, No. 6-7 (13-14), 20 мая 1918, стр. 15.

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО МАСОНСТВА

(*Доклад, прочитанный в "Лотосе" 9 декабря 1957 г.*)

Многие из присутствующих братьев, конечно, помнят, к сожалению, другие его, вероятно, никогда не читали, один из прелестнейших, если не лучший роман Тургенева "Вешние воды". Вы помните, как он начинается?

Рано состарившийся после довольно бурной — проведенной заграницей — молодости, русский помещик ведет скучную безрадостную жизнь в деревенской глуши и, перебирая какие-то старые вещи, нападает на маленький гранатовый крестик. Он начинает вспоминать все, связанное с этим крестиком; крестик ему подарила молодая итальянская девушка (Джемма) на которой он обещал жениться — все, казалось, улыбалось их безоблачному счастью, как в его жизнь ворвалась роковая женщина, чуть ли не на пари пожелавшая влюбить его в себя, и разрушить его жениховство. После краткого романа эта авантюристка его бросила, он остался у разбитого корыта, вся жизнь его была сломана, и вот на память остался этот маленький гранатовый крестик...

Когда Д... М... дал мне задание перебрать все мои воспоминания в связи с первой четвертью века существования русского зарубежного масонства во Франции и пересмотреть некоторые материалы, я невольно спросил себя: те же ли чувства переживу я, которые испытал тургеневский герой, найдя "гранатовый крестик?" Положа руку на сердце, я отвечу — *нет*!! У нас не только чудные воспоминания, у нас не только гранатовый крестик... Да,

был первый период — наша (сравнительная) молодость, наше влюбление в созданное нами дело, бурное им увлечение, апогеем которого была дивная, скажу, сказочная эпоха "рю де л'Иветт"... Но вот пришла Вторая мировая война — не мне и не здесь говорить, насколько она была целесообразна, нужна, выгодна — но она, конечно, была в сто раз хуже тургеневской роковой женщины. Она все разрушила, все смела, внесла материальный и моральный сумбур во все; на поверхность, совершенно одинаково, как во время оккупации, так и после либерации, выползли подонки общества и залили мутным илом все наши материальные достижения и большую часть наших моральных чаяний... Постепенно мы превзошли все трудности, снова начали созидать, хотя и лишенные собственного пристанища — Иветт — то, во что мы верили и верим. Правда, те, кто был героями юношеского периода нашего романа, в огромном большинстве покоятся на В... В..., правда, "смена" менее интенсивна, но смена есть — мы ей передаем наш гранатовый крестик не только как воспоминание, но как талисман для нынешнего, а главное — для будущего.

Ввиду огромности поставленной мне задачи, мне предстоял выбор: засыпать вас бесконечными цифрами, датами, именами, или дать вам очерк моих личных воспоминаний, впечатлений. Я выбрал последнее, тем более, что я долго не имел другого материала как именно то, что помнил по памяти. Поэтому заранее извиняюсь, если буду иногда грешить точностью дат и имен.

Прежде, чем начать мое изложение, я должен вернуться немного назад. Я, понятно, не буду касаться героических исторических эпох русского масонства, но скажу несколько слов о том, что оно собою представляло хотя бы в XIX веке после его официального запрещения. При этом должен рассеять одну ходячую неточность: в 1822 году, т.е. *до* декабрьского восстания — указом масона, императора Александра I-го ложам было рекомендовано не собираться. Лишь в 1828 году — через целые четыре года *после* декабрьского восстания — начинаются, опять-таки не запрещения, а очень строгий полицейский надзор. Ложи, собственно, перестали открыто собираться, боясь полиции, но не подлежит сомнению, что многие продолжали собираться — например, в имениях богатых аристократов, в которых до наших

времен можно было наткнуться на масонские инструменты, фартуки и т.п. Ничего похожего на *гонение,* которое, например, практикуется во всех странах за железным занавесом, или в Испании — в России не было.

Ложи мартинистской системы — опять-таки, за неимением времени я не могу излагать подробно, что такое мартинизм, — которые по своему замыслу являются маленькими ячейками — продолжали существовать во многих русских городах беспрерывно, равно как и розенкрейцерские и отчасти иллюминаты. Страх все же был велик, законспирированность то что называется "стопроцентная" и, понятно, никаких связей с международным масонством русское масонство XIX-го столетия не имело. Александр II, как известно, был посв... в английское мас... во время поездки в Англию еще наследником престола. С его воцарением полицейские меры отменены не были, но собственно он и его правительство (в котором многие были негласными масонами, вроде гр. Лорис-Меликова, гр. Панина и др.) смотрели на вольных каменщиков сквозь пальцы. Есть сведения, что, например, новиковская л... "Нептун" в Петербурге существовала беспрерывно; в ней был посв... известный историк мас... Пыпин, а также адмирал Беклемишев, доживший до глубокой старости, до наших дней и, после "Нептуна", принимавший видное участие в л... "Карма", уже при достичтимате вел. кн. Александра Михайловича. Ее членом был многим нам памятный бр... А.П. Веретенников, принимавший участие в наших мастерских на Иветт.

В кратковременное царствование Александра III о масонах как-то забыли. Огонь разжегся при Николае II, под влиянием тревожных донесений Охранного Отделения о всесилии французского масонства и начале его преследования во Франции. В Англии во главе его стоял сам Эдуард VII, в Германии дядя Вильгельма, принц Луитпольд. Сам Вильгельм был масоном и любил сниматься и заказывать свои портреты в масонских регалиях...

Охранное Отделение платило громадные по тем временам суммы — по 200 и 100 тысяч рублей главному агенту Рачковскому в Париже, который посылал в Петербург "весьма секретно" мас... бюллетень (который можно было неограниченно до-

ставать) и две-три мастерских ленты. В Париже в то время действовали и умные анти-масоны и просто шарлатаны, вроде пресловутого Таксиля и Дианы Воган. Все это было скорее смешно, чем серьезно. Две причины тем более отодвигали гонение на мас... на задний план. Во-первых, надвигалась первая революция 1905 г., во-вторых, многие знали о принадлежности — собственно к мартинизму, но его отожествляли с масонством — самого императора, председательствовавшего ложей "Роза и Крест", учрежденной в Зимнем Дворце под руководством опытных мартинистов, Филиппа и самого Папюса (д-р Энкоз). Как-то неудобно было ополчаться против масонов, под влиянием которых император Николай II реализовал — это теперь слишком многие забывают — создание Гаагского Международного Трибунала, построил на свои личные средства дивный дворец в Гааге — все это в видах запрещения навеки войны и установления всеобщего мира.

Тогда как большинство изобличавшихся в принадлежности к иудо-масонству (Суворин, Гучков, даже Столыпин) никогда к масонству и близко не подходили и были, скорее, его противниками, во Франции, уже начиная в 80-х годов, ряд русских был посвящен во французские ложи, например, знаменитый изобретатель электрического освещения (до Эдисона) — Яблочков, основатель ложи "Космос", психиатр Баженов, присяжный поверенный Евг. Ив. Кедрин.

В первую половину 1906 года, т.е. сейчас же после первой революции, в парижские ложи — вполне регулярно — был посвящен ряд русских (прошу не путать их с так называемым "думским масонством"): В.А. Маклаков, М.С. Маргулиес, о котором речь будет подробнее впереди, Немирович-Данченко, гр. Лорис-Меликов, гр. Орлов-Давыдов, профессора Максим Ковалевский, Трачевский, Ключевский и несколько других; одни — в Вел... Ложи (л... л... "Космос", "Мон Синай"), другие — в "Вел... Восток". Были такие, которые для верности посвящались в оба обедианса, но эти посвящения хранились в тайне. Мы имеем подлинные документы, свидетельствующие о том, что французы считали, что если принадлежность этих бр... к масонству обнаружится в России — им грозит "le knoute et la déportation dans le fin-fond de la Siberia, в чем, видимо, русские их не особенно разу-

беждали. Вернувшись в Россию, эти братья ни кнута, ни "депортасьона" не получили и основали несколько лож. В Петербурге, в особняке гр. Орлова-Давыдова и под его председательством и, собственно, полностью на его счет (ибо взносов не было). "Северная Звезда" в Москве, — под пред. проф. Баженова "Возрождение".

Для продвижения посвященных этими ложами братьев по градусам из Парижа были командированы несколько высокоградусных братьев, например, бр... Сэншоль, о котором тоже речь будет впереди. Они посвящали братьев в обстоятельствах особенных — весьма тайно. Например, бр... Маргулиеса бр... Сэншоль посвящал в 18-й градус в его камере в тюрьме Кресты, где М.С. Маргулиес отбывал сидение по политическому делу. Приезжие братья, кроме того, снабжали русские ложи кипами подписанных "ан блан" мастерских дипломов, что в дальнейшем повело к ряду недоразумений. Нечего и говорить, что это "кустарное" масонство ни в каких сношениях с иностранными мас... державами не состояло. По имеющимся сведениям работа этих лож шла вяло, малоинтересно. Собирались лица, большей частью встречавшиеся в общественных организациях. Наконец, после крупного скандала с главным финансистом этого масонства, гр. Алексеем Орловым-Давыдовым (иск к нему артистки Пуарэ по поводу признания внебрачного ребенка), петербургская ложа стала разваливаться.

В 1912 году масонская деятельность возобновилась, но на новых началах. Работали маленькие ложи (с самым упрощенным ритуалом) по 6-7 членов в каждой. Из более или менее известных нам лиц в них участвовали: многим знакомый Игорь Платонович Демидов, адвокат Барт, Волков, А.Ф. Керенский (ложа "Малая Медведица"). Были попытки установить легальную связь с Вел... В... Франции, но неуспешно; был учрежден "Великий Восток Народов России" под председательством члена Думы Колюбакина, при очень энергичном Вел... Секр... А.Я. Гальперне, недавно скончавшемся в Лондоне, но никогда к нам не примкнувшем. Эти ложи носили исключительно политически-революционный характер, строго конспиративный; члены одной не могли посещать другие. Военные принципиально не принимались и случай со свиты Его Величества генералом Тепловым,

командиром л. гв. Финляндского полка, являлся исключением. В числе этих лож-ячеек была одна или несколько, состоявших исключительно из членов Государственной Думы — почему это масонство, о котором часто говорят, принято называть "думским". Я хотел все это вам изложить, чтобы немножко прояснить тот сумбур, который происходит, когда говорят о прошлом регулярном, нынешнем регулярном и "думском" масонстве 1909-1917 годов. Кстати, думская л... возглавлялась бр... И.Н. Ефремовым, в дальнейшем регуляризировавшимся в Вел... Ложе и бывшим в числе основателей нынешнего русского мас....

Ко время большевистского переворота в России действовало всего до 28 лож этого "Вел... В... Народов России", большая часть членов коих эмигрировала. В конце войны А.Ф. Керенскому удалось прочесть доклад о большевизме даже в Англии, в местной ложе, в которую его допустили, но в дальнейшем все двери перед этими масонами были закрыты. С большими трудностями "Вел... Восток Франции" регулизировал часть этих братьев, например, бр... Авксентьева, Переверзева, Кроля. Те же, которые захотели войти в ложи нашей юрисдикции — даже такие маститые старики, как бр... Чайковский, Кузьмин-Караваев и другие — должны были начать с начала, т.е. с 1-го градуса.

Небольшая группа, как кн. Оболенский, Зензинов, гр. Орлов-Давыдов, Рубинштейн, Коновалов, И.П. Демидов, по некоторым данным, продолжали собираться "домашним порядком", но эта работа, видимо, скоро заглохла. Неудачны были опять же попытки нескольких братьев возродить пресловутый "Великий Восток Народов России".

Совершенно особо стоит так называемя "Украинская Великая Ложа", организованая неизвестно на чьи средства еще в 1902 году в Женеве. Она распространяла про себя самые фантастические слухи: что в ней числится 20.000 членов, что она существует беспрерывно с 18-го столетия. Во главе ее стоял одно время сам атаман Петлюра. В Париже ее пытался возродить один очень изобретательный бр..., который добился (присоединив к своим фантастическим украинским дипломам еще дипломы одной балканской державы) если не признания "Вел... Л... Украины", то во всяком случае своего личного признания в весьма высоком градусе, и на этом основании он посещал одно время и наши ложи.

Уже в начале Первой мировой войны несколько русских были посвящены во французские ложи "Вел... Востока" и "Великой Ложи". Одними из первых были сыгравшие такую огромную роль в возрождении регулярного русского Шотландского Масонства — Л.Д. Кандауров и ныне здравствующий наш почетный... Д... М... Влад. Дав. Аитов, и ряд других. В частных разговорах эти братья пришли к заключению, что как только Россия освободится от коммунистической власти, ей надлежало бы войти в мировую цепь ф... мае.... Был образован первый организационный комитет 1 декабря 1918 года под председательством Л.Д. Кандаурова в составе: гр. Нессельроде, ген-лейт. Война-Панченко, известный в России крупнейший промышленник Н.К. фон Мекк, художник Широков и адвокаты Грубер и Рапп. Комитет этот не раз менял свой состав, но к 1 апреля 1922 года уже носил наименование Временного Комитета Российского Ф... М... в составе: Л.Д. Кандаурова, Ф.Ф. Макшеева, Г.Б. Слиозберга, В.Д. Аитова, А.И. Мамонтова и П.А. Половцова. Сразу же Комитет приступил к самому важному вопросу — как надлежит строить русское ф... м... — сверху или снизу? К решению этого вопроса, в дополнение к основной ячейке, был привлечен ряд братьев, постепенно посвящавшихся во французские и английские ложи: бр... гр. П. Бобринской, Маринович, адмирал Посохов, ген. Марченко, гр. Эманнуил Бенигсен, В.Н. Скрябин и другие. Ввиду очень серьезной оппозиции ряда братьев к образованию немедленно первой русской синей л..., Л.Д. Кандауров решил, чтобы дело не провалилось, так сказать повысить гр... и пока добиваться создания сразу же л... 18-го гр..., которая и была торжественно инсталлирована под названием "Капитул Астрея" 15-го ноября 1921 года.

Учреждением русских лож в Париже сразу заинтересовалась Чека, через своих гласных и негласных агентов старавшаяся всячески сорвать это дело — и скажем правду — даже в среде тех русских, которые только что были посвящены в местные ложи.

Но был человек сильнее всех Чека в мире, своим фанатизмом в создании и доведении до конца всякого задуманного им дела разбивавший все препятствия, а своей беспредельной энергией обезоруживавший всех противников. Кто не знал покойного Л.Д. Кандаурова, тот не может себе представить, чем

был этот бывший русский консул в Париже. Я попытаюсь дать его портрет, ибо он является основателем и вдохновителем того зарубежного Фр... Масонства, о котором я сегодня буду говорить.

Русский консул в Париже еще до революции, Л.Д. со своими пронизывающими каждого черными сверкающими глазами, с исключительной прозорливостью знакомился с тем океаном русских беженцев, которые приезжали в Париж со всех сторон. Все беженцы поневоле проходили — для получения своих новых паспортов, виз и всего того, что было необходимо — через консульство. Сначала на рю де Гренель, потом на рю Генего, наконец, на рю де л'Иветт. Кто не помнит "кабинета Л.Д."! Его пышущее энергией лицо, часто озаренное саркастической улыбкой, все его словечки всегда "в точку", но сдобренные неисчерпаемым остроумием. Его фигуру, сидящую за письменным столом и, отступая на несколько метров, кресло, на котором клиенты и собеседники сидели, если не как на скамье подсудимых, то как в свидетельском кресле. Своим ясным умом этот замечательный человек не знал ни в одной области ничего "серого", никаких "более или менее", никаких полумер, никаких "да, но только", а главное, ненавидел слово "надо". Для него белое было белым, черное — черным, если "надо", то это давно должно было быть уже сделано. Пользуясь знанием оккультных и магических наук, он ухитрялся насквозь увидеть своего собеседника в несколько минут и моральная "фишка" этого человека была уже установлена. В этом секрет того, почему этот человек так редко ошибался в выборе того или иного кандидата на то или иное место. Престиж его среди французов был огромный и все ему удавалось, как вы сейчас увидите.

Как я только что вам сказал, несмотря на все препятствия, воздвигавшиеся врагами, первая русская мастерская (капитул) была основана. Новый бой возник вокруг желания основать и синюю ложу — первых трех градусов. Прения происходили в бурной обстановке, оппозиционеры этому проекту несколько раз покидали собрание — по каким мотивам они действовали — лучше не настаивать — в лучшем случае, они "не ведали, что творили". Сравнительно малым большинством создание рус-

ской синей ложи было все же решено в положительном смысле; часть оппозиционеров все же осталась в числе основателей, другие (как адмирал Посохов и его друзья) никогда к русским ложам не примкнули.

1 — 14 января 1922 года, в день русского Нового Года, в торжественной обстановке ложа "Астрея" была инсталлирована Вел... М... Морисом Монье, двумя бывшими В... М... — Вельхофом и Ле Фуайэ, со всем блеском, которого Л.Д. добивался. Первым Д... М... был бо-фрэр Л.Д. — Ф.Ф. Макшеев, членами Ложи — Кандауров, А.И. Мамонтов, В.Д. Аитов, Бобринской, Беннигсен, Скрябин, Наумов, Сергей Соколов, Кугушев, Навашин, Маринович, Чайковский, Путилов, Бернштейн, Артамонов, Слиозберг и Нагродский. Работа сейчас же закипела в невиданном масштабе: каждый месяц посвящалось по четыре новых брата. В числе первых были: Шереметьев, Мещерский, Ратнер, Лобанов-Ростовский, ваш покорный слуга, Семенов, Тхоржевский, Алексей Бобринский, Лианозов, Кривошеин и т.д. и т.д. Одновременно ряд братьев был аффилирован: А.В. Давыдов, Мордвинов, позже — ген. Голеевский, князь Кочубей, кн. Гагарин, известный эсэр Савинков (через два года уехавший в Россию, где его расстреляли). Не было времени для докладов — состав пополнялся с исключительным увлечением и быстротой — нечто, чему трудно сейчас поверить.

Два года спустя пришлось открыть вторую ложу — "Северное Сияние" под председательством б... Половцова, который и сейчас является ее почетным председателем, хотя и проживает в Монте-Карло.

Все не прекращавшийся наплыв в "Астрею" людей самых различных профессий — докторов, офицеров, адвокатов, титулованной аристократии, художников, музыкантов, промышленников, политических деятелей — делал две ложи тесными. В декабре 1924 года была открыта третья — "Гермес", которой "Астрея" уступила своего первого Досточтимого — Ф.Ф. Макшеева. "Ложа эта, — пишет в одном из своих трудов Л.Д. Кандауров, — была образована в предположении, что привлеченные в ее состав (учредителей было 16) наиболее известные представители русской науки, индустрии и служилого класса смогут путем докладов излагать свои взгляды на будущее устройство России,

возбудят живой интерес в тех же классах иностранной общественности". Предположению этому не суждено было осуществиться. После двух-трех докладов, по содержанию весьма выдающихся, но специальной подготовки, посещаемость ложи стала падать, а с весны 1925 года ложа перестала собираться. За весь 1925 год был принят всего один профан, причем посвящение состоялось в "Астрее", по делегации от "Гермеса". Выборов на 1926 год произведено не было, Великая Ложа взволновалась, грозило закрытие! Ложа "Астрея" (в частности, ваш покорный слуга, который был в это время Д...М...) уступила "Гермесу" своего блестящего оратора — брата Н.В. Тесленко — знаменитого московского адвоката, и "Гермес", отказавшись от своей первоначальной узкой программы, стал работать, как и остальные наши Ложи.

Русская пословица говорит "На всякого мудреца довольно простоты". Увы, как не был гениален и ловок Л.Д., в одном деле он потерпел фиаско, тем более обидное для него, что, несмотря на мои предсказания этого фиаско, на мои слова, что "едва ли тебе удастся то, то не удавалось в течение ста лет русскому императорскому правительству" — он был и тут уверен в своем успехе. План состоял в том, чтобы в рамках "Кавказской" ложи под названием "Золотое Руно" примирить до 37 различных народностей, всегда бывших в разладе, доходившем до состояния "на ножах". Я был немного знаком с Кавказом и знал, что это невозможно ни в профанском, ни в масонском плане. Я отказался от предложенного мне Л.Д. поста Д... М... в этой проектируемой ложе. Этот пост занял бр... Шереметьев, и новая мастерская была открыта 25 января 1926 года. Прием был массовый, слишком снисходительный и вскоре поневоле сказался разлад между такими крупными деятелями как, например, С.Г. Лианозов и рядом прекрасных людей, но "никаких масонов", к тому же еле говоривших по-русски. Ложа быстро пошла по наклонной плоскости и вскоре раскололась надвое: "Прометей", в которой были горцы-мусульмане и несколько грузин, и "Юпитер", в которую вошли армяне и русские. Первая из них просуществовала (всецело на средства некоего Тапы Чермоева, ибо взносов никто не платил) недолго и была усыплена, вторая — наоборот — стала, как мы ее называли, "крупно-буржуазной" ложей, со-

стоящей из людей материально обеспеченных, с солидным удельным весом в прошлом. Первыми досточтимыми были С.Г. Лианозов, А.В. Давыдов, позже, долгое время, адмирал Вердеревский.

К этой эпохе — 1925-1927 годам — относятся два крупных события, на которых мне нужно остановиться. Русские братья, регулярно посвященные до революции в В... В..., а также те, которые регуляризировались в В... В..., будучи как бы наполовину посвященными в России в "думских" ложах, решили, наконец, образовать свою ложу в Париже, каковая была открыта в январе 1925 года под названием "Северная Звезда", а несколько лет спустя, — ложу "Свободная Россия", позже переименованную в "Вехи" — ныне, кажется, усыпленную. Я был в числе небольшой делегации (вместе с бр... бр... Кандауровым и Кузьминым-Караваевым) на инсталляции и хорошо ее помню. Состав был немногочисленный и мы — на агапу — вместе с инсталляторами, в числе которых был тот же глубокий старик Сэншоль, приезжавший в Россию, легко поместились в небольшом кабинете Фламбаум, так как на рю Кадэ ресторан еще не был организован. Отлично помню первый офицерский состав: Д... М... Авксентьев, 1-ый стр... М.С. Маргулиес, 2-ой Борис Мирский, оратор В.А. Маклаков.

Не могу не сказать несколько самых теплых слов о бр... Мануиле Сергеевиче Маргулиесе. Это был прежде всего человек, во многом походивший на Л.Д. Кандаурова. Бурного темперамента, выдающийся оратор, добрейший человек, этот брат должен быть золотыми буквами записан в истории русского фр... м... всех обедиансов. Его главнейшей заслугой было неутомимое ознакомление французских бр... бр... с сущностью большевизма в России. Он читал все советские газеты, собрал огромную документацию — политическую, экономическую, читал сам доклады в многочисленных ложах, организовывал доклады антибольшевистского характера. Тогда как мы большей частью говорим обо всем этом в нашей среде, для М.С. задачей номер один его мас... работы была именно эта пропаганда среди французов. Он ее доблестно осуществлял — честь ему, слава и вечный покой за это!

Второе важное событие было осуществление заветной меч-

ты всех братьев с самого начала — быть у себя дома. Уже в 1923 году, параллельно с неосуществленной попыткой создать свою автономную русскую "Великую Ложу" — проект, энергично поддержанный Морисом Монье и, через него, Федеральным Советом, но проваленный коммунистическими интригами на заседании Гранд Лож, — была снята отличная, довольно большая квартира на сквер Клиньянкур по соседству с отличным храмом на рю Рамелль. Предполагалось заседать в этом храме и немедленно затем переходить в свою квартиру. От этого плана пришлось отказаться в предвидении возможности жалоб со стороны соседей на чересчур шумное времяпрепровождение в вечерние часы.

Поиски квартиры или особняка продолжались. Была создана особая комиссия, конечно, под председательством Л.Д. Кандаурова, и мы, наконец, остановились на полузаброшенном особняке — 29 рю де л'Иветт. В смысле поместительности дом был как раз тем, что нам было нужно. Отличный сад, обширный су-соль, кухни. Весь первый этаж мы превратили в обширную столовую, во втором были: так называемая малая столовая, исключительно уютная, с мебелью из бывшей квартиры Л.Д. и им пожертвованной, уютная гостиная с балконом, выходящим в сад, библиотека, где царил здесь присутствующий бр... Репнин и... "святое святых", кабинет Л.Д. Кандаурова. На самом верху была огромная, необъятной вышины студия, которую решено было обратить в храм, но представлялись огромные трудности, чтобы этот храм соорудить.

Все было в сильном запустении, но тут энергия Л.Д. и всех нас, увлеченных им, достигла максимума. Это самая чудная, самая курьезная, самая замечательная страница в истории русского зарубежного масонства. В эмиграции, в изгнании, без технических знаний, без денег мы задались целью сделать то, что сотни лет тому назад делали пионеры-монахи, строившие такие чудеса, как Соловецкий монастырь, с одним "посохом и благословением". И мы создали — на диво пораженным посетителям-французам — лучшее масонское помещение во Франции. Деятельность Л.Д. превзошла все, что он создавал до сих пор. Перед ним лежал список всех русских братьев — от глубоких стариков до двух-трех несовершеннолетних "волчат". Каждый дол-

жен был взять на себя какую-нибудь, хотя бы самую малую часть личного труда (это вписывалось в список) или — если не мог или не хотел — откупиться деньгами. Выхода другого не было! Принцип был — не тратить ни одного лишнего сантима, т.к. крупных денег нет.

Работа закипела, и какая работа! Иветт превратился в шантье, где ломали, строили, штукатурили, рубили, красили — по строгому расписанию — и над всем надзирал Л.Д. Никогда не забуду бр... кн. Кочубея на высоченной лестнице с огромными ножницами, режущего и подвешивавшего дивные синие бархатные занавеси наверху в храме, бр... де Витта, нашедшего где-то и устанавливавшего чудные две колонны А. и Б. при входе; другие рубили эстраду, плато офицеров; ваш покорный слуга в салопете их окрашивал, а по ним бр... бр... Сафонов и Добужинский писали соответствующие символы. Другие занимались садом, подвальными помещениями, столовой. Бр... Половцов пожертвовал огромное количество книг для библиотеки; создан был винный погреб. С невероятной быстротой все было готово в несколько месяцев, и Иветт, наконец, открыла двери блестящим докладом бр... Тесленко о "Старообрядцах" — нечего говорить, при каком энтузиазме и каком переполнении всех помещений!!

Не стоит повторять, что когда наши французские братья начали нас посещать, они не способны были ничего другого сказать, кроме как "фантастик", "мервейэ", энкруайябль" и т.п. Начался самый блестящий период. Но не нужно думать, что все "текло как по маслу" и что вся наша работа протекала в праздничном сне. Нами заинтересовались с разных сторон и, может быть, более, чем мы того заслуживали. Травля шла на разных фронтах. Прежде всего, большевики — прямо и косвенно — всячески влияли на то, чтобы все наши начинания так или иначе проваливались. Делалось это не глупо, скрытно, главным образом внедряя в нашу среду своих агентов. Гораздо глупее, но шумнее орудовали ярые монархисты — лекциями, в печати и личным влиянием, убеждая испуганных беженцев, что мы — те же большевики, что все большевистские вожди — Ленин, Троцкий, Зиновьев, Радек и т.п., все — жидо-масоны, а мы их агенты. Борьба с нами доходила до грубых уличных сцен — некоторые из здесь присутствующих это помнят. Появился ряд книг, журналов, га-

зет, где нас выводили как исчадие самого дьявола. Ряд полковых офицерских организаций предложил своим членам-масонам на выбор: покинуть масонство или организации. К чести наших братьев скажу, что ни один из наших многочисленных бр... офицеров (у нас было до 12 кавалергардов, несколько конногвардейцев, конно-артиллеристов) не дрогнул — никто от нас не ушел. Тем, которые этой стороной нашей деятельности заинтересовались бы, советую прочесть замечательное сочинение бр.. П.А. Бурышкина: "Зарубежное масонство и его противники" — оно имеется в нашей библиотеке у Д.Н. Ермолова. Я приведу лишь несколько крайне важных строк из этого сочинения.

После описания всех гонений в печати, Бурышкин говорит, что с помощью "Сионских Протоколов" и т.п. литературы весь удар был рассчитан на то, чтобы доказать русским эмигрантам, что советское правительство — сплошь масоны, что и Ленин и Троцкий — опять же масоны и все большевистское "действо" есть действо жидо-масонское. Но тут произошло то, что французы называют "ку де театр": те, на которых зиждилась большая часть антимасонской пропаганды — советское правительство и Коминтерн — *осудили* масонство на 4-ом Конгрессе Коминтерна в ноябре 1922 года! Принадлежность к мас... во Франции членов французской коммунистической партии была строго осуждена и Конгресс декретировал *несовместимость масонства с коммунизмом* — стало быть, несовместимость звания масона с пребыванием в коммунистической партии — и потребовал к 1 января 1923 года ликвидировать все связи с масонством под угрозой немедленного исключения из партии тех ее членов, которые открыто — в своей печати — не заявят о своем полном разрыве с масонством. "Франк-масонство, — говорит декрет, — злокачественная язва на теле французского коммунизма. Эту язву нужно выжечь каленым железом".

Правда, в те времена эмиграция, особенно та, которая больше собиралась на церковном дворе, пока верующие молились в храме на рю Дарю, не очень-то следила за событиями такого рода, но более культурная ее часть узнала об этом декрете и это был серьезный удар по антимасонской пропаганде. Это, однако, не помешало Карловацкому Собору 1928 года объявить масонство врагом христианства, так же как 4-ый Интернационал объя-

вил его врагом коммунизма.

Вернемся на Иветт. Многие бр... бр... никогда не отказались от мысли иметь если и не свою "Гранд Лож", то хоть какую-либо автономную организацию. Л.Д. Кандауров составил комитет по разработке устава такого учреждения и предложил мне председательство. Великим мастером был тогда бр... Дуаньон, оказывавший мне, на моих еженедельных ему докладах о ходе нашей работы, самое радушное внимание. Наконец, все было готово, устав утвержден Фед... Сов... и мы начали работу в 1934 году под названием "Совет Объединения Русских Л... Л... Шотландского Устава". Скажу сразу, что он с одной стороны занимался объединением деятельности наших л..., но главная тяжесть лежала на хозяйственном управлении рю де л'Иветт. Здесь особенно потрудились бр... бр... Мамонтов, Сафонов, Кац и наш несравненный "консьерж" — бывший полковник Л.Гв. Конного полка — Ал. Петр. Альбрехт; честь им и слава. Не буду раздражать ваших аппетитов, приводя цифры, — абсолютно грошовые цены, за которые мы отпускали, такие как и все, напитки, завтраки и обеды. Все делалось с максимумом экономии, не щадя сил. Вина покупались на "Хал о вэн" бочками, разливались на месте и мы за 2 гроша имели выдающееся вино. Как только кончался сезон работ лож, т.е. с 1 июня до конца сентября — каждый вторник — все остававшиеся в Париже братья собирались на обед в саду, где за 7 или 8 франков (с водкой) засиживались далеко заполночь под соловьиное пение из находившегося напротив Розенталевского парка.

В это же время была основана сначала пятая ложа "Гамаюн", долженствующая объединять более молодые элементы эмиграции, и несколько месяцев спустя — ложа "Лотос", первым Досточтимым которой был бр... В.Д. Аитов. У меня, увы, нет под рукой списка первого состава. Помню: Смирнова, Сафонова, Каца, Голдрина, Лампэна, Бурышкина, Гордовского, Рабиновича (Эманнуила), Жданова (отца), не говоря уже о нескольких французах, в том числе нынешнем председателе Сената Гастоне Моннервиле. Забыл упомянуть Г.Б. Слиозберга, С.Г. Лианозова, шахматиста Бернштейна.

Сразу же был организован финансово-хозяйственный коми-

тет, устраивавший, все под руководством К.П. Каплана, лотереи, вечера, бриджевые и шахматные турниры и т.п., все с благотворительной целью. Лотосовские агапы стали знамениты благодаря изобретательности и искусству В.Ф. Сафонова — курьезной фигуры старого русского чиновника, камергера двора Его Величества, посвятившего абсолютно всю свою жизнь, на ее склоне, масонству. Чего он не чертил — его труд, описание всех 33-х градусов Шотландской системы с рисунками в красках — уникум в своем роде!

Как только посетители Иветт ознакомились с нашим помещением, на нас посыпались просьбы предоставить его для собраний чужих лож. Нам это было нелегко, так как кроме наших "синих" лож, там уже собирались: Совет 33-х, Консистория, Ареопаг "Ордо аб Хао", Капитул "Астрея" и Ложа Усовершенствования "Друзья Любомудрия". Нам все же удалось удовлетворить желание "Свободной России", "Американской Ложи", "Англо-Саксонской" и одной-двух французских, в том числе ложи, состоявшей сплошь из чиновников Мэрии 16-го аррондисмана.

В январе 1937 года состоялось на рю Пюто собрание в самом большом тогда храме Н° 1, агапа в крипте — торжественное соединенное собрание всех русских лож, как шотландских, так и В... В... — собрание в память столетней годовщины кончины нашего бр... А.С. Пушкина. На собрании председательствовал я, а на агапе — М.С. Маргулиес. По количеству присутствовавших, по подъему, который царил, это собрание считается до сих пор многими братьями, бывшими на этом собрании, апогеем успеха русского масонства в изгнании.

Но вот наступила война 1939 года. С.П. Тикстон — тогда председатель "Астреи", ухитрялся как-то собирать ложу, другие замерли. Быстро настала оккупация и Иветт начали посещать оккупационные и, главным образом, французские полицейские власти. Бр... Кривошеин (председатель Сов. Объединения) имел несколько очень интересных разговоров с каким-то "большим" немцем, проявившим блестящие о нас знания, вполне разбиравшимся в разнице нашего мас... с французским. Обращался он весьма мягко, но предупредил, что можно ждать ухудшения по-

ложения. Как могли, за неимением перевозочных средств, мы все же вывезли кое-что с Иветт, но все огромное имущество — вещи, архивы, утварь, мебель, а главное, ценнейшие книги — все погибло, и мало что мы нашли при либерации.

Погибло имущество, мы были разорены, рассеяны, но мас... дух оказался целым, живым. Под руководством и гостеприимством бесстрашного С.Г. Лианозова, на его квартире в Пасси, мы продолжали систематически собираться. С.Г. каждую минуту рисковал головой, собирая нас, тем более, что английское радио не нашло ничего лучшего, как заимствовать фамилию "Лианозов" для какого-то условного обозначения своих эмиссий. Лианозов то, Лианозов другое — у бедного С.Г. немедленно появились с угрожающим видом французские и оккупационные власти, допрашивая его об его отношениях к этим эмиссиям. Видимо, его обезоруживающая простота и смелость повлияли на полицейских и его, в конце концов, оставили в покое. Но тут началась другая трагикомическая страница.

Начались обыски на квартирах видных фр... масонов и вызовы их на пресловутый сквер Рапп. Затем начались, во всех газетах, публикации имен всех крупных масонов. Начали с 33-х, потом пошли 32-ые, потом 30-ые. Справедливость требует заметить, что кроме печатания именных списков и довольно невинных обысков (например, у меня единственный немец просидел в углу, куря трубку, пока французские чиновники производили самый поверхностный обыск, взяв масонские доклады и какие-то мелочи) никаких преследований в нашей среде не было.

Тем временем С.Г. продолжал собирать нас — небольшую группу, угощая невиданным по тем временам роскошным ужином — чаем, вином, сандвичами, пирожками и т.д. Собирались мы всегда: хозяин, В.Д. Аитов, П.А. Бурышкин, Г.Я. Смирнов, С.П. Тикстон, некоторых я забыл, но всех затемняла благодарная фигура покойного С.Г.

Наступил конец войны. Ложи воскресли.

Пусть говорят, что сейчас "не обстановка 1922 года", но я надеюсь, что я смог доказать, что русское фр... масонство *не жить, не существовать — не может.* Мы прошли многие и тяжкие испытания — испытания тяжелого труда и распрей, эпоху "Золотого Века" (Иветт), эпоху разрушения (война, оккупация),

эпоху тяжелого и болезненного возрождения, но сила Духа, внушенного нам нашими наставниками и основателями — я хочу надеяться — жива. Факел, который мы несем, снова зажжен, мы его передаем все новым и новым нашим преемникам и хотим верить, что он никогда не погаснет и когда-нибудь возгорится ярким пламенем на нашей возрожденной и свободной Родине!

Бр... Владимир Вяземский

(Из архива Ренэ Герра)

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 ием.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн. Америка, Южн. и Центр. Африка	76	140	250

ВЗГЛЯД С ИСТОРИЧЕСКОЙ ВЫШКИ

Будущее, по словам поэтов и мудрецов, таится во мгле, а прошлое скрыто туманом времен, который, естественно, чем дальше в глубь веков, тем гуще и непрогляднее.

Чтобы несколько рассеять туман минувшего (или, увы, напустить побольше), без устали трудятся историки и археологи. Мглу грядущего пытаются прозреть оракулы, пророки, гадалки и современные футурологи. Последние, впрочем, прямо будущего не предсказывают, а дают лишь его альтернативы или, как они любят выражаться, возможные сценарии. Их прогнозы часто не осуществляются, хотя иногда оказываются удивительно точными. Так, надо полагать, будет и в дальнейшем, ибо футурологи не гадают на картах или на кофейной гуще, а создают свои предвидения, исходя из строгих статистических данных и существующих тенденций развития общества. Беда лишь в том, что нельзя поручиться, не изменятся ли со временем и сами эти тенденции, а с ними, понятно, и конечные результаты. Поэтому добросовестные футурологи весьма осторожны в своих предсказаниях, делают их со многими оговорками и не любят вдаваться в детали.

Гораздо смелее поступают сочинители утопий, особенно те, что ратуют за кардинальные перемены социального строя. Они нередко изображают счастливое общество будущего довольно детально и ... неизменно попадают впросак.

Широко известны западные утописты, но и в России было достаточно своих мечтателей и фантазеров. Более столетия тому назад героиня романа Чернышевского "Что делать?", кристаль-

ная Вера Павловна, в своем четвертом сне видела такую русскую жизнь, где каждому гражданину будет обеспечено удовлетворение всех его потребностей и не станет больше ни бедности, ни горя, ни страданий. Вряд ли теперь кому-нибудь из нас подобное может даже присниться.

Значительно прозорливее оказались сочинители антиутопий. В своем романе "Мы", написанном в 1920 году, талантливый писатель Евгений Замятин сумел предсказать многие черты победившей утопии, которые стали реальностью через неполные 20 лет в сталинском СССР: и непогрешимого "Благодетеля", всенародная любовь к коему поддерживается массовыми казнями; и торжественную комедию выборов с заранее известными результатами; и "институт государственных поэтов и писателей", не занимающихся более "беспардонным соловьиным свистом", а в организованном порядке слагающих ежедневные оды в честь "Благодетеля" и "Единого Государства"; и, наконец, обезличенную жизнь рядовых граждан — "нумеров", отрезанных "зеленой стеной" от остального мира, "пребывающего в диком состоянии свободы". Еще ближе к описанию реального социализма подошел английский писатель Джордж Орвелл в своих знаменитых антиутопических произведениях "Звериная ферма" (1945) и "1984" (1949).

Несколько удачнее утописты и авторы т.н. научно-фантастических романов предсказывали технические усовершенствования и изобретения, но и тут обычно грешили против сроков. В 1840 году в петербургском альманахе "Утренняя Заря" была опубликована утопическая повесть "4338-й год". Автор ее, князь Владимир Федорович Одоевский, между прочим писал: "Письма с Луны. Нашли способ сообщения с Луною; она необитаема и служит только источником снабжения Земли разными житейскими потребностями, чем отвращается гибель Земли по причине ее огромного народонаселения. Эти экспедиции чрезвычайно опасны, опаснее, нежели прежние экспедиции вокруг света; на эти экспедиции единственно употребляется войско. Путешественники берут с собой разные газы для составления воздуха, которого нет на Луне".

Неплохо! В будущем, по предвидению автора, переписка заменится "электрическим разговором", люди станут передвигать-

ся не в каретах, а на "гальваностатах" — "воздушных шарах", приводимых в действие гальванизмом". Путники у Одоевского (на грешной Земле) закусывают "хорошей порцией крахмального экстракта на спаржевой эссенции и сгущенным азотом", и запивают эдакую благодать "доброй бутылкой углекислого газа с водородом". Сомнительными представляются также и некоторые из технических чудес, упоминаемые в повести и фрагментах к ней, как, например, туннель, "сделанный насквозь земного шара".

Кроме Одоевского в России были и другие утописты, рисовавшие идеальное общество. Первым из них принято считать князя Михаила Щербатова, написавшего в 80-х гг. XVIII века роман "Путешествие в землю Офирскую г-на С..., швецкого дворянина". В 1784 г. в журнале "Собеседник любителей российского слова" была опубликована утопия Василия Левшина "Новейшее путешествие, сочиненное в городе Белеве", в котором описывается полет на Луну, в счастливое царство лунножителей. Три с половиной десятилетия спустя близкий к декабристам публицист А. Д. Улыбышев увидел в "сомнамбулическом сне" (повесть "Сон") преображенный Петербург отдаленного будущего, где место казарм занимают "общественные школы, академии и библиотеки всех видов", а на Невском проспекте вместо монастыря сооружена ротонда, "в коей происходят богослужения равно не похожие на обедню греческую или латинскую и даже не носящие следов христианства". Дальше автор сообщает: "Великие события, разбив наши оковы, вознесли нас на первое место среди .* родов Европы и оживили почти угасшую искру нашего народного гения. Вскоре из нее вспыхнул огонь, который с таким блеском горит в наших эпопеях и трагедиях".

Любопытно, что утопия Улыбышева "Сон" была впервые прочитана в 1819 году на 13-м заседании литературного общества "Зеленая лампа", членом какового, как известно, состоял и А.С. Пушкин. Последний в это время уже писал поэму "Руслан и Людмила". Очевидно, чтобы создать великую русскую литературу, не потребовалось разбивать оковы самодержавия, а потом ждать триста лет.

Несколько десятилетий тому назад за художественное описание счастливого будущего взялся известный советский писа-

тель Евгений Петров (Евгений Петрович Катаев), прославившийся своими сатирическими романами "Двенадцать стульев", "Золотой теленок" и др., написанными совместно с Ильей Ильфом. В 1939-м году, после смерти своего долголетнего соавтора, Е. Петров переменил жанр и затеял написать утопический роман об изобильной и привольной жизни в СССР, когда там будет построен коммунизм*.

Разумеется, Петров не считал свое сочинение — "Путешествие в страну коммунизма" ни утопическим, ни фантастическим. Он воображал (или, может быть, только делал вид), что пишет научное предвидение в литературной форме, строго согласуясь с партийными посулами того времени. Как авторитетно разъяснил Сталин, Советский Союз в результате достигнутых успехов социализма вступил в полосу завершения строительства социалистического общества и постепенного перехода к коммунистическому обществу. Начало такого перехода "отец народов" видел в т.н. стахановском движении, которое, по его словам, подготовляет условия для перехода от социализма к коммунизму".

Помня об этих "руководящих указаниях", Е. Петров не стал отодвигать наступление блаженных времен на слишком большой срок. Действие его романа происходит в 1963-м году, т.е. через четверть века после того, как автор приступил к своему сочинению. Петров не осмелился отойти от общеобязательной партийной схемы будущего коммунистического рая на земле, он лишь попытался сделать ее несколько более наглядной и правдоподобной. Иными словами, писатель задумал нарастить живое мясо на пластмассовый скелет марксистской утопии. Посмотрим, что получилось из этой затеи.

"Путешествие в страну коммунизма" Петров писал с 1939 по июнь 1941 года... и тут его партийное вдохновение внезапно оборвалось. Нет, писатель не скончался скоропостижно, не заболел, не был арестован, а потом посмертно реабилитирован, как это случилось в ту пору со многими его собратьями по перу. Нет, ничего такого не произошло. После указанной даты Евге-

* "Литературное Наследство". т. 74. М. "Наука", 1965. Пред. В. Роговина.

ний Петров прожил еще больше года в добром здравии и даже кое-что опубликовал, но продолжать работу над своим утопическим или, как он его называл, публицистическим романом не мог. Предел его творческому воображению положила реальная, невыдуманная история человечества, которая значительно уклонилась от сценария, предначертанного для нее советскими вождями. Ведь именно их правоту и "верный курс" хотел проиллюстрировать своим произведением Петров.

Итак, действие его незаконченного романа и набросков к нему происходит в 1963 году. Из текста мы узнаем, что СССР в это время процветает, тогда как Западная Европа и США бедствуют, не будучи в силах справиться с последствиями разорительной войны, от которой "Страну Советов" уберегла мудрая политика партии и правительства. Неудивительно, что в том же 1963 году, фантазирует Петров, "на сторону социализма переходят Германия и Франция". Соединенные Штаты Америки пока еще остаются капиталистической страной, но там война произвела страшные опустошения. По словам одного из действующих лиц романа, в США "нет семьи, где бы не было покойника".

Впрочем, за истекший исторический период СССР тоже немного повоевал, но, повидимому, без обилия покойников: это была короткая и стремительная война с японцами, совершенно освободившая от них весь азиатский материк. После нее победоносный Советский Союз, не сделав за японский счет никаких территориальных приобретений, совершенно бескорыстно раздал захваченные земли народам, ранее обиженным японцами, а сам, уже в 1942 году, всецело занялся внутренними делами, т.е. завершением строительства коммунизма у себя дома. Результаты оказались потрясающими.

Рассказ ведется от имени "честного американского журналиста" Юджина Питерса, который приехал в коммунистическую страну — СССР и нашел там всеобщее счастье и невиданное больше нигде в мире процветание, описываемые автором безо всякого намека на иронию. Если в романе Е. Петрова и есть какие-либо элементы сатиры, они направлены исключительно против иностранцев: те постоянно попадают в нелепое положение, не будучи в состоянии понять высокие принципы морали жителей страны коммунизма из-за своих закоренелых капиталисти-

ческих взглядов и привычек.

А удивляться и восторгаться у американца и его спутников есть полное основание. В отличие от разоренной войной, нищей Америки, они видят в советских городах роскошные магазины, заваленные самыми изысканными товарами, которые, в соответствии с коммунистическим принципом — "каждому по потребностям", совершенно бесплатно и безотказно раздаются населению. Никаких ограничений нет. Хочешь меховую шубу или отлично сшитый костюм — пожалуйста! Хочешь автомобиль любой марки — сделай одолжение! Насчет продовольствия или жилища и говорить нечего — этим добром все люди в СССР давно и полностью обеспечены.

Советские товары, как убеждается приезжий американец, всегда самого высокого качества, ибо в ходу только первый сорт. Оказывается, в стране недавно закончилась "пятилетка комфорта" и началась "пятилетка роскоши". При всем том граждане СССР редко поддаются соблазну и не берут больше, чем им нужно — мешает здоровая коммунистическая сознательность, привитая с детства.

В таких условиях, понятно, нет никакого резона воровать или грабить; поэтому в СССР совершенно исчезли уголовные преступления, а с ними отпала и всякая нужда в тюрьмах. За весь год, как узнали американские туристы, во всем обширном комгосударстве произошло только одно убийство — из ревности, взволновавшее поголовно всех жителей счастливой "Страны Советов". Так как отделаться общественным порицанием тут уже было нельзя, к преступному ревнивцу пришлось применить высшую меру наказания — выслать его за пределы высокоморального коммунистического общества. В дополнение, правда, были еще неприятности с умалишенными — те тоже кого-то придушили, но с них что спросишь? Тем более, что количество душевнобольных при коммунизме — от беззаботной жизни — снизилось до самого ничтожного процента.

Нет в Советском Союзе и политических преступлений, ибо не осталось никаких причин для протеста или недовольства. Все счастливы и удовлетворены. Американский журналист долго искал хотя бы одного несчастного человека и, наконец, нашел. Им оказался незадачливый драматург, чья пьеса провалилась.

Не следует думать, что ее зарезала цензура — в стране коммунизма никакой цензуры не существует, каждый пишет и печатает решительно все, что хочет. Просто пьесу отвергла публика, обладающая в "будущем СССР" тонким и требовательным вкусом. По причине той же взыскательной публики никто там не публикует каких-либо антисоветских сочинений. Если бы даже и нашелся такой чудак или шизофреник, у него все равно не оказалось бы читателей.

Американец поинтересовался, возможна ли сатира в коммунистическом государстве. Ему любезно объяснили: "Сатирические журналы получили у нас громадное распространение. В них издеваются над лентяями, обжорами, грубиянами, пьяницами и ревнивцами". Автор романа не останавливается на том, сколько таких отрицательных типов развелось в благополучном коммунистическом обществе, но, надо полагать, немало, раз для их осмеяния понадобились сатирические журналы с громадным распространением. Что же касается самой сатиры, то ее диапазон, видимо, нисколько не расширится и при полном коммунизме по сравнению с нынешним развитым социализмом.

В своем романе Е. Петров очень мало внимания уделяет развитию науки и техники в коммунистическом государстве. Они его не интересуют. В набросках к роману некий советский инженер объясняет приезжему американцу: "Видите ли, начало века было ознаменовано таким обилием изобретений, что нашей задачей явилось лишь усовершенствовать, применить и сделать их доступными всем людям". В другом месте приводится любопытная сценка. Маленький мальчик склеил из картона модель межпланетного снаряда. Посмотрев на игрушку, бабушка замечает: "Помню, в наше время люди тоже увлекались этой идеей, но из нее так ничего и не вышло".

Таким образом, провидцем технического прогресса Евгения Петрова назвать нельзя. Сила его в другом. Как сказано в предисловии к роману, "писатель стремился художественно исследовать вопрос о нравственных и психологических предпосылках коммунизма. Основной смысл своего романа он видел в изображении новой психологии и морали, быта и нравов людей при коммунизме". И в этом Петров якобы весьма преуспел. Автор предисловия, написанного в 1965 году, партийный литературо-

вед В.З. Роговин, авторитетно разъясняет читателям: "Кое-что в романе Петрова сегодня, естественно, может нам показаться наивным, но ведь трудно требовать от писателя, чтобы в наш сложный и чреватый бурными переменами век он сумел предвидеть все повороты исторического развития. Важнее другое: историзм мышления Петрова обусловил его художественную проницательность... Основной интерес романа состоит в том, что ведущие тенденции нашей эпохи, которые всем нам ясно видны с сегодняшней исторической вышки, Петрову удалось разглядеть и художественно осмыслить еще двадцать пять лет тому назад. В этом мы с полным основанием можем усматривать еще одно доказательство силы и жизненности метода социалистического реализма, который дает возможность изображать действительность в ее революционном развитии".

Со времени выхода 74-го тома "Литературного Наследства", в котором был напечатан неоконченный роман Е. Петрова "Путешествие в страну коммунизма" с предисловием товарища Роговина, прошло ровно двадцать лет. "Историческая вышка" поднялась еще на несколько этажей, и с нее отчетливо видна не только наивность Евгения Петрова, но и "наивность" самого Роговина. Второй раз это слово приходится брать в кавычки, ибо искреннего заблуждения у советского партийного литературоведа, конечно, сыскать не больше, чем у продажного адвоката, за хороший гонорар защищающего заведомого преступника. Ни мало не смущаясь, автор предисловия пишет: "Петров сквозь весь роман проводит идею: советский народ будет оказывать все возрастающее влияние на ход мировой истории прежде всего своими успехами в строительстве коммунизма, силой примера общественного строя, несущего людям мир, свободу и счастье".

Подобными бездоказательными заклинаниями советская печать полна и сегодня, хотя прошедшие десятилетия наглядно показали, что СССР побуждает чужие народы вступать на социалистический путь никак не своим благим примером, а при помощи танков, военной авиации и автоматов Калашникова. Наглядный пример такого влияния мы наблюдаем сейчас в Афганистане. Поэтому сколь бы ни росла "историческая вышка", она никак не поможет товарищам Роговиным "усмотреть" с нее что-либо новое, пока они сами, вкупе со своими покровителями, не

свалятся в помойную яму истории. Ну, а до тех пор, сидя на верхушке, они всегда будут "ясно различать" за горизонтом "сверкающие вершины коммунизма".

Впрочем, при зрелом (а вернее, перезрелом) социализме число энтузиастов, верящих в наступление коммунистического рая на земле, катастрофически уменьшается, что видно даже из заунывных причитаний казенной пропаганды. И это вполне понятно. По справедливому замечанию Авраама Линкольна, можно дурачить весь народ некоторое время, можно дурачить часть народа все время, но невозможно одурачить весь народ на все времена. Как показывает история, самый изощренный обман сильнее всего действует на современников и значительно слабее на потомков. Со сменой поколений испаряются не только умышленные мистификации, но даже добросовестные и укоренившиеся заблуждения, нелепость которых становится очевидной каждому, хотя это совсем не значит, что не возникают новые коллективные психозы, иногда не менее бессмысленные. Достаточно с той же "исторической вышки" взглянуть на более отдаленные эпохи, чтобы в этом убедиться.

Древние карфагеняне и некоторые другие семитские народы, например, аммонитяне (от них осталось название нынешней столицы Иордании — Амман) поклонялись чудовищному божеству — Молоху, коему приносились многочисленные человеческие жертвы. Для сей цели обычно употреблялись военнопленные и рабы. Нередко, однако, на жертвеннике Молоха с ритуальными церемониями закалывали детей знатных граждан Карфагена, ибо считалось, что такого рода ценные приношения особенно угодны кровожадному богу и спасают государство от угрожающих бед и опасностей. Вряд ли сейчас на всем земном шаре найдется хоть один разумный человек, который бы поверил в такую нелепость, а ведь древние поклонники Молоха обладали тем же объемом мозга, что и мы с вами, и отнюдь не были дураками.

Ближе к нашему времени, в Европе, когда закончились т.н. темные Средние Века и наступила эпоха просвещенного Ренессанса, власти усиленно занялись истреблением ведьм и колдунов, которых при поддержке населения ловили тысячами и сжигали на кострах. Два ученых немца, Генрих Институрис и Яков Шпренгер, в XV веке выпустили даже солидный энциклопедиче-

ский труд "Malleus maleficarum", детально и обстоятельно описывающий ведьмовские уловки и скрытые признаки, по которым можно узнать ведьм. Книга выдержала много изданий и считалась весьма авторитетным пособием. Преследование ведьм докатилось даже до Америки, где в 1692 году по этой статье было предано смерти двадцать человек.

Однако, пожалуй, одним из самых чудовищных заблуждений в истории были верования древних ацтеков, считавших, что солнце питается людской кровью и не взойдет на следующий день, если его не накормить обильными человеческими жертвоприношениями. Для этого в столице страны, городе Теночтитлане, нынешнем Мехико, в капище бога Хутцилопочтли жрецы при скоплении, как бы мы теперь выразились, широких трудящихся масс вырезали обсидиановыми ножами трепещущие сердца у бесчисленных жертв и бросали на алтарь кровожадного божества. А оно, якобы в награду, ежедневно возвращало солнце на небо. Как сообщают историки, во время одной из таких церемоний было зарезано свыше двадцати тысяч человек, что даже в наши либеральные времена представляется довольно значительной цифрой. Неудивительно, что ацтекам приходилось вести непрерывные войны часто только для того, чтобы захватить побольше пленных и ублажить их кровью ненасытного Хутцилопочтли. Вообще ацтекский пантеон отличался невероятной кровожадностью. Другим примером может служить Тлалок — бог дождей и горных потоков. Этот достойный член небесного политбюро, по верованиям древних ацтеков, питался преимущественно детьми и предпочитал грудных младенцев. Если дети проливали слезы, когда их убивали на алтаре Тлалока, зрители шумно радовались, так как видели в этом верный признак обильных дождей и хорошего урожая маиса. После жертвоприношений жрецы варили и съедали убитых детишек.

Как ни тяжело думать о всех этих жестокостях минувших веков, наиболее невыносима мысль о том, что все они были основаны на явных ошибках. Смерть малолетних отпрысков знатных граждан Карфагена, как и других невинных страдальцев, нисколько не содействовала победе над врагами города и никак не устраняла опасности, а так называемые колдуны и ведьмы в Европе никакого союза с дьяволом не заключали и не

могли "сглазить" или напустить болезни на своих соседей и их скот, сколь бы не старались.

Столь же очевидно, что солнце не питается человеческой кровью и все равно регулярно совершало бы предназначенный ему небесный путь без единого человеческого сердца, вырезанного ацтекскими жрецами из грудей беспомощных жертв. Эти жертвы, измерявшиеся сотнями тысяч, не только были совершенно бесполезны, но принесли огромный вред самой ацтекской империи: они озлобили против нее окрестные народы, которые охотно помогли крошечному отряду испанских конквистадоров Эрнана Кортеса завоевать огромную страну, по территории и населению превосходившую всю тогдашнюю Испанию.

Когда мы смотрим теперь "с исторической вышки" на бессмысленные зверства поклонников Молоха или Хутцилопочтли, они вызывают у нас не только ужас, но и прямое недоумение: почему нормальные, мыслящие люди, конечно, менее осведомленные, чем мы, но все же от природы не глупее нас, долго и упорно не желали видеть явной несообразности своих поступков? Нам трудно понять их действия и мы утешаем себя мыслью, что в наше время подобная умственная и моральная слепота просто невозможна. Но так ли это?

Можно не сомневаться в том, что когда потомки взглянут на нашу эпоху со своей "исторической вышки", они тоже будут в недоумении почесывать затылки. К чему были многомиллионные жертвы, превзошедшие по количеству жертвы всех предшествующих веков? Ради какой фантастической цели? Многие отвратительные и бессмысленные жестокости XX столетия поразят потомков, но в первую очередь, конечно, их внимание привлечет странное явление коммунизма. Как могло случиться, спросят они себя, что в век научных открытий и невиданных технических достижений целые страны, начиная с России, вдруг отказались от привычного образа жизни и занялись "строительством" некоего вымышленного коммунистического общества, которое нигде ранее не было осуществлено и проверено даже в малом масштабе? Ведь все познания людей о таком идеальном общественном устройстве ограничивались теоретическими трудами двух немецких экономистов — Карла Маркса и Фридриха Энгельса и их последователей.

Сами "классики марксизма-ленинизма" откровенно признавали, что имеют о блаженном коммунистическом обществе весьма общее представление и лишь обосновывают его неизбежность после установления диктатуры пролетариата и некоторого, неопределенной продолжительности, периода социализма. Их теория назвалась "научным коммунизмом", хотя научного в ней приблизительно столько же, сколько в знаменитой книге разоблачителей ведьм Инститориса и Шпренгера.

Любая научная теория не признается абсолютной истиной и открыта для свободного обсуждения, при котором полагается относиться с уважением ко взглядам оппонентов и добросовестности их возражений. Но в странах, "строящих коммунизм", для марксизма почему-то делается исключение: всякая критика этой якобы научной теории там категорически воспрещается и даже преследуется в уголовном порядке.

Больше того, запрещается интерпретировать марксизм с уклонением от апробированных государственной властью формулировок, которые, впрочем, варьируются от одной социалистической страны к другой.

Как можно было на таких шатких основаниях строить коммунизм — останется для будущих историков загадкой. Тем не менее, его в XX веке упорно "строили", накладывая для этого на население невероятные тяготы, жертвуя миллионами жизней еретиков и прочих граждан, включая собственных приверженцев, уничтожая целые классы общества, а иногда и народы.

Любопытно, что в том же XX веке существовали и т.н. капиталистические государства, в коих коммунизм не признавался официальной идеологией, хотя обычно и не преследовался. По иронии судьбы некоторые страны были разделены пополам: одна половина "капиталистическая", другая — социалистическая. Без единого исключения уровень жизни в "капиталистическом" мире был значительно выше, чем в социалистическом, не говоря уже о гражданских правах, которые в странах, строивших коммунизм, были сведены к минимуму. Поэтому не удивительно, что если представлялась хоть какая-нибудь возможность, неизменно возникал поток беженцев из социалистических стран в "капиталистические" и никогда — в обратном направлении. Та-

кое обстоятельство можно было бы рассматривать как убедительный социальный аргумент, но почему-то в XX столетии из него не было сделано должных выводов, и даже в свободных от коммунистической власти государствах оставалось немало образованных людей, упорно веривших в марксизм.

Затруднения будущих историков осложнятся еще и тем, что во всех дошедших до них материалах они найдут единодушные свидетельства — если это материалы социалистических стран — о неуклонном повышении материального благополучия населения, о наличии там всех мыслимых свобод и почти стопроцентной поддержке коммунистической власти населением. Историки придут к выводу, что строительство коммунизма протекало весьма успешно за исключением мелких неполадок, и противников у него в народе практически не было. Помешать этому строительству пытались лишь ничтожные группки антисоциальных элементов, подкупленные иностранными агентами.

Напротив, материалы, неблагоприятно освещающие жизнь социалистических государств, окажутся напечатанными за их пределами и сохранятся в значительно меньшем числе — ведь количество антикоммунистической литературы не идет ни в какое сравнение с количеством коммунистической пропагандистской мукулатуры, публикуемой на всех языках мира.

Будем все же надеяться, что дотошные историки в конце концов разберутся в этой головоломке. Они отберут все неоспоримые факты, поставят их на свои места, и тогда выявится общая картина, в которой все детали странной исторической мозаики двадцатого века получат рациональное объяснение. Станет ясно, почему коммунистические правители, по их собственному выражению, держали границы своих стран "на крепком замке". Это прекрасно согласуется с утверждениями их идеологических противников о том, что границы социалистических сатрапий перегораживаются рядами колючей проволоки и минными полями, непрерывно патрулируются вышколенными полицейскими отрядами, которые убивают перебежчиков и травят их дрессированными собаками.

Зачем? Для какой цели? Очевидно, чтобы помешать бегству населения из "социалистических" государств в "капиталисти-

ческие". Не могут же проволочные заграждения и свирепые овчарки остановить внезапную атаку неприятельских танков. Не могла этого сделать и берлинская "стена позора", на остатки которой укажут археологи. Если до будущих историков дойдут современные статистические данные, они легко поймут, для чего была построена берлинская "стена позора": за первые пять лет после ее сооружения восточногерманские пограничники застрелили свыше семидесяти своих граждан, пытавшихся перебраться через нее из Восточного Берлина в Западный, чтобы уйти от коммунистической власти. Ясно, что военные соображения тут были совершенно ни при чем, а действовали иные побуждения.

Захватывая новую, ранее свободную страну, коммунисты прежде всего уничтожали наиболее образованную и активную часть ее жителей, всех тех, кто мог бы собрать вокруг себя других граждан и объяснить им смысл происходящих событий. Деятели бывших политических партий и общественных организаций, офицеры, предприниматели, крупные работники профессиональных союзов, священники, юристы и вообще все видные представители местной интеллигенции немедленно арестовывались и либо сразу расстреливались, либо ссылались в отдаленные и гиблые места, хотя никаких преступлений против новой власти они еще не успели совершить.

Затем карательные органы коммунистической власти изымали всех протестующих, превращая народ в аморфную и разрозненную массу, вынужденную черпать все сведения и представления об окружающем мире только из официальной тенденциозной пропаганды, чему весьма помогали закупоренные границы: они закрывались не только для "своих" людей, но и для "чужих" идей. Судя по их собственным печатным источникам, власти социалистических стран резко негодовали, если какой-нибудь иностранец или собственный гражданин, возвращаясь из редкой поездки "за священные рубежи родины", пытался провезти через границу т.н. "подрывную литературу", под которой понимался всякий источник информации, несогласный с официальной точкой зрения на любую проблему, любое событие и даже на любую общественную фигуру прошлого и настоящего времени. За такой проступок полагалось наказание более суровое, чем за провоз наркотиков или огнестрельного оружия.

Столь повышенная и, на первый взгляд, странная чувствительность вооруженных до зубов социалистических государств к нескольким листкам печатной бумаги также поддается рациональному объяснению. Дело в том, что гражданам таких государств, начиная с раннего детства, в течение всей жизни при помощи школы, газет, радио, телевидения и даже искусства настойчиво внушался определенный круг представлений вполне мифического характера. Так как эти представления никак не соответствовали действительности и лишь взаимно подкрепляли друг друга, то допустить уничтожения хотя бы одного из них было так же опасно, как оставить неохраняемые ворота в стене, окружавшей страны, строившие коммунизм.

Главным из этих мифов, конечно, является сам raison d'être коммунистической власти, без которого ее существование теряет всякий смысл, т.е. пресловутое "строительство коммунизма". Что же такое этот коммунизм, ради коего обрекаются на лишения и страдания "социалистические" поколения ради облагодетельствования отдаленных потомков? Программа КПСС определяет коммунизм следующими словами: "Коммунизм — это бесклассовый общественный строй с полным социальным равенством всех членов общества, где вместе с всесторонним развитием людей вырастут и производительные силы, все источники общественного богатства польются полным потоком и осуществится великий принцип: от каждого — по способностям, каждому — по потребностям". И дальше, в той же программе: "Коммунизм — это высокоорганизованное общество свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление, труд на благо общества станет для всех первой жизненной потребностью" и т.д.

Не говоря уже о том, что подобного социального устройства еще никогда и нигде в мире не существовало и "неизбежность" его "вызревания" в недрах социализма доказана столь же "достоверно", как зависимость восхода солнца от количества вырезанных человеческих сердец, есть еще одно противоречие, доставляющее коммунистической пропаганде непрерывные затруднения. Казалось бы, чем более "развитым" становится социализм, тем больше должно проступать в нем черт коммунизма. Но, увы, в жизни социалистических стран этих черт все еще

не видно: нет ни полного социального равенства, ни общественного самоуправления; общественное богатство отнюдь не льется полным потоком в карманы потребителей, но течет мелким, то и дело пересыхающим ручейком; бескорыстный труд на благо общества никак не становится для всех первой жизненной потребностью и т.д.

Поэтому коммунистической пропаганде приходится постоянно доказывать то, чего на самом деле нет, протягивая бесконечную цепь лжи и ежедневно нанизывая на нее одно звено обмана за другим. В такой обстановке независимое мнение по любому вопросу сразу же уподобляется крику удивленного мальчишки из сказки Андерсена "Новое платье короля": "А король-то голый!"

В массовом отказе от вынужденной лжи для коммунистической власти скрыта огромная опасность.

Социалистические власти весьма старательно препятствуют вывозу из своих стран какой-либо информации помимо официальных каналов, хотя бы такая информация была самого невинного характера и лишь правдиво свидетельствовала о подлинной жизни и настроениях населения. Отсюда будущие историки заключат, что всякий непосредственный контакт между народами, строившими т.н. коммунизм, и окружающим миром тщательно пресекался с коммунистической стороны. Очевидно, изоляция считалась одной из главных предпосылок такого строительства, и социалистический общественный строй мог существовать только в условиях неосведомленности и запуганности населения.

Принимая это во внимание, надо полагать, будущие историки отнесут миф о золотом веке грядущего коммунизма, которому в XX столетии приносились бесчисленные человеческие жертвы, к таким же чудовищным заблуждениям рода людского, как поклонение кровожадному Молоху или Хутцилопочтли. Однако поражаться они будут не только коммунистическому вывиху одной части человечества, но и странной слепоте другой, которая в ту же эпоху оставалась свободной.

И в теории, открыто ими исповедуемой, и на практике коммунисты стремились переделать весь свет в соответствии со своими мифологическими представлениями. Даже на государствен-

ном гербе Советского Союза изображался земной шар, перекрытый серпом и молотом. В своем партийном гимне, называвшемся "Интернационал", коммунисты обещали "весь старый мир разрыть до основания", а потом построить искусственный "новый мир", что они и делали по мере своих сил и возможностей.

Казалось бы, в такой обстановке еще уцелевший от коммунизма мир должен был бы немедленно объединиться против коммунистов, забыв на время междоусобные разногласия. Вопреки здравому смыслу, увы, этого не случилось. Независимые государства не только не выступали сплоченным фронтом против домогательств социалистических держав, но нередко сотрудничали с ними друг против друга.

Власти и общественность демократических стран кропотливо взвешивали количество "демократизма" в странах, защищавшихся от коммунистической агрессии, и весьма неохотно помогали тем из них, где таких элементов оказывалось недостаточно, хотя история XX столетия наглядно показывала, что переход от военной диктатуры к демократии и обратно совершался неоднократно, тогда как коммунистический режим раз и навсегда отнимал у народов всякую возможность вернуться к свободе и правовому строю. Неудивительно, что авантюристы разнообразных мастей, совершавшие путчи и перевороты в малых странах, быстро сообразили, что им выгодно объявлять себя марксистами и искать поддержки у социалистических государств, вожди которых не отличались большой разборчивостью в выборе союзников и сателлитов. В этом случае самые невероятные жестокости и полный произвол новой власти оправдывались "прогрессивными целями" и находили немало сторонников даже в демократическом стане.

Поломав голову над столь странным поведением свободного мира в XX веке, будущие историки, надо надеяться, все-таки найдут логическое объяснение. Подобно незадачливым генералам, скажут они, начинавшим каждую новую войну как простое продолжение старой, руководители свободных стран в XX веке основывали свою политику на представлениях, заимствованных из предшествующего века. Мирными и военными средствами они боролись не с коммунизмом, а с воображаемым "империализмом" отдельных коммунистических государств, не понимая,

что они столкнулись с явлением совершенно нового порядка, для противодействия которому нужны совсем иные методы и средства.

Пожалуй, непонятным даже для самых проницательных историков останется следующее обстоятельство, как непонятно оно и для многих из нас, современников: почему свободный мир не изменил своей стратегии даже тогда, когда убедился, что она явно не дает удовлетворительных результатов, что наступление коммунизма на мировую цивилизацию иногда замедляется, но никогда не прекращается.

Между тем, изменение стратегии тут напрашивалось само собой. Свободным странам для преодоления коммунистической опасности вовсе не требовалось постоянно воевать с социалистическими государствами, во всяком случае не чаще, чем это случалось на самом деле. Но в своей мирной или, при необходимости, военной политике руководители непорабощенных коммунистами народов должны были бы открыто и честно заявлять, что борются не за демократию и даже не просто за свободу, а только *за свободу от коммунизма,* ибо в XX веке он стал главной бедой человечества, как в другие века такими бедами были бубонная чума, нашествие варваров или губительные религиозные войны.

Откровенность свободного мира не прибавила бы никаких козырей советской пропаганде, которая и без того всегда лживо твердила, что международная буржуазия ведет против социалистических стран организованный "крестовый поход". Напротив, выигрышные карты сразу оказались бы в руках антикоммунистической коалиции: уже самый ее разнородный состав наглядно показал бы, что она не собирается навязывать народам какой-либо определенной политической системы и не намеревается, в отличие от коммунистов, перекроить по своему образу и подобию весь многообразный мир человеческих сообществ.

Участвуя в такой коалиции, западные демократии вместо стыдливых оправданий за помощь правым авторитарным режимам, могли бы честно, без всяких обиняков заявить: мы готовы помочь любому народу, активно борющемуся с коммунизмом, хотя это совсем не значит, что мы одобряем внутреннюю поли-

тику правительства той или иной страны; мы не считаем себя вправе вмешиваться в чужие дела, но борьбу с коммунизмом мы считаем не чужим, а своим делом, ибо сам коммунизм устами своих идеологов и вождей публично декларировал, что не успокоится, пока не изменит общественные и государственные порядки во всех странах мира, а следовательно, и в наших странах. Не можем же мы сидеть, сложа руки, и по-бараньи ждать, когда нас поведут на бойню!

Кстати сказать, — и это тоже, несомненно, отметят будущие историки — правых диктаторов в XX веке расплодилось немало, но с исторической точки зрения они большой опасности не представляли — при всех их недостатках, их объединяло одно общее и весьма положительное качество: они были не слишком долговечны и обычно не стремились распространить свою власть на соседние территории, ограничиваясь тиранией у себя дома, а уж "раздувать мировой пожар" никак не входило в их намерения. В своих опереточных галунах и эполетах они были местным злом, порождением больной эпохи, но не причиной ее недуга.

Это, разумеется, не относится к фашистскому режиму в Италии и нацистскому — в Германии. Но ведь то были не авторитарные, а тоталитарные однопартийные режимы, скроенные в значительной степени по образу и подобию коммунистической диктатуры в России, хотя и на иной идеологической подкладке. Возникли они на тех же социалистических дрожжах, ставших проклятием XX века. Недаром гитлеровцы называли свою мафию "Национал-социалистической рабочей партией Германии".

Примечательно, — скажут будущие историки, — что опыт принудительного введения демократии парламентарного типа в бывших колониях, ставших самостоятельными государствами, провалился почти повсеместно — привел к понижению жизненного уровня населения, иногда к массовому голоду, постоянным военным переворотам и породил многочисленных местных тиранов, некоторые из которых отличались невиданным дотоле патологическим зверством. Диктаторы-генералы из бывших унтеров и капралов заботились не о благе своего народа, а лишь о собственном обогащении и прославлении. Цепляясь за власть, они закупали оружие у социалистических стран и нередко заключали с ними кабальные сделки, что помогло коммунизму про-

никнуть в бывшие европейские колонии и утвердиться там во вред свободному миру.

Всего этого могло бы не случиться, если бы западные государства оставляли свои колониальные владения без излишней поспешности и, уходя, постепенно передавали власть не самозванным борцам за независимость и демократию, а племенным вождям или другим руководителям устоявшихся веками групп местного населения. Возможно, историческая перспектива покажет, что главный, хотя и очень трудный, долг европейских держав по отношению к своим колониальным подданным заключался в том, чтобы вернуть последним их историю, а не только землю. Иными словами, освобождаемым колониальным народам следовало дать возможность, разумеется, mutatis mutandis восстановить те социальные отношения, которые существовали у них до прихода европейцев и создания искусственных колониальных границ, а потом уже с помощью метрополий, но собственным национальным путем продвигаться на более высокие ступени цивилизации. Это избавило бы колониальные народы от необходимости вплавь, через моря крови и страданий, догонять индустриальное общество и позволило бы им со временем внести свой особый вклад в общечеловеческую культуру.

Так-то оно так, скажут более проницательные историки, но, к сожалению, сей благой путь в ту эпоху был невозможен — ему препятствовал тот же коммунизм, который был главной бедой XX века не только для т.н. передовых держав, но и для отсталых народов, вступавших на дорогу самостоятельного развития. Социалистические страны снабжали оружием террористов, организовывали банды, давали им опытных руководителей и демагогические лозунги, разжигали ненависть к европейцам и даже приписывали себе заслуги освобождения колоний. В такой обстановке маниакальное стремление западной общественности насаждать всюду демократию, не считаясь с тем, есть ли для нее походящая почва, конечно, помогало коммунистам, но не являлось главной причиной неудачного опыта деколонизации.

Зато, весьма вероятно, все будущие исследователи нашей бурной эпохи, имея перед глазами законченную историческую перспективу, согласятся, что навязчивая идея Запада признавать своими союзниками только те антикоммунистические движения,

которые ставили своей целью парламентскую демократию, была губительна и вредна: она помешала свободному миру установить подлинный контакт с народами, уже находившимися под пятой коммунизма. Эти народы подпали под власть коммунистической мафии в разное время, при разных обстоятельствах и на разном уровне своего общественного развития. Общим у них, от абиссинцев до чехов, было лишь сознательное или инстинктивное отталкивание от коммунизма, который противоречил их представлениям о нормальном образе жизни, но сами эти представления, естественно, отнюдь не совпадали.

К чему могли стремиться широкие массы народов, попавших за бронированный коммунистический занавес, и какие призывы могли найти живой отклик в их душе? Для польского народа таким призывом, увлекшим миллионы рабочих и крестьян, оказался простой и ясный лозунг — "Пусть Польша снова будет Польшей!" Иначе говоря, они хотели, чтобы их страна вернулась к тому положению, в котором находилась до коммунистического владычества, хотя бы это и был "санационный" режим Пилсудского и его последователей, весьма далекий от настоящей демократии. Для абиссинцев таким ностальгическим идеалом, возможно, показались бы времена покойного императора Хайле Селассие, а для чехов — парламентская республика президента Бенеша.

Можно ли осуждать народы за то, что они инстинктивно хотят вернуть себе свою историю со всеми ее достоинствами и недостатками?! Без нее они превращаются в первобытное стадо, скопление разрозненных индивидов, сбившихся с пути и вынужденных пользоваться услугами чужеземных проводников или погонщиков, в добросовестности которых они никак не могут быть уверены. Вместо нормального исторического кругозора люди видят перед собой размалеванные коммунистические декорации, не зная, что за ними скрывается на самом деле. Естественно поэтому желание людей вернуться на свой старый путь, совсем не для того, чтобы повернуть вспять историю, но для того, чтобы снова получить возможность двигаться вперед, идя от знакомого ориентира.

Народные массы социалистических государств по необходимости сравнивали свое убогое существование под властью комму-

нистов не с малоизвестной им западной демократией, а с прошлой жизнью своих стран, знакомой им либо по собственному опыту, либо по воспоминаниям старших поколений, и нередко эту жизнь идеализировали. В такой обстановке игнорирование, а иногда и прямо враждебное отношение со стороны западного общественного мнения к идеям национального возрождения, спонтанно возникавшим среди подкоммунистических народов, несомненно помешало Западу создать с этими народами единый фронт против коммунизма и помогло последнему распространяться, как короста, по телу всего земного шара. Есть все основания полагать, что сопротивление свободного мира коммунистической болезни протекало бы гораздо успешнее, если бы он, не мудрствуя лукаво, энергично поддерживал простые и общепонятные требования — Пусть Польша снова станет Польшей! Пусть Россия снова станет Россией! Пусть Эфиопия будет Эфиопией! Пусть Сальвадор останется Сальвадором и т.п.

К такому выводу, вероятно, придут будущие историки, когда беспощадное время развеет всю сложную паутину нынешних политических проблем. Возможно, они при этом добавят: и *все-таки человечество в конце концов справилось с красной чумой,* хотя это и стоило ему многомиллионных людских потерь. С высоты своей "исторической вышки" грядущие разгребатели архивов отнесутся к этим "издержкам" XX столетия столь же невозмутимо, как к жертвам чудовищных культов Молоха и Хутцилопочтли в предшествующие века. Увы, для нас, современников событий, подобное философское спокойствие совершенно невозможно — кровь, пролитая коммунизмом, еще не успела свернуться и застыть.

В. Бондаренко

ЭКОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ И МОГИЛ

Н.В. ГОГОЛЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ. СМЕРТЬ. ПОСМЕРТНАЯ СУДЬБА.

Закончив зарубежные скитания паломничеством в Святую Землю, Гоголь в середине апреля 1848 г. через Константинополь и Одессу возвратился на родину после шестилетнего отсутствия.

В родную Васильевку писатель попал 6 мая 1848 г. Несколько отдохнул, занялся хозяйственными делами. Здесь он провел конец весны и лето. 1 сентября 1848 г. переехал в Москву. Никого из близких не застал, отправился в Петербург. Познакомился с Некрасовым, Гончаровым и Д.В. Григоровичем. 14 октября вернулся в Москву. Ненадолго остановился у академика Михаила Петровича Погодина (1800-1875) на Девичьем поле. В конце декабря 1848 г. переселился к графу А.П. Толстому в дом Талызина на Никитском бульваре (ныне Суворовский бульвар, д. 7). В этом доме он прожил, с перерывами, три с лишним года до самой смерти.

В России Гоголь возобновил работу над вторым томом "Мертвых душ". Но ему не особенно работалось. Как он признавался, писание "мало оживляет благодатным огнем вдохновения". Все же в зиму 1848-1849 гг. работа как-то продвигалась. К лету вновь наступил творческий спад, вызванный, как он говорил, "нервическим расстройством". Гоголь прерывает писание и целиком погружается в чтение религиозной и светской литературы и в корреспонденцию. Его подмывает желание поездить и

"поглядеть на Русь, сколько можно увидеть на большой дороге".

Вместе с Л.И. Арнольдом, сводным братом мемуаристки и близкого друга последних лет писателя Александры Осиповны Смирновой-Россет (1810-1882), он направляется в Бегичево, имение калужского губернатора, мужа Смирновой. Здесь, в гостях, Гоголь читает отрывки из новой редакции второго тома "Мертвых душ".

В конце июля 1849 г. Гоголь возвратился в Москву, где в начале августа поселился на даче Степана Петровича Шевырева (1806-1864) — поэта, критика, историка литературы, академика по Отделению русского языка и словесности. В середине августа он гостил у Аксаковых в Абрамцеве, мирные отношения с которыми наладились после размолвки, вызванной "Перепиской с друзьями". 19 августа Гоголь читал там. С. Аксаков сообщает сыну Ивану: "Не могу больше скрывать от тебя нашу общую радость: Гоголь читал нам первую главу второго тома "Мертвых душ". Талант его стал выше и глубже; мы обещали ему не писать даже к тебе, но нет сил молчать!".

Зиму 1849-1850 гг. Гоголь кое-как "перекочевал", до 13 мая оставался в Москве, работая над "Мертвыми душами". Стремился уехать на юг. 13 июня вместе со своим другом, профессором Михаилом Александровичем Максимовичем (1804-1873), украинским и русским писателем, историком и фольклористом, он отправился в родную Васильевку. По дороге заехали к Смирновой, затем остановились в Долгине, имении Ивана Васильевича Киреевского (1806-1850).

Посетили Оптину Пустынь.

В Васильевке Гоголь провел конец лета и осень. Опять думал поехать заграницу, на этот раз не в Италию, а в Грецию, на Афон, чтобы там засесть за окончание второго тома. В конце концов, быть может, и из-за безденежья, Гоголь решает перезимовать в Одессе, куда он прибыл в конце октября 1850 г. 24 октября он поселился в доме своего дальнего родственника, А.А. Трощинского. В Одессе его видел Лев Пушкин; он нашел Гоголя поправившимся здоровьем и даже веселым.

Пробыв зиму в Одессе, Гоголь весной 1851 г. переезжает в имение Трощинского в Кагарлыке. В мае 1851 г. Гоголь в последний раз посетил родных в Васильевке. Там он хлопочет по

хозяйству, едет в Полтаву уплатить материнский долг в Опекунском совете. Мария Ивановна видела сына в последний раз. Она чувствует, что "сын ее достиг высшей точки своей жизни". Не только его работа закончена, но и "все, что мог он сделать на земле, он уже сделал".

5 июня Гоголь появился в Москве и через два дня читал у Аксаковых в Абрамцеве "Мертвые души". Около двадцати дней, с 25 июня, он жил у Смирновой в селе Спасском. В середине июля он опять в Москве. Через несколько дней, в атмосфере глубокой тайны, Гоголь читает на подмосковной даче Шевырева несколько глав из "Мертвых душ". Осенью читает первую главу кн. Д.В. Оболенскому и Л. Арнольду.

К этому времени Гоголь считает работу над вторым томом в основном законченной. В печати распространились слухи, что скоро второй том поэмы будет издан.

30 сентября 1851 г. Гоголь в последний раз посетил Аксаковых в Абрамцеве. В октябре, в день рождения матери, ездил к обедне в Сергиеву Лавру. Там он встретился с архимандритом Феодором, который увидел в лице Гоголя "мученика нравственного одиночества — одной из самых тяжелых пыток для душ симпатичных".

20 октября Гоголя, жившего у графа Толстого, посещают И.С. Тургенев и актер М.С. Щепкин. Тургенев впоследствии вспоминал: "Мы ехали к нему как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове. Вся Москва была о нем такого мнения. Михаил Сергеевич предупреждал меня, что с ним не следует говорить о продолжении "Мертвых душ", что он этого разговора не любит".

Вот каким увидел Тургенев 43-летнего Гоголя: "Я пристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость — именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым. Длинный заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также одутловатые, мягкие губы под остриженными усами: в их не-

определенных очертаниях выражались — так, по крайней мере, мне показалось, — темные стороны его характера. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово — что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность. Он говорил на "ó". Все выходило ладно, складно, вкусно и метко. Впечатление усталости, болезненного, нервического беспокойства, которое он сперва произвел на меня, — исчезло. Он говорил о значении литературы, призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям; высказал несколько тонких и верных замечаний о самом процессе работы, о самой, если можно так выразиться, физиологии сочинительства, и все это — языком образным, оригинальным и, сколько я мог заметить, нимало не подготовленным заранее, как это сплошь да рядом бывает у знаменитостей".

Во время посещения Тургеневым Гоголь чувствовал себя относительно неплохо, что тогда не так уж часто с ним бывало. За несколько месяцев до этого Гоголь занемог, слег и "слышал небесные голоса". В конце 1851 г. ему стало лучше, хотя он стал худеть и заметно слабеть. Но умственные его силы сохранялись, он еще пытался писать. Его настроение часто менялось: уверенность в себе, в своих силах сменялась сомнениями, разочарованиями и тоской. Усиливалась раздражительность, в пустяшных происшествиях он видел дурные предзнаменования. Он тщательно соблюдал посты, часто исповедовался и причащался.

Все чаще и чаще его стали одолевать мысли о смерти. "Память смерти — это первая вещь, которую человек должен ежеминутно носить в мыслях своих", — писал он еще в 1847 г.

Однако, известие о смерти жены Хомякова, сестры поэта Языкова Екатерины Михайловны, последовавшей 25 января 1852 г, произвело на него большое впечатление. Накануне он "был полным энергической деятельности, — свидетельствует О.М. Бодянский, посетивший его. Гоголь правил корректуры сочинений и еще, как он говорил, "мараю все свое" (подразумевая, видимо, "Мертвые души").

К смерти некоторых своих близких и знакомых он был довольно давно подготовлен. 10 сентября 1839 г. на руках Гоголя в Риме умер от чахотки его молодой друг, воспитанник Пажес-

кого корпуса Иосиф Виельгорский, сын графа Михаила Юрьевича Виельгорского (1788-1856) — государственного деятеля, композитора-дилетанта и мецената. Гоголь, проводивший целые ночи без сна у постели умирающего молодого человека, писал А.С. Данилевскому: "Я похоронил моего друга, которого мне дала судьба в то время, в ту эпоху жизни, когда друзья уже не даются".

Вероятно, еще острее переживал Гоголь смерть поэта Николая Михайловича Языкова, скончавшегося в Москве 26 декабря 1846 г. в 43-летнем возрасте. Своей матери Гоголь писал: "Без мысли о Боге и вечности я бы не перенес нынешней печальной утраты. Я лишился наилучшего моего друга, с которым жил душа в душу, к которому я питал истинно родственную любовь, потому что питать истинно родственную любовь я могу только к тем, которые понимают мою душу и живут сколько-нибудь во Христе делами жизни своей".

На похороны одной из своих сестер (Марии), умершей в июне 1844 г., Гоголь не ездил, а послал родным письмо 12 июня: "Молитесь о ней, но не грустите — это я для вас, маменька. А вы, сестры... не забывайте ее, носите ее в сердце своем, как родную, и молитесь о ней всегда... и старайтесь так молиться, чтобы Бог услышал ваши молитвы".

Теперь, в смерти Е. Хомяковой Гоголь увидел предзнаменование для себя. Он был в таком нервном возбуждении и упадке сил, что не мог выстоять до конца панихиду. Слышали, как он сказал: "Все кончено для меня". Он избегал смотреть на лежавшую в гробу покойницу. Вероятно, и в молодости он испытывал страх перед мертвецами в гробу, боялся взглянуть им в лицо. Как тут не вспомнить "Вия", историю "философа" Хомы Брута, преступившего внутренний запрет смотреть на лежавшую в гробу панночку-ведьму.

Гоголь не прослушал заупокойную литию, не присутствовал при выносе гроба и не был на погребении. Но от себя он заказал панихиду по усопшей, помянул всех умерших близких и дорогих ему людей, которых, как он рассказывал Аксакову, покойная "как будто привела их всех ко мне, и мне стало легче". И. Золотусский, в биографии Гоголя, приведя эти слова, продолжает их разговор: "Страшная минута смерти". "Почему же страшная? —

спросил Аксаков. — Только быть уверенным в милости Божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать о смерти". Он ответил: "Но об этом надобно спросить тех, кто перешел через эту минуту".

После смерти Хомяковой Гоголь находился "в каком-то нервном расстройстве, которое приняло характер религиозного помешательства", — отмечает муж покойной.

В последние годы исключительное влияние на Гоголя оказывал его духовник, протоиерей Ржевского Успенского собора отец Матвей Константиновский. Фанатически настроенный, почти монашеского уклада в жизни, он пользовался особым благоволением обер-прокурора Святейшего Синода А.П. Толстого. Отец Матвей не имел достаточного богословского образования, но обладал даром проповедника. Для о. Матвея, наделенного твердым, неуступчивым характером, Гоголь был слабым человеком. После опубликования "Выбранных мест" он упрекал писателя в гордыне, в неправомочном занятии "всемирным учительством". Он не скрывал, что советовал Гоголю уничтожить ряд тетрадей с главами второго тома "Мертвых душ", содержание которых считал неверным и даже вредным. Категоричность суждений священника производила сильнейшее впечатление на Гоголя: если он, писатель, не смог убедить в своей правоте, значит, как пишет Ю. Манн, "мертвые души не ожили".

Духовный отец настаивал на том, чтобы Гоголь покинул все мирское, в том числе и светское писательство. Он уговаривал Гоголя отречься от Пушкина — грешника и язычника.

Возражая против приговора своего духовника о вредности "Выбранных мест", Гоголь писал о. Матвею, объясняя мотивы создания книги: "Книга мое есть произведение моего переходного душевного состояния, временного, едва освободившегося от болезненного состояния. Дело в том, что книга — это не мой род. Но то, что меня издавна и продолжительно занимало, это было — изобразить в большом сочинении добро и зло, какое есть в нашей русской земле, после которого русские читатели узнали бы лучше свою землю, потому что у нас многие, даже и чиновники и должностные, попадают в большие ошибки по случаю незнания коренных свойств русского человека и народного духа нашей земли".

Через несколько дней после смерти Хомяковой Гоголь виделся с о. Матвеем и во вторник 5 февраля провожал уезжающего священника. На другой день Гоголь посетил Шевырева и беседовал с ним. 7 февраля Гоголь был на заутрени в церкви Саввы Освещенного что на Девичьем поле. Причастился. Был он очень слаб, еле выстоял всю службу. Вечером он снова был там и просил отслужить благодарственный молебен, о чем забыл утром.

9 февраля он посетил овдовевшего Хомякова, утешал его, ласкал его сына, своего крестника.

10 февраля он написал письмо отцу Матвею, сообщая о своем нездоровьи, мешающем приняться за труды. В тот же день он просил Толстого, чтобы тот отвез его рукопись митрополиту Филарету — пусть тот решит, что следует после смерти автора напечатать, а что оставить неопубликованным. Толстой "отказался принять бумаги, чтобы не показать больному, что и другие считают его положение безнадежным" (Н. Кулиш).

И тогда Гоголь решил распорядиться своими рукописями сам. 11 февраля в покоях Толстого отправлялось богослужение. Гоголь прослушал всю службу, стоя на коленях. По окончании службы сам встать не мог, его подняли, отвели в его комнату. Он отказался лечь в постель. Сидел в кресле с подставленной под ноги скамейкой.

В эту ночь Гоголь сжег свои рукописи. Единственным свидетелем трагедии был молодой слуга Гоголя Семен, который впоследствии рассказал об этом разным лицам, в том числе Шевыреву и Погодину.

В журнале "Русская старина" за 1872 г. (т. V) была опубликована статья о сожжении Гоголем своих бумаг в трагическую ночь с 11 на 12 февраля 1852. На этой статье основывает свой рассказ священник Стеллецкий в книге "Религиозно-нравственное миросозерцание Гоголя" (Киев, 1902): "Чувствуя близость последней жизненной развязки, стоя одной ногой уже в другом мире, Гоголь не мог не отнестись к произведениям своим еще более подозрительно с нравственной стороны. Ему представилось, что, может быть, в них заключается что-нибудь весьма опасное для нравственности читателей. В этих мыслях, прибли-

зительно за неделю до смерти, он сказал гр. А.П. Толстому, в доме которого он жил тогда: "Я скоро умру; свези, пожалуйста, эту тетрадь митрополиту Филарету, и попроси его прочесть, а потом, согласно его замечаниям, напечатай". Тут он передает графу большую пачку бумаг, сложенных вместе и перевязанных шнурком. Это были одиннадцать глав второго тома "Мертвых душ", вновь написанных Гоголем (летом 1851 г.) после первого сожжения.

Толстой из излишней деликатности, или чтобы не дать понять больному другу о безнадежности его положения, не взял рукописи и с равнодушным видом сказал: "Помилуй! Ты так здоров, что, может быть, завтра или послезавтра сам свезешь это к Филарету и выслушаешь от него замечания лично". Гоголь как-будто успокоился, но в ту же ночь, часа в три, встал с постели, разбудил своего Семена и велел затопить печь. Семен отвечал, что надо прежде открыть трубу наверху, во втором этаже, где все спят. "Перебудишь! Поди туда босиком, и открой так, чтоб никого не будить!" — сказал Гоголь. Слуга отправился, открыл трубу так осторожно, что никто не слышал, и, воротясь, затопил печь. Когда дрова разгорелись, Гоголь велел Семену бросить в огонь ту связку бумаг, которую утром отдавал Толстому. Связка была брошена, но никак не загоралась. Обгорели только углы, а середина была цела. Тогда Гоголь достал связку кочергой и, отделив тетрадь от тетради, бросил одну за другой в печь. Так рукопись и сгорела".

Наутро сознание Гоголя прояснилось, и он, якобы с раскаянием, рассказал о сожжении А.П. Толстому, считая, что это было сделано под внушением злого духа.

После уничтожения рукописи мысли о смерти и приготовления к ней стали преобладать в сознании Гоголя.

13 февраля к Гоголю был приглашен врач Тарасенков, который понял, что смерть неминуема; писатель выглядел как человек, "для которого все задачи разрешены".

Гоголя пытались лечить, насильно раздевали, опускали в ванну, кутали в мокрые полотенца, ставили пиявки. А он просил, чтобы его не трогали, дали возможность спокойно умереть. Был созван консилиум известных московских врачей. Врачи не смогли поставить точного диагноза. Одни считали, что у пациента

воспаление кишечника, другие — тиф, третьи называли его состояние нервической горячкой, а больше всего склонялись к тому, что он помешался.

А Гоголь хотел спокойно уйти из этого мира, с которым уже покончил все счеты. Золотусский пишет: "Голоса, которые он слышал перед тем, как сжечь второй том, были голосами *оттуда* — такие голоса слышал его отец незадолго до смерти. В этом смысле он был в отца". Отец писателя, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский умер 31 марта 1815 г., когда сыну было пять лет. Сын слыхал и запомнил, что отец умер от того, что на него "нашел страх смерти". И "страх смерти" был возможной причиной смерти сына. Это суждение можно оспаривать. Гоголь не страшился, а наоборот, призывал к себе смерть, ждал ее.

Гоголь боялся быть похороненным заживо. Страх проснуться в гробу живым преследовал его в течение многих лет. Гоголь не стеснялся открыто признаться в этом страхе. Сделал он это в книге "Выбранные места из переписки с друзьями".

"Выбранные места" были изданы в июне 1846 г. Замысел книги относится к весне 1845 г., когда писатель страдал длительным недомоганием и находился в состоянии душевной депрессии. В книгу Гоголь включил и длинное, подробное завещание. Мы воспроизводим полностью лишь первую часть и выдержки из других мест, относящиеся к его волеизъявлению относительно погребения.

Завещание

Находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю здесь мою последнюю волю.

I. Завещаю тело мое не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться... Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь, в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности. Предать же тело мое

земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом; стыдно тому, кто привлечется каким-нибудь вниманием к гниющей персти, которая уже не моя: он поклонится червям, ее грызущим; прошу лучше помолиться покрепче о душе моей, а вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких неимущих насущного хлеба.

II. Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном.

III. Завещаю вообще никому не оплакивать меня, и грех себе возьмет на душу тот, кто станет почитать смерть мою какой-нибудь значительной или всеобщей утратой.

Вера Александровна Нащокина, жена друга Пушкина и Гоголя, посетила умирающего за несколько часов до его смерти; она увидела его лежащим в постели, одетым в синий шелковый ватный халат. Он лежал на боку, повернувшись к стене (где была икона Божьей Матери). Гоголь был без сознания, тяжело дышал, лицо казалось страшно черным. Около него никого не было, кроме слуги Семена.

20 февраля в 11 часов вечера Гоголь вдруг приподнял голову и отчетливо сказал: "Лестницу, лестницу, лестницу". А в восемь утра, 21 февраля 1852 года, он отошел в другой мир. В официальном сообщении о смерти Н.В. Гоголя было сказано, что он умер "от простуды".

Золотусский пишет со слов очевидца: "Лицо покойного "выражало не страдание, а спокойствие, ясную мысль".

Гроб с телом покойного был на руках вынесен из квартиры на Никитском бульваре и перенесен в церковь Московского университета. Многие приходили прощаться с первым писателем России, лежавшим в гробу, увенчанном лавровым венком. Гроб был засыпан цветами.

Золотусский, ссылаясь на свидетельства современников Гоголя, пишет: "День и ночь текли толпы народа — таких похорон не видела древняя столица, не знала за всю свою историю. Сам генерал-адъютант А. А. Закревский и попечитель учебного округа В.И. Назимов явились ко гробу в орденах и лентах и встали по обе стороны его. Впрочем, как докладывал позже Закревский шефу жандармов Орлову, он прибыл более для слеже-

ния за порядком, но порядок установить нельзя было, потому что не из почтения, не из славы мишурной, минутной, громкой шел ко гробу народ, а из-за какого-то беспокойства, даже отчаяния, что умер тот, кто мог сказать слово, которому дано было его сказать и который служил этому долгу своему — жить в слове — бескорыстно".

Утром 24 февраля после отпевания М.С. Щепкин закрыл гроб крышкой. Из церкви гроб несли на руках до могилы в Данилове монастыре, восемь верст по глубокому снегу. За гробом и катафалком следовала большая толпа, к которой присоединялись случайные прохожие, спрашивавшие: "Кого хоронят?" "Генерала", — отвечали им.

Из близких друзей Гоголя не присутствовал академик М. Погодин — его не было в Москве. Профессор Московского университета, академик С. Шевырев лежал тогда в тифу и ему не сказали о смерти Гоголя. Самые близкие друзья покойного, Хомяков и Аксаковы, все время находились при теле усопшего. По каким-то малопонятным соображениям гражданские власти противились широкому отклику на смерть самого крупного, после смерти Пушкина, писателя России. Тогдашний председатель Московского цензурного комитета, граф М. Мусин-Пушкин заявил, что не будет пропускать статьи в похвалу Гоголя — "лакейского писателя", как записал в своем дневнике его подлинные слова цензор А.В. Никитенко.

И.С. Тургенев в момент смерти Гоголя и его погребения не был в Москве. Написанная им статья памяти Гоголя не была пропущена столичной цензурой и Тургенев опубликовал ее 13 марта 1852 г. под заголовком "Письмо из Петербурга" в "Московских Ведомостях". Об этой статье гр. Мусин-Пушкин 25 марта доносил шефу жандармов, графу А.Ф. Орлову: "Прочитав статью, я не дозволил оную печатать. Мне казалось неуместным писать о Гоголе в таких пышных выражениях, едва ли приличных, говоря о смерти Державина, Карамзина или некоторых других наших знаменитых писателей, и представлять смерть Гоголя как незаменимую потерю, а не разделяющих это мнение — легкомысленными или близорукими. Мне казалось, что все эти возгласы, как выражение частного мнения, не должно дозволять представлять как чувства, впечатления и воззрения общие".

Статья Тургенева начинается такими словами: "Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова? Он умер! Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить... В день, когда его хоронит Москва, нам хочется протянуть ей отсюда руку — соединиться с ней в одном чувстве общей печали. Мы не могли взглянуть в последний раз на его безжизненное тело; но мы шлем ему издалека наш прощальный привет — и с благоговейным чувством слагаем дань нашей скорби и нашей любви на его свежую могилу, в которую нам не удалось, подобно москвичам, бросить горсть родимой земли! Мысль, что прах его будет покоиться в Москве, наполняет нас каким-то горестным удовлетворением. Да, пусть он покоится там, в этом сердце России, которую он так глубоко знал и так любил, что одни легкомысленные или близорукие люди не чувствуют присутствия этого любовного пламени в каждом им названном слове!...

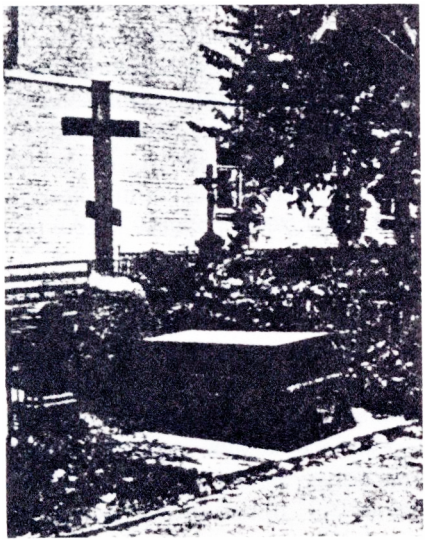
...Клевета и зависть, вражда и недоразумения — все смолкает перед самой обыкновенной могилой: они не заговорят над могилою Гоголя. Какое бы ни было окончательное место, которое оставит за ним история, мы уверены, что никто не откажется повторить теперь же вслед за нами: Мир его праху, вечная память его жизни, вечная слава его имени!".

Тургенев поспешил известить Полину Виардо о смерти Гоголя, умышленно датировав письмо днем смерти писателя, 21 февраля 1852 г.: "Нас поразило великое несчастие: Гоголь умер в Москве, умер, предав все сожжению, все — второй том "Мертвых душ", множество оконченных и начатых вещей, одним словом, все! Вам трудно будет оценить всю огромность этой столько жестокой, столь полной утраты. Нет русского, сердце которого не обливалось бы кровью в эту минуту. Для нас он был более, чем только писатель: он раскрыл нам нас самих. Он во многих отношениях был для нас продолжателем Петра Великого".

Представляют интерес строки письма Тургенева к И.С. Аксакову: "Скажу вам без преувеличения, с тех пор, как я себя помню, ничего не произвело на меня такого впечатления, как смерть Гоголя — все, что вы говорите о ней — сказано мне прямо из души. Эта страшная смерть — историческое событие — понятна



Дом Талызина на Никитском бульваре, в Москве, где Гоголь жил с 1848 года до конца своих дней (*ныне д.* No *7*).



Могила Гоголя на кладбище Данилова монастыря в Москве.

не сразу: это тайна, тяжелая, грозная тайна — надо стараться ее разгадать... но ничего отрадного не найдет в ней тот, кто ее разгадает... все мы в этом согласны. Трагическая судьба России отражается на тех русских, кои ближе других стоят к ее недрам — ни одному человеку, самому сильному, не выдержать в себе борьбу целого народа — и Гоголь погиб! Мне, право, кажется, что он умер потому, что решился, захотел умереть, и это самоубийство началось с истребления "Мертвых душ".

В Даниловом монастыре Гоголь был похоронен рядом с могилой жены А.С. Хомякова, Екат. Мих., умершей за две недели до этого и могилой ее брата, поэта Н.М. Языкова, умершего в 1846 г.

Прах Гоголя 77 лет покоился непотревоженным под высокой могильной плитой из черного полированного гранита. У изголовья, на горке-"Голгофе" из ноздреватого камня высился большой крест. Волеизъявление писателя — не ставить ему памятника, выраженное в завещании, опубликованном в "Выбранных местах из переписки с друзьями", таким образом, не было нарушено.

В начале советских тридцатых годов развернулась зловещая акция закрытия монастырских кладбищ и кладбищ, еще остававшихся при некоторых церквах. Большинство могил уничтожалось, немногие захоронения были перемещены. В 1931 г. настал черед могилы Гоголя. По решению правительственной комиссии прах писателя был перенесен на Новодевичье кладбище, куда стали свозить останки тех видных отечественных деятелей науки, литературы и искусства дореволюционного времени, кто, по мнению властей, заслуживал этого. В 30-е гг. на Новодевичье кладбище были также перенесены останки С.Т. Аксакова, А.П. Чехова, художников В.А. Серова, И.И. Левитана, актрисы М.Н. Ермоловой.

После перезахоронения праха Гоголя на новой могиле установили прежнюю высокую черную, из полированного гранита плиту. Но у изголовья плиты вместо большого креста на горке из черного ноздреватого камня, привезенного Аксаковыми из Крыма и символизирующего Голгофу, в 1951 году поставили памятник, сработанный плодовитым советским скульптором Томским полуколонну на постаменте, увенчанную бюстом писателя из белого мрамора.

Одно время ходили слухи, что при вскрытии гроба Гоголя было обнаружено, что то, чего он боялся, произошло — положение тела в гробу якобы свидетельствовало, что Гоголь был погребен заживо. Однако, эти слухи не нашли никакого документального подтверждения.

Дальнейшая история большого креста с могилы Гоголя в Даниловом монастыре нам неизвестна. А вот судьба "камня-Голгофы" известна. Об этом сказано в исследовании проф. Н.А. Натовой, опубликованном в "Ученых Записках" Русской Академической Группы (том XVII, 1984, стр. 83-114).

"После смерти М.А. Булгакова в марте 1940 г. урна с его прахом была захоронена в Вишневом саду Новодевичьего кладбища, среди могил старейших артистов Художественного театра. Долго на могиле не было ни креста, ни камня — только прямоугольник травы с незабудками, да молодые деревца, посаженные по четырем углам надгробного холма. Елене Сергеевне (вдове покойного) хотелось, чтобы памятник Булгакову был скромен и долговечен, а ничего подходящего не находилось". "В поисках плиты или камня Елена Сергеевна обнаружила однажды в сарае у гранильщиков, среди старых памятников, огромный черный камень. Гранильщики рассказали ей историю "камня-Голгофы". С трудом этот многотонный камень был перенесен по деревянным помостьям к могиле Булгакова, и глубоко ушел он в землю над гробом. Гоголь уступил свой крестный камень Булгакову".

А. Иванов

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ПАМЯТИ АНДРЕЯ ХУДЯКОВА

Недавно скончался выдающийся и своеобразный художник Андрей Тимофеевич Худяков. Было ему 89 лет. Смерть его ускорил несчастный случай. Художник жил около городка Ньютаун на своей земле, с собственной рощей и двумя домами. По русским дореволюционным понятиям, это было поместье. Вначале благоустроенное, оно медленно приходило в упадок, особенно после того, как у художника умерла жена и сам он стал терять силы.

История русского изобразительного искусства в изгнании еще не написана. У художников, скульпторов и графиков нет еще книги, подобной "Русской литературе в изгнании" Глеба Струве. А будь такая история написана, недавно скончавшийся Андрей Тимофеевич Худяков заслужил, чтоб о его творчестве было упомянуто достаточно подробно.

В 60-е годы в Нью-Йорк в связи с устройством индивидуальной выставки своих работ в галерее Виктора Хаммера приехал из СССР крупный художник Павел Дмитриевич Корин. При Сталине он был в опале. Братья Хаммеры, Арманд и Виктор, вспомнили о нем после речи Хрущева на 22 партсъезде.

Я немного знал Корина по Советской России. На вернисаже в галерее Хаммера художник меня узнал, обнял и шепнул на ухо: "Анафеме не предаю". Зашла речь о русских художниках в Америке. Корин сказал, что хотел бы увидеть пейзажиста Федора Ивановича Захарова и декоратора Андрея Тимофеевича Худякова, последнего — особенно.

В тот же вечер я позвонил А.Т. Худякову. Худяков был обрадован. Он учился с Кориным в Московском Училище Зодчества, Живописи и Ваяния (примерно тогда же, когда там были Владимир Маяковский и Давид Бурлюк).

Встреча их состоялась, и Андрей Тимофеевич рассказывал мне об этом так: "Я очень удивился, когда Корин пригласил меня посетить Советский Союз, сказав, что "если не понравится, безо всяких помех вернетесь назад, а если, подобно Коненкову, захотите остаться у нас навсегда, милости просим". "Мы знаем, что, как у декоратора, у мастера сцены ваши дела в Америке пошатнулись и, может быть, современной России вы окажетесь нужнее, чем Америке".

"Я, — продолжал Худяков, — ответил Корину, что мне, как белогвардейцу, нет хода в Советский Союз".

— Ну какой же вы белогвардеец? — возразил Корин. Вы же сами говорили, что в Белой армии были всего-навсего писарем.

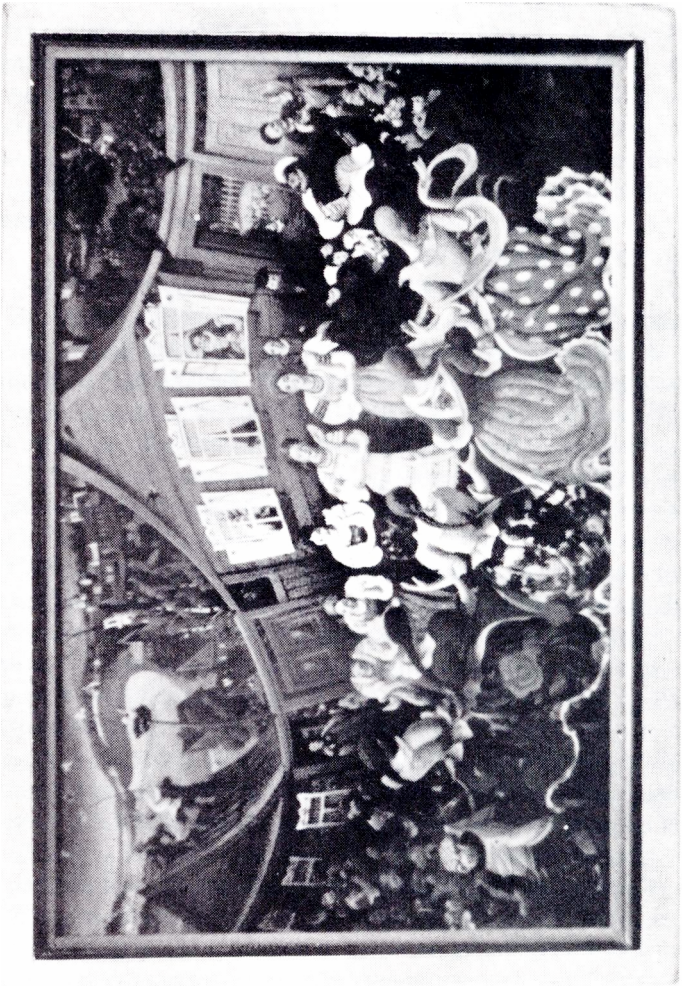
— Неважно кем я был, писаришкой или генералом, — ответил Худяков — важно то, что я стал белым добровольно, а не потому, что меня заставили.

Мне было известно со слов самого Худякова, подтвержденных другими источниками, что ему принадлежало авторство едва ли не самого первого февральского революционного плаката. И он же написал один из первых портретов А.Ф. Керенского после того, как А.Ф. возглавил Временное правительство.

— Я, — вспоминал Худяков, — был ревностным и искренним почитателем Керенского, но что меня оттолкнуло и разочаровало в нем, так это чехарда с переменой главнокомандующих. А когда Керенский объявил самого себя главнокомандующим, я понял, что Февраль долго не протянет. Керенский был бы на месте, скажем, как посол в Англии или в Америке, но не как премьер-министр.

— Я встречал Керенского уже в эмиграции, и в Европе и в Америке. Это был милый, обаятельный человек, который был бы непрочь позировать мне и в изгнании. Но я уклонился от этой чести. Слишком уж велико было во мне разочарование в Феврале.

В эмиграции Худяков, как он мне говорил, невзлюбил политику и уклонялся от всякого участия в ней. Так, вначале, он еще



раньше Бориса Арцыбашева и Бориса Шаляпина, стал оформлять обложки для журнала "Тайм". Но дальше нескольких обложек дело не пошло. Худяков не захотел продолжать работать для "Тайм", может быть, еще и потому, что больше тяготел к художественно-декоративному оформлению эстрадных, оперных, балетных и театральных постановок. В этой области он достиг успеха. Если Николай Ремизов (Ре-Ми) был главным оформителем "Летучей Мыши" Никиты Балиева, то Андрей Худяков приобрел популярность как главный оформитель "Синей птицы" Южного.

Работу для эстрады художник-декоратор сочетал с работой для театра. Так, по приглашению знаменитого дирижера Исайи Добровейна, Худяков оформил для немецкой оперы "Бориса Годунова". Работал он с крупным дирижером Кнапперсбушем.

Андрей Худяков приехал в Америку в середине 20-х годов и тут ему повезло. Тогда, в период великого немого, во многих кинотеатрах были концертно-эстрадные программы и Худякова наперебой приглашали как декоратора. Ему довелось работать с такими продюсерами, как Шенк, Морис, Гест, Голдвин. А иногда Худяков сам становился и декоратором и продюсером.

В Нью-Йорке было два знаменитых кинотеатра с концертными программами — поныне существующий Мюзик Холл и снесенный в середине 50-х годов кинотеатр "Рокси". В кинотеатре "Рокси" Андрей Худяков, как художник, декоратор и оформитель эстрадных программ, играл большую роль. Кстати, впервые я встретился с Худяковым на последнем прощальном представлении в "Рокси".

Когда "великий немой" заговорил, отпала нужда в эстрадных концертах в фойе кинотеатров. Это могло лишить и одно время лишило Андрея Худякова немалой части заработка. Но он не растерялся. Именно тогда, будучи человеком не первой молодости, Худяков стал энергично работать в двух направлениях станковой живописи — и в традиционалистском и в новаторском, иногда находя равнодействующую между тем и другим. В этот период художник много и плодотворно работал над изображением цветов, над пейзажами и над бытовыми сценами.

Недавно скончавшийся Андрей Тимофеевич Худяков принадлежал к тем художникам, чьи работы довольно бойко раску-

пались на выставках, коллекционерами, посещавшими студию художника, и на аукционах. Когда я посетил студию художника под Ньютауном, выяснилось, что большинство работ Худякова распродано. Правда, сохранились многие диапозитивы, репродукции, а также многочисленные отзывы прессы — от "Нью-Йорк Таймс" и журнала "Американ Артист" до провинциальных изданий.

К числу наиболее ценных работ художника я отношу его оригинальные вариации на темы русских народных песен и романсов. Вот, например, триптих "Поют". Он был особенно популярен и Худяков не раз делал с него авторские копии. Триптих состоит из трех обособленных композиций. В центре — свадебный хоровод в доме зажиточного крестьянина дореволюционной России. В правой части триптиха — хор поющих женщин, а в левой — пустившиеся вприсядку парни.

Тема как будто широко известная, если не затасканная. Но Худяков подошел к ней необычно, нешаблонно. У него поют, играют и пляшут не только люди, но и дома, деревья, травы, воды, облака в небе.

Покойный художник говорил мне, что его вдохновляли фольклорные мотивы в творчестве Сергея Рахманинова. Худяков вспоминал, что Рахманинов рекомендовал его, как декоратора, певице Нине Кошиц, когда она задумала возобновить постановку незаслуженно забытой оперы Александра Кастальского "Клара Милич" по одноименному произведению Тургенева. Главную женскую партию в этой мелодичной опере Нина Кошиц с успехом исполняла в Москве в опере Зимина. В Америке постановку этой оперы возобновить не удалось, но два эскиза декораций к ней у Худякова сохранились. Эти эскизы незабываемы. Тут как бы соединены воедино лирическая тургеневская тоска и мелодичная грусть музыки Кастальского.

Одну из декораций Худякова я увидел у танцора Караваева. Семен Караваев нередко выступал в концертных программах Нью-Йоркских кинотеатров по рекомендации Худякова. Одну из программ с Худяковскими декорациями увидели Анна Павлова и ее импрессарио, Соломон Юрок. Павлова пригласила Караваева быть ее партнером по русскому характерному танцу, а

Худякову предложила выполнить декорацию и костюм для Караваева.

Где-то теперь эта декорация и этот костюм, которыми выступавший вместе с Анной Павловой Семен Караваев очень дорожил?

Одно время предполагалось, что в Нью-Йорк приедет на гастроли выдающаяся оперная певица Елена Садовень. У Рахманинова была опера "Монна Ванна" по одноименной драме Мориса Метерлинка. Опера не шла потому, что Метерлинк не дал Рахманинову согласия на переработку своей драмы в либретто.

Елена Садовень предполагала исполнить только одну арию из "Монны Ванны" и Худяков, зная певицу и лично и по фотографиям, представил себе, как Елена Садовень будет выглядеть в этой роли. Но Нью-Йоркские гастроли певицы не состоялись и Худяковский проект костюма для певицы так и остался проектом.

Доводилось Худякову делать и настенные росписи. Так, ему принадлежали настенные росписи русского зала в знаменитом отеле Сент Риджес и в Нью-Йоркском отделе популярной группы наездников имени Теодора Рузвельта. От росписей этих не сохранилось теперь ничего, кроме нескольких эскизов, оставшихся в студии Андрея Худякова.

Изображая цветы, верный себе Худяков шел путем преодоления штампов и шаблонов. Он часто изображал цветы на корню в необычных ракурсах.

Не могу забыть худяковских сиреней. Это не букеты в вазах, а сиреневые деревца, слегка колеблемые ветром. Написаны они так, что зритель не только любуется красотой цветов, но и дышит сиреневым запахом.

Жанровые сцены кисти Худякова я, опять-таки, чаще видел в собраниях американских и русских коллекционеров, чем в студии самого художника. В этих жанровых сценах Худяков как бы совмещал русского Бориса Кустодиева с американцем Норманом Роквеллом.

Каждый раз, когда я посещал студию Андрея Худякова, я находил что-то новое. Совсем уже необычными для Худякова показались мне две модернистские композиции, на которых были изображены автомобили, мчащиеся по американским доро-

гам. Художнику удалось передать зрителю ощущение большого пространства и скорости машины. Худяков вспоминал:

— Еще в училище Зодчества, Живописи и Ваяния я совмещал традиционное с экспериментально-новаторским. Мне доводилось встречаться с Натальей Гончаровой. когда она работала над "Аэропланом над железной дорогой" и над "Мотоциклистом". Подобного рода попытки и Гончаровой и других я видел и в старой России и в Европе. Но к сходным экспериментам я сам обратился уже десятилетия спустя, когда приобрел землю возле Ньютауна и когда у меня появились свои автомобили.

И в самом деле, эти две композиции — самое дерзновенное из того, что я находил и нахожу в творчестве Андрея Худякова. Имя его не должно быть забыто.

Вяч. Завалишин

Редакция "Нового Журнала"
с глубоким прискорбием сообщает
о кончине 25 ноября 1985 г.
своего постоянного сотрудника,
проф. Ростислава Владимировича Плетнева

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В журнал "Pure Vérité"

Глубокоуважаемые Господа! С большим вниманием и интересом прочитал Ваше обращение от 30 мая 1985 г. к читателям редактируемого Вами журнала. Редко кто так, как Вы, ясно и правильно видит и понимает нынешнее катастрофическое состояние, в котором находится мир.

Позволю себе, однако, указать на весьма существенную и роковую ошибку, которая присуща очень многим политическим деятелям Запада, которую повторяете и Вы, когда пишите: "*Мало кто знает, что русские поставили себе целью покорить весь мир*".

Этой фразой Вы как бы отождествляете коммунизм с русским народом. К глубокому сожалению, этой ошибкой грешат многие антикоммунисты Свободного мира. Основоположники коммунизма, этого мирового зла, Карл Маркс, Энгельс и др. русскими не были, Россию ненавидели и в ней никогда не жили. Зловещие микробы коммунизма, как мы видим, очень легко прививаются буквально во всех странах Свободного мира. Нет такой страны, которая была бы гарантирована от коммунистической заразы. Коммунистические партии существуют и действуют во всех странах Свободного мира и ждут своего часа, чтобы повторить злосчастный опыт России, не сознавая и не видя того бедственного положения, в котором оказалась Россия и ее народ, лишенный самых элементарных прав человека, влачащий полунищенскую жизнь. События в Польше наглядно доказывают вышесказанное. Коммунистическая партия этой сугубо католической страны, во главе с ее руководителем, генералом-коммунистом Ярузельским, и без советской помощи оказалась достаточно сильной, чтобы справиться с антикоммунистическим движением в стране.

Коммунизм есть зло не русского, но интернационального происхождения. Россия лишь стала его первой жертвой. "А на Россию мне

наплевать, лишь бы произошла мировая коммунистическая революция", — сказал основоположник советского государства Ленин-Ульянов.

Начавшаяся в России с первых дней захвата власти коммунистами борьба против советской власти была долгой и упорной и, в той или иной форме, не прекращается до сих пор. На Юге, на Востоке и на Севере России вспыхнули антикоммунистические восстания, образовались целые армии, поставившие себе целью освобождение России от коммунистического ига. Вооруженная борьба продолжалась больше трех лет. Тогда же и в последующие годы периодически вспыхивали восстания рабочих, крестьян и даже кронштадских матросов. Все эти восстания жестоко подавлялись отрядами Красной армии, укомплектованной тогда наполовину иностранцами, вплоть до китайцев.

В начале Второй мировой войны многие солдаты и офицеры Красной армии не оказывали сопротивления наступающей немецкой армии, ошибочно надеясь, что немцы освободят Россию от коммунистического ига; они сотнями тысяч сдавались в плен. Население оккупированных областей встречало наступающих немцев, по русскому обычаю, хлебом и солью. Лишь впоследствии, когда русский народ увидел и понял, что Гитлер несет не освобождение, но новое порабощение и задался целью расчленить и колонизировать Россию, народ предпочел заключить перемирие с советской властью, чтобы разгромить агрессора.

Несколько миллионов советских военнопленных в Германии под командованием быв. советского генерала Власова готовы были идти на Москву с целью свержения советской власти и освобождения России от коммунистического ига, надеясь на проницательность, благоразумие и помощь американцев и англичан, в чем они, к сожалению, ошиблись. Американцы и англичане не только не помогли намерениям генерала Власова, но его самого и всех его сотрудников выдали на верную смерть Советам, где они и были казнены. Насильственно были выданы Советам и миллионы военнопленных, не пожелавших добровольно возвращаться на свою коммунистическую родину. Такова горькая правда, которую далеко не все знают.

По соглашению в Ялте, Рузвельт и Черчилль, очарованные Сталиным, отдали Советам Восточные страны Европы: Польшу, Румынию, Чехословакию, Болгарию и Восточную Германию. Во всех этих странах был установлен коммунистический режим советского образца. Впрочем, во всех этих странах оказался достаточный процент местных ком-

мунистов. "Нет такой нации в Европе, которая не готова бы была поставить нужное число палачей, а затем и покориться вся", — сказал А. Солженицын.

Москва — центр интернационального коммунизма — ведет интенсивную идеологическую пропаганду во всех странах пока еще свободного мира, организуя, инструктируя и финансируя подрывные "братские" коммунистические партии этих демократических стран. Западный же мир, располагая свободой действий, имея в своем распоряжении мощные радиостанции и другие возможности, этой лживой пропаганде никак не противодействует. А некоторые ответственные политические деятели Америки и Европы упорно продолжают отождествлять коммунизм с русским народом, Россию с Советским Союзом, рискуя повторить катастрофическую ошибку Гитлера. Прав был тот, кто сказал: "История учит только тому, что она ничему не учит".

Борьба с мировым злом коммунизма, завладевшим Россией, успешно и победоносно может вестись *только в союзе с русским народом,* пережившим все его ужасы; русский народ может быть *самым верным союзником* в этой борьбе. В противном случае, если опять будет повторена преступная ошибка Гитлера, трудно предвидеть размеры катастрофы, которая постигнет Западный мир.

К. Скворцов, Брюссель

Марксистский национал-социализм и смерть Акселя Шпрингера

Аксель Шпрингер умер вслед за взрывом, потрясшим Германию: выяснилось, что коммунистическая агентура, оседлав контрразведку, уже долгие годы гнездилась на самых "верхах"...

Христианская Германия принимала, как братьев, миллионы беженцев из ГДР, уплатила за них сотни миллиардов марок. Так без особого труда проникли в Свободную Германию и десятки тысяч коммунистических агентов. Только ленивые отказывались получать сразу две зарплаты: из ГДР и ФРГ, — поэтому "немецко-немецкое сотрудничество" будет процветать и дальше. Здесь дает себя знать и традиционный национализм, т.к. немцы относятся с доверием только к "своим" же немцам, братьям по крови, языку и ...идеологии: в ФРГ, как и в ГДР, миллионы немцев мечтают *о построении социализма с хорошим, немецким лицом...* На этой базе нового "национал-социализма" (марксистско-

го) и происходит укрепление нынешнего "немецко-немецкого" сотрудничества.

Христианин Аксель Шпрингер понимал, что истинные братья — во Христе, а не по "крови". Поэтому Шпрингер помог становлению "Континента", боролся против красного фашизма, искореняя и остатки нацизма в сознании немцев. А за это многие немцы платили ему искренней ненавистью, ибо среди левых глубоко укоренилось мнение, что только старые нацисты могут быть врагами марксизма!

В свое время они и моему отцу Леопольду Трэппэру советовали переселиться в ГДР. Это было после 1967 года, когда в Польше разразилась антисемитская вакханалия и отец в знак протеста отказался от поста председателя Объединения польских евреев, подал заявление на выезд в Израиль. Мы стали "отказниками", родители находились под "домашним" арестом. Вот тогда отцу и было предложено: "Переселяйтесь к нам в ГДР, здесь нет антисемитизма, а Вам, руководителю "Красного Оркестра", будут оказаны высшие почести!"

Вероятно, немецкие коммунисты хотели приписать себе всю деятельность антифашистского "Оркестра". Отец предпочел жить в Иерусалиме, где и похоронен. Не буду рассказывать, что пережила наша семья "врага народа" — мать осталась одна с тремя детьми... А теперь вот я смотрю на бодрые лица детей, родственников тех агентов, которые в спешке бежали в ГДР — они, как видно, не имеют оснований беспокоиться. Напротив, газетные репортажи — отличная реклама! Дети могут тоже поехать в ГДР, или же спокойно жить, учиться, делать карьеру в ФРГ, никто не скажет им худого слова... Их не выгонят ночью из квартиры, не вышлют силой из города, им не придется есть похлебку из очисток, бледнеть при виде милиционера...

Коммунизм познается на собственной шкуре. Левые не стесняются поучать нас: "Не пишите антисоветских повестей, не подрывайте конституцию ФРГ! Ваше место — в США, у фашиста Рейгана!"

Самое забавное вышло с "нарушением" Конституции: оказалось, что коммунистические агенты долгие годы заправляли "Комитетом защиты конституции"... Кроме всего прочего они, кажется, ведали и борьбой с "неблагонадежными" эмигрантами, старались, чтобы немецкое гражданство получали только "порядочные".

За это мне тоже отомстили, как и за отказ отца поселиться в ГДР... По сей день у меня нет университетской работы, а жену уволили — после пяти лет врачебной работы. Мы отказались от соблазна выдать себя за

"немцев по крови" (культура уже не котируется). Вот если бы мы были "своими" из ГДР... А кому интересны российские антикоммунисты? Только чекистам?

Д.А. Антонов. Зап. Германия

О "Босанчице"

В 1930 году шеф Пражской университетской и публичной библиотеки спешно вызвал меня к себе. В то время я работал в отделе древних славянских книг. Он мне показал небольшую книжку со знаком иезуитского ордена "Социетас Иезу". Шеф сказал, что мне дается месяц для розыскания книг в библиотеке, напечатанных этим странным шрифтом, которого никто не знает. Я должен был найти по возможности все книги и написать транслитерацию алфавита загадочных книг, а библиотека пошлет транслитерацию, сделанную на основе современного чешского алфавита, Библиотеке Британского музея, Парижской национальной библиотеке, Римскому университету, в Ленинград и в Мадридскую библиотеку.

Я разыскал знаменитого старика — служащего библиотеки, любителя книг и библиотечных проблем. Вскоре мы отыскали все книги странного шрифта. Данная мне шефом книжечка, изданная в Боснии, была "Духовные упражнения Игнатия Лойолы". Все книги были начала второй половины XVI века, что соответствовало и их переплетам.

За пять дней упорной работы я установил, что шрифт всех иезуитских изданий начала второй половины XVI века есть своеобразная комбинация остроуглой глаголицы и кириллицы, с употреблением "ять", "ижицы", "пси", "кси" и т.п. Я сделал транслитерацию на основе современного чешского алфавита с его диакритическими значками. В рапорте шефу я не упоминал своего имени, и транслитерация была послана от имени Славянского отдела Пражской библиотеки. Очень бы хотелось знать, сохранился ли след упомянутой работы в одной из мировых библиотек.

Р. Плетнев, Канада

БИБЛИОГРАФИЯ

Alexander Pushkin, Eugene Onegin, translated by Charles Johnston with an introduction by John Bayley. Penguin Books Ltd.

"Евгений Онегин" А.С. Пушкина появляется на английском языке не впервые.

Кроме настоящего перевода Чарльза Джонстона уже существует два известных англоязычных варианта романа. Первый, вышедший в 1963 году, принадлежал Вальтеру Арндту. Переводчик сумел сохранить и пушкинский стиль, и пушкинскую семантику (хотя и с некоторыми, неизбежными, утратами в области последней).

Второй был сделан В. Набоковым. Это четырехтомный перевод с энциклопедически объёмным комментарием, в котором совершенно отсутствовала какая бы то ни было имитация пушкинской метрики и рифмовки. Взамен предполагалось достижение максимальной точности перевода через исчерпывающую интерпретацию семантических нюансов пушкинского текста.

Известно, что перевод В. Арндта был высоко оценен и получил приз Боллинген. Перевод В. Набокова, справедливо считающийся солидным академическим исследованием, также был удостоен серьезной оценки большинства самых известных критиков, включая Эдмунда Вильсона.

Именно с этого момента начались напряженные и даже враждебные отношения В. Набокова и Э. Вильсона. Вильсон позволил себе несколько нравоучительных сентенций по поводу перевода Набокова, который был его довольно близким знакомым. **Набоков** нравоучения вообще никогда хладнокровно не воспринимал, ни в отношении литературы, ни по своему адресу. И в ответ он начал острейшую полемику, которая превратилась в скандал.

Перевод Ч. Джонстона занимает промежуточную и как бы примирительную позицию. Переводчик не только не полемизирует или поры-

вает со своими предшественниками, но, напротив, использует их столь различные подходы к Пушкину, чтобы на их основе предложить свой творческий метод, который продолжает и развивает достоинства двух предыдущих.

Для Ч. Джонстона, как и для В. Арндта, художественно целесообразно и важно сохранить метрический строй и рифмовку пушкинского стиха. Он также ставит себе задачей создать точный поэтический эквивалент подлинника.

Язык его стихотворного перевода обладает известным изяществом, легкостью и свободой, которые напоминают Пушкина, и иногда, в некоторых наиболее удачных случаях, перевод полностью совпадает с оригиналом.

Не остается незамеченной для Ч. Джонстона и набоковская эрудиция. Набоковское проступает не только в собственном комментарии Джонстона, но и, как я понимаю, в определении им границ дозволенного и недозволенного в переводе.

Как и в *pointe* эпиграммы, любимого Пушкиным жанра, онегинская строфа "разрешается" в двух последних рифмованных строчках, подобных заключительному аккорду музыкальной фразы. От того, насколько удачен перевод этих двух строчек, зависит, во многом, успех всего перевода в целом. Ч. Джонстон с этой задачей справляется с исключительным мастерством. Можно без преувеличения сказать, что хотя иногда переводчик и поступается точностью ради художественности, делает он это редко и почти незаметно.

Так, у Пушкина:

"Сердечный друг, желанный друг,
Приди, приди: я твой супруг...."

В переводе:

"Friend of my heart, be at my side,
Beloved friend, thou art my bride!"

Семантическая структура лексики слегка меняется. Ленский в своих стихах находит себе невесту, но зато теряет свое назначение "супруга". Но стихотворная форма выдержана. В другой строфе у Ч. Джонстона Пушкин плачет, в угоду рифме, вместо того, чтобы страдать.
Пушкин:

"Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил."

Ч. Джонстон:

"Land where I learned to love and weep
Land where my heart is buried deep."

Такие неизбежные искажения простительны переводчику, сумевшему, в основном, донести до англоязычного читателя приемы пушкинской поэтической техники.

Особенно точно и ярко передается язык пушкинской сатиры. Читателю приятно вспомнить эпизод приезда Буянова, Флянова и прочих на именины Татьяны:

"...and look, my cousin's come, Buyánov,
in a peaked cap, all dust and fluff, —
you'll recognize him soon enough,
and counsellor (retired) Flyánov,
that rogue, backbiter, pantaloon,
bribe-taker, glutton and buffoon."

Самым тяжелым испытанием для переводчика являются хорошо известные строфы, знакомые большинству читателей. Например, ответ Татьяны Онегину:

"Enough, stand up. It's now for me
to give you honest explanation.
Onegin, d'you recall the day
when in the park, in the *allee*
where fate had fixed our confrontation,
humbly I heard your lesson out?
Today it's turn and turn about."

или изящная метафора, соединяющая любовь и природу, ставшая арией Гремина в опере П.И. Чайковского.

"Love tyrannises all the ages;
but youthful, virgin hearts derive
a blessing from its blasts and rages,
like fields in spring when storms arrive..."

Удача перевода в этих случаях во многом объясняется тем, что Чарльз Джонстон — сам поэт и готов самоотверженно служить своим поэтическим талантом другому поэту.

Именно эта самоотверженность поэта-переводчика показывает, что можно быть и уважительным и оригинальным в творческом диалоге с прошлым.

Проф. Николай Ржевский

Игорь Чиннов. Автограф. Восьмая книга стихов. New England Publishing Company. 1984. 102 стр.

Писать о недавно вышедшей восьмой книге стихов Игоря Чиннова "Автограф", стараясь не повторить того, что уже сказали видные критики и собратья по перу об этом своеобразном и талантливом поэте, очень нелегко. Особенно нелегко потому, что суждения, высказанные разными людьми и в разное время в значительной степени могут относиться и к новому сборнику поэта.

Так, Георгий Адамович назвал Чиннова "на редкость искусным поэтом" и отметил, что даже "вторжение демонстративной грубости в поэзию Чиннова не сделало ее менее изощренной." Владимир Вейдле отметил, что первые пять книг Чиннова можно назвать монологом приговоренного к смерти: "Нагота темы многообразно прикрыта роскошной образностью ("Метафоры"), столь же роскошной оркестровкой ("Партитура"), хитроумными постройками воображения и расчета ("Композиция") " Вместе с тем Вейдле обращает внимание на чрезвычайное разнообразие земного пейзажа в стихах Чиннова — какие только страны и города не представлены в его поэзии! — "И все это сияет и живет. Все это льется и поет."

Юрий Иваск подчеркнул, что "слышатся в его стихах издевательские шуточки, но и райские звуки... Он радует неизвестной еще в русской поэзии игрой воображения: сияющей радугой щемящих воздыханий и резвых радостей. Техника Чиннова — совершенная".

Чиннов не ищет популярности у рядового читателя, откровенно заявляя:

Болею манией величия!
(Смиреньем не спасаю душу я!)
И на людское равнодушие
Я отвечаю безразличием.

Свое одиночество, вернее, отъединенность от окружающего Игорь Чиннов передает в стихотворении, написанном в нарочито бравурном тоне:

Я живу — смешное дело! —
В стороне от здешних мест.
Эх! Среда меня заела!
И четверг меня заест.

Но поэт бережно хранит память о тех, кого он считал своими друзьями, кого любил и ценил. Так, у него в одном стихотворении — "к своей звезде, голубоватой Веге/ стремится светлый дух, который был/ Владимиром Васильевичем Вейдле." В другом, посвященном памяти Юрия Терапиано, Игорь Чиннов пишет:

В кафе "У Денизы" нас было трое:
Ирина Одоевцева, Вы, я.
И Вы читали стихи о Трое
И что не будет небытия.

В конце сборника, в кратких строках "О себе", Чиннов пишет, что, став свободным от своих профессорских обязанностей, он продолжает "служить двум любимым Музам — Полигимнии и Музе Дальних Странствий". Неутомимый путешественник, он то дает картины Иерусалима и Египта, то вызывает видение Стоунхэджа, то чуть-чуть иронически описывает религиозную процессию в Португалии. Тихой прелести полно его стихотворение "Ложится свет на листья винограда/ И исчезают горечь и досада ...". С редкой наблюдательностью поэт замечает мелочи и бережно переносит их в стихи:

Источил жучок мирок пахучий —
Листья ароматного шалфея.
Свет сквозь них теперь проходит лучше,
Тень узорчатая кружевнее.

Палитра Чиннова богата красками. Прекрасное стихотворение "Мы положим на чашу весов" полно цветовых и световых переливов. Зоркий глаз поэта схватывает не только цвета, но и оттенки:

Розовато-желты абрикосы,
Изжелта-зеленоваты сливы

У фракийского берега
Тень сиренево-палева...

Не нарушает тишины
Закат китайско-желтоватый

Одной из характерных особенностей поэтики Чиннова является его частая манера изящно и прихотливо подбирать рифмы с неточным совпадением предшествующей последнему слогу гласной, например: чер-

тоги — лачуги; палатах — заботах; друидов — восходов; роза — маркиза, и т.д.

Стихотворения, отражающие трагическое мироощущение Чиннова, для контраста мысли и формы часто написаны в бодром темпе:

Адью! Примите уверения!
Шлем термоядерный привет!
Переселяемся в селения,
Которых не было и нет.

В своей проницательной статье "Автограф" Игоря Чиннова" ("Новое Русское Слово", 24 марта 1985) Зинаида Шаховская справедливо указывает, что Чиннов — не чужой в чужих пространствах: "не так это часто у русских поэтов двадцатого века. Даже для Блока и Гумилева эти пространства были экзотикой". Шаховская подчеркивает, что по своему душевному складу Игорь Чиннов поэт русский. Вспоминая красоты Флоренции, Чиннов пишет:

Мы о чем говорили?
О тебе, о России.

В другом стихотворении:

Смотрим, почти в восхищении,
Мы на туманы осенние ...
Здесь и природа, я чувствую,
Чем-то похожа на русскую.

Кратко и ярко рассказывает поэт о трудных годах своей молодости:

Блоха на аркане, почти ни гроша,
А все же я верил, что жизнь хороша.
Хватало на хлеб, на коробку сардин
И можно украсть и понюхать жасмин
И, главное, сам я себе господин...
... Серебряных ложек — не крал никогда.
Блестела не ложка — блестела звезда.

Поэт уверен, что "мы не войдем в сияние Элизия" —

И лучше — проще: домик у опушки, на
Юру. Скамья, береза, ясень.
И медленно бредя за тенью Пушкина
Мы встретим болдинскую осень.

Не раз Чиннов возвращается к мысли о том, что русским поэтам Зарубежья не дано упокоиться в родной земле:

Мы давно отдыхаем
На чужих берегах.
Здесь, над пальмовым раем,
Мой развеется прах.

...Нет, какие могилы
(Галка, осень, дожди)
На Ваганьковом, милый,
Не позволят, не жди.

Что ж, ничуть не обидно.
Ведь в могиле темно
И березок не видно
И не все ли равно.

В завершающем сборник одном из лучших и печальнейших стихотворений, вспоминая лежащих в чужой земле русских поэтов Парижа (..."больше нет в живых почти ни одного"), Игорь Чиннов с уверенностью заканчивает: "А вот стихи — дойдут. Стихи дойдут."

И мы знаем, что он прав — тем или иным путем стихи доходят до нашей родины и звучат там, пока еще под сурдинку, но все-таки звучат.

Татьяна Фесенко

ВЫШЛИ ДВА ТОМА ТРИЛОГИИ

РОМАНА ГУЛЯ

"Я УНЕС РОССИЮ"

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

ТОМ II. "Россия во Франции". Исправленный и значительно дополненный текст по сравнению с текстом, печатавшимся в "Новом Журнале". Много фотографий, факсимиле, указатель имен, стр. 356, цена 15 долларов.

ТОМ I. "Россия в Германии". Второе издание. Текст исправленный и значительно дополненный. Много фотографий, факсимиле, указатель имен, стр. 364, цена 12 долларов.

Заказы направлять по адресу "Нового Журнала": "New Review" 2700 Broadway, New York 10025.

Готовится к печати *ТОМ III. "Россия в Америке".* Перед Америкой — Война во Франции. Великий исход. На стекольной фабрике. Селькохозяйственные батраки четыре года. Париж после победы: совпатриоты и коллаборанты. Мой уход из масонства. Масоны — адм. Вердеревский, ген. Голлиевский, Игорь Кривошеин и др. Работа с Мельгуновым. Бунин. "Народная Правда". По Германии — встреча с власовцами (СБОНР). Мюнхен, Шляйсхейм, Гамбург, Ганновер. Отъезд в Америку. "Лига борьбы за Народную свободу". Николаевский, Церетели, Керенский, Абрамович, Зензинов, Вишняк. Разрыв с Николаевским и с Лигой, М. М. Карпович и "Новый Журнал", Радиостанция "Свобода". Встреча с Солженицыным. Работа над "Я унес Россию".

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ (главный редактор)
Ю. Д. КАШКАРОВА и **Е. Л. МАГЕРОВСКОГО**

■

В 1986 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■

Подписная цена на 1986 год 35 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 10 долларов

■

**ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»**

**THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025**

Телефон редакции и конторы 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и средам, от 10-ти до 12-ти час дня